DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY

Digitized by the Internet Archive
in 2021 with funding from
Duke University Libraries

https://archive.org/details/voinairevoliutsi11trot

ЗНАНИЕ
СИЛА
РСФСР

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПАМЯТИ

Моисея Соломоновича

УРИЦКОГО

М. С. УРИЦКИЙ

Л. ТРОЦКИЙ

ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ

КРУШЕНИЕ ВТОРОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА И ПОДГОТОВКА ТРЕТЬЕГО

Том I

ПЕТРОГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1922

Р. Ц. № 1380. Гиз. № 1100.
Напечатано в количестве 4000 экз.

Предисловие к первому тому.

Поднимается и отчасти уже поднялось целое политическое поколение, которое ведет свое летосчисление с Октябрьской Революции или с создания III Интернационала. Для этого поколения, особенно в России, II Интернационал представляется довольно смутным политическим явлением. Революционная молодежь видала меньшевиков и эс-эров, как классовых врагов, всегда по ту сторону баррикады, траншеи или проволочного заграждения. Она не пережила непосредственно истории недавнего прошлого не только до империалистической войны, но и во время самой войны, когда в недрах II Интернационала, так постыдно и бесчестно склонившегося перед империализмом, начался процесс внутреннего возмущения, приведший затем к открытому расколу и к созданию Коммунистического Интернационала.

Поднимается, наконец, еще более молодое поколение, которое не имеет даже сознательного опыта нашей гражданской войны, — оно не наблюдало в ней своими глазами роли меньшевиков и социалистов-революционеров. Недаром меньшевики рассчитывают на эту политическую целину и пытаются возродиться к новой жизни под видом организаций молодежи. Они считают, что события поставили на прошлом большой крест, и хотят открыть себе у молодого поколения новый текущий счет.

Несомненно, что лозунг единого рабочего фронта оказывает им в этом отношении некоторое содействие. Если возможен общий фронт с Шейдеманом и Вандервельде, то почему не с Мартовым и не с Черновым? И в каком смысле возможен общий фронт с Шейдеманом? И что такое Шейдеман? И что такое Вандервельде?

Молодые коммунисты, которые впервые столкнулись со II Интернационалом, в лице эс-эра Керенского и меньшевика Церетели, когда те разоружали петербургский пролетариат и ввергали тысячи рабочих в тюрьму, как немецких шпионов, или позже,

когда те же меньшевики и эс-эры, в качестве организаторов, заговорщиков, террористов, агитаторов, администраторов и министров Нуланса, Колчака, Деникина, Юденича, Миллера, убивали русских рабочих и крестьян под знаменем Антанты, – эти коммунисты знают о меньшевиках и эс-эрах нечто очень важное, даже основное, но не все. Ибо вожди международной социал-демократии, включая наших эс-эров и меньшевиков, всего лишь за полтора года до мировой войны клялись на Базельском международном конгрессе ответить на империалистическую войну пролетарской революцией. Мелкобуржуазный оппортунист способен к бесчисленным перевоплощениям: он нередко играет красками крайней революционности, но при решительном историческом испытании всегда ползает на брюхе.

Передовым представителям молодого поколения нужно знать вчерашний день, нужно как можно конкретнее, в живых политических образах, в человеческих фигурах, усвоить себе по крайней мере, непосредственно-подготовительный период перед октябрьской революцией и возникновением III Интернационала. История этой эпохи — мы имеем в виду историю рабочего класса и его политических группировок — еще не написана и будет написана не скоро. Приходится изучать вчерашний день по сырым материалам: воспоминаниям, документам, статьям, речам. Понимание этих осколков прошлого облегчается, однако, тем, что сегодняшний день слишком непосредственно вытекает из вчерашнего.

Настоящая книга окажет, может быть, некоторое содействие — сознаю заранее, что ограниченное — этой стоящей перед нашей молодежью задаче изучения вчерашнего дня. Автор этой книги имел во время войны преимущество — весьма условное преимущество эмигранта — в качестве наблюдателя и отчасти участника присматриваться к внутренней жизни нескольких европейских и северо-американской социалистических партий. Здесь собраны работы, выросшие из этого участия и связанные с центральной темой: война и интернационал.

Мысль об этой книге возникла еще в начале 1919 года. Тогда же я написал к ней объяснительное введение. Но собрать необходимые статьи и материалы не удавалось до настоящего дня. Введение, написанное в марте 1919 года, значительно пополнено.

24 апреля 1922 года.
Москва.

Л. Троцкий.

Введение.

Здесь собраны страницы политической борьбы за время великой империалистической бойни. Далеко не все, здесь помещенное, имеет самостоятельный интерес. Но я собрал эти статьи, памфлеты и очерки, как отражения, иногда очень беглые, большой эпохи, как осколки великой борьбы, которая не прекращалась в самые глухие месяцы империалистической реакции, а теперь развернулась во всем мире.

В Австро-Венгрии. Война застигла меня в Вене. Оттуда и был подан сигнал к войне после убийства молодыми сербскими террористами австро-венгерского престолонаследника, главы империалистической партии. Внутренняя жизнь раздираемой национальной дракой Австро-Венгрии, всегда более или менее напоминавшая жизнь огромного сумасшедшего дома, снова обострилась в 1914 году. В свое время высказывались надежды на то, что всеобщее избирательное право, полученное Австрией в 1906 г. милостью первой русской революции, более решительно выявит классовые противоречия и тем самым отодвинет назад отвратительную национальную борьбу с ее миазмами шовинизма. Но это не осуществилось. В конце концов, всеобщее избирательное право, как и весь вообще режим демократии, не является само по себе целительным средством, а в лучшем случае выводит наружу те язвы, какие заложены в классовом обществе. Для того, чтобы оздоровить политическую жизнь Австро-Венгрии, нужна была бы революционная партия, способная объединить пролетариат всех национальностей и противопоставить его нарастающему империализму. Но этого-то и не оказалось. Как раз получение всеобщего избирательного права, совпавшее с начавшимся уже революционным отливом в России, дало в Австро-Венгрии окончательный перевес оппортунистическим элементам социализма. Погоня за мандатами в разноплеменной стране придала оппортунизму провинциально-

националистический характер. „Реалистическая", т.-е. реформистская, приспособленческая, австрийская и венгерская социал-демократия пропиталась насквозь шовинизмом и только углубляла и закрепляла национальный распад пролетариата. Вследствие этого, на всей внутренней жизни Австро-Венгрии в последние годы перед войной лежал отпечаток глубокой безнадежности, которой совсем не было во внутренней жизни России, несмотря на несравненно более ужасающий характер деспотизма.

Война казалась как бы выходом из тупика — не только австро-венгерскому империализму, который надеялся спаять воедино монархию в огне мирового пожара, не только шовинистической мелкой буржуазии, которая переносит свое ожесточение ущемленного конкуренцией лавочника на мировые отношения и ищет спасения там, где его меньше всего можно найти, но и австрийской социал-демократии. Осторожный уклончивый вождь ее, оппортунист, но в пределах оппортунизма проницательный и умный тактик, Виктор Адлер, совершенно выронил в этот момент вожжи из рук и уступил — полусознательно, полуневольно — первое место Аустерлицам, Реннерам, Зейцам и другим мещанам, которым Второй Интернационал позволял и продолжает позволять называть себя социалистами. Они все вздохнули с облегчением. Помню, как Ганс Дейч, ныне, кажется, товарищ военного министра, откровенно говорил о неизбежности и спасительности этой войны, которая, наконец, избавит Австрию от сербского „кошмара". Гниль правящих кругов социал-демократии вскрылась сразу во всей своей омерзительности. Чувство стыда за партию и отвращения к этим „марксистам", которые только и ждали благоприятного момента для открытого предательства, имело тогда еще всю свежесть и болезненную остроту!..

Пришлось покидать Вену, где я прожил около семи лет своего эмигрантства, подписав при вступлении на габсбургскую почву (в 1907 г.) обязательство оставаться в границах почтенной монархии bis auf Widerruf, т.-е. до того момента, пока меня не прогонят. Точно этого нельзя было сделать в любой момент и без моей подписи! Сопровождаемая австро-венгерскими полицейскими агентами группа русских граждан, весьма пестрая по составу, была доставлена в Швейцарию, должно быть, 3-го или 4-го августа 1914 года (по новому стилю).

В Швейцарии. Отсюда, из Швейцарии, исходили первые попытки осмыслить происшедший крах международной социалистической организации и найти пути выхода. Маленькая нейтральная страна, ущемленная между тремя главными воюющими державами, Германией, Австро-Венгрией, Францией и четвертой — только собиравшейся воевать Италией, Швейцария превратилась во временную политическую вышку, с которой ряду русских марксистов пришлось до поры до времени обозревать развертывающиеся беспримерные исторические события.

Потребность отдать самому себе отчет в том, что происходит, заставила меня обратиться к дневнику, т.-е. к такой литературной форме, которой я не пользовался никогда до этого и к которой прибег после этого только один раз: в испанской тюрьме и „ссылке". Однако, уже через две-три недели, когда немецкие и французские социалистические газеты, получавшиеся в Цюрихе, дали ясную картину полной политической и моральной катастрофы официального социализма, форма дневника была заменена формой критического и политического памфлета. Марксизм помог не поддаться чувству уныния перед лицом ужасающих явлений развала, распада, предательства, политического дезертирства, а, наоборот, подсказал, что, лишь политически преодолев и организационно скинув с себя надстройку Второго Интернационала, пролетариат выйдет на дорогу революционного развития, и что война своими варварскими методами, испытаниями и бедствиями только ускорит этот тяжкий, но спасительный процесс. Я написал брошюру „Война и Интернационал", которая была издана в Цюрихе в ноябре 1914 года и, при содействии Фрица Платтена, довольно широко распространена в Швейцарии, Германии и Австрии. Предназначенная для стран немецкого языка и на этом языке изданная, брошюра была направлена в первую голову против германской социал-демократии, руководящей партии Второго Интернационала. Естественно, — если брошюра полемически-подчеркивает, что, как никак — французы все же отрубили некогда голову королю и живут в республике... Но, разоблачая подлый сервилизм немецкой военной идеологии, книжка не оставляет никаких сомнений насчет того, что пред лицом основного противоречия истории — между империализмом и социализмом — *оба* воюющих лагеря, со всеми

их различиями, лозунгами и программами, представляют собою вооруженную реакцию, которую нужно раздавить и сбросить с пути исторического развития. Проникнутая социально-революционным оптимизмом брошюра встретила соответственный прием со стороны германской социал-патриотической печати. Помнится, лидер шовинистической журналистики Heileman откровенно назвал книжку сумасшедшей, хотя и последовательной в своем сумасшествии. Не было, разумеется, недостатка в намеках на то, что брошюра продиктована искусно скрытым патриотизмом и является орудием антантовской пропаганды. Германский суд оценил брошюру с точки зрения гогенцоллернской государственности и заочно приговорил автора к нескольким месяцам тюремного заключения. Держит ли республика Эберта эту кару на моем текущем счету, мне неизвестно...

В Швейцарии я получил приглашение от газеты „Киевская Мысль" выехать во Францию, в качестве военного корреспондента. С редакцией этой газеты у меня сохранялись связи почти в течение всего времени моего эмигрантства. Это была весьма типическая для междуреволюционных русских условий вообще, для Киева в особенности, газета в духе не очень оформленного радикализма с приправой марксистской идеологии. В помещичье-интеллигентском Киеве, со слабой промышленностью, классовая борьба пролетариата не находила столь непосредственного и отчетливого выражения, как в Петрограде и в других центрах рабочего движения. В то же время общий политический гнет самодержавия, помноженный на гнет национальный, придавал демократической оппозиции мещанства и интеллигенции оттенок радикализма. Этим объясняется общая политика редакции, которая, не отожествляя себя ни с социал-демократией, ни с рабочим классом, отводила, однако, очень широкое место марксистским сотрудникам и позволяла им освещать события, особенно иностранные, даже под социально-революционным углом зрения. Во время Балканской войны, когда империалистическое настроение еще не захватило широких мелко-буржуазных кругов, в том числе интеллигенции, я имел возможность на страницах „Киевской Мысли" вести открытую борьбу против плутней и преступлений союзных дипломатов на Балканах и против того „неославянского" империализма, на почве которого кадетская оппозиция заключала соглашение с третье-июньской монархией. Я принял предло-

жение „Киевской Мысли“ тем охотнее, что оно давало мне возможность ближе приобщиться к политической жизни Франции в эту критическую эпоху. После некоторых колебаний, „Киевская Мысль“, под напором буржуазного общественного мнения и подталкиваемая социал-патриотическими сотрудниками, скатилась к патриотизму, стараясь лишь сохранять „оттенок благородства“.

В Париже. Французская социалистическая партия находилась в состоянии полной деморализации. Жорес был убит накануне войны. Вальян, старый антимилитарист, с первых дней германского наступления вернулся к патриотическим традициям Бланки и ежедневно источал из себя для центрального органа партии („L'Humanité“) статьи в духе самого напряженного шовинизма. Жюль Гэд, вождь марксистского крыла, исчерпавший себя в долгой изнурительной борьбе против фетишей демократии, оказался способным только на то, чтобы, подобно своему другу Плеханову, остатки своих политических мыслей и свой нравственный авторитет принести на алтарь „национальной обороны“. Поверхностный фельетонист Марсель Самба секундировал Гэду в министерстве Бриана. Закулисный делец, великий мастер на малые дела, Пьер Ренодель оказался на время „руководителем“ партии, автоматически заняв опустевшее место Жореса, которому он, надрывая себя, подражал жестами и раскатами голоса. Лонге тянулся за Реноделем, но с некоторой застенчивостью. Официальный синдикализм, представляемый председателем Всеобщей Конфедерации Труда перевертнем Жуо, шел по тому же пути. Самодовольный „революционный“ шут Эрве, крайний антимилитарист, вывернулся наизнанку и, в качестве крайнего патриота, оставался все тем же шутом. Отдельные оппозиционные элементы были рассеяны здесь и там, — но почти не подавали признаков жизни. Казалось, не было никаких проблесков лучшего будущего.

В среде русской эмиграции Парижа, особенно эс-эровской интеллигенции, патриотизм расцвел махровым цветом. Когда обозначилась военная угроза Парижу, значительное число эмигрантов вступили волонтерами во французскую армию. Остальные липли к депутатам и буржуазной прессе, всячески демонстрируя, что они теперь не просто эмигранты, но дорогие союзники. Широкие низы эмиграции, пролетарские элементы, были дезориентированы и смущены. Некоторые рабочие, особенно успевшие обзавестись

французскими семьями, поддались патриотическому течению. Но в общем устояли, стремились понять и найти путь выхода.

„Голос". „Наше Слово".

Вот в этих-то условиях два русских эмигранта, сравнительно мало известных в то время, поставили в Париже небольшую ежедневную газету на русском языке. Она имела своей задачей удовлетворять и поддерживать сразу пробудившийся интерес многих тысяч заброшенных из России в Париж рабочих к развертывающимся гигантским событиям. В то же время газета стремилась — в этом-то и была ее цель — освещать эти события светом интернационального социализма, не давать угаснуть духу международной солидарности. Имена этих двух инициаторов газеты, организаторов и неутомимых работников приобрели потом большую известность в событиях революции: Антонов-Овсеенко, нынешний украинский командующий, и Мануильский (Безработный), член советской мирной делегации на Украине [1]). Оба — неподдельные публицисты, оба с лирической нотой, хотя и разные, — Мануильский более аналитичен, Антонов — более патетичен, — оба преданные своему делу и детищу до конца. Но Мануильский хворал, покашливал кровью, и его выпроводили в Швейцарию, откуда он и сотрудничал в дальнейшем. Газета целиком легла на плечи Антонова. Я упомянул о плечах не напрасно, ибо Антонов не только писал передовицы, заметки, вел военный обзор, правил корректуру, переводил телеграммы, но и таскал на плечах пачки свежего выпуска, устраивал в пользу газеты вечера, концерты, спектакли и опять-таки, нередко в поту, переносил на себе всякие „дары" для лотереи.

Газета издавалась с величайшими материальными и техническими затруднениями. Перед выпуском первого номера в „кассе" у Антонова и Мануильского имелось ровным счетом 30 франков. Ни один так называемый здраво мыслящий человек не мог, разумеется, верить, чтобы можно было с таким основным „капиталом" издавать ежедневную революционную газету, особенно в условиях войны, шовинистического бешенства и цензурного неистовства. Тем не менее газета, неоднократно закрывавшаяся и после коротких перерывов снова возникавшая под другим

[1]) Писалось в 1919 г.

именем, просуществовала в течение почти $2^1/_2$ лет, т.-е. до русской революции.

Война, после задержания немецких армий на Марне, становилась все требовательнее и беспощаднее. Она не останавливалась уже ни пред какими жертвами и, тем более, ни перед какими расходами. Миллиарды громоздились на миллиарды. „Наше Слово“ [1]), объявившее войну этому чудовищу империализма, вело счет на десятки франков. Не реже, чем раз в неделю, газета неизменно переживала такой кризис, что казалось — выхода нет. Но выход находился. Голодали наборщики, Антонов носился по городу в прорванных сапогах, — и снова совершалось чудо: очередной номер выходил. Важным финансовым источником были вечера „Нашего Слова“. Чтоб доканать нас, префектура запретила наш очередной концерт. Посыпались пожертвования — взамен запрещенного концерта. Известный москвич Шахов, благотворитель „с идеей“, оказавшийся как раз в это время в Париже, нежданно-негаданно прислал в газету 1.100 франков с девизом „против произвола!“ Оказалось, он предварительно справился о наивысшем доходе от вечера и возместил эту сумму.

По приезде в Париж, я застал газету примерно на втором месяце существования. Одним из активных сотрудников газеты в первую эпоху был Мартов. Это лишало газету необходимой определенности. В то время, как Мартов пытался сочетать критику социал-патриотизма с надеждами на органическое возрождение партий и вождей Второго Интернационала, левое крыло стояло на точке зрения признания полного крушения Второго Интернационала и необходимости боевого объединения революционных интернационалистов. Другими словами, газета была вначале органом некоторого временного блока нынешнего левого центра (№ $2^1/_2$!) и нынешних коммунистов. Блок привел скоро к ожесточенной внутренней полемике, а затем и к полному разрыву. Вскоре после Циммервальда Мартов порвал с „Нашим Словом“.

Мартов.

Мартов, несомненно, является одной из самых трагических фигур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум, прошедший марксистскую школу, Мартов войдет тем не менее

[1]) Во второй половине января 1915 года „Голос“ был закрыт французским правительством, но уже 29 января возродился— под заголовком „Наше Слово“.

в историю рабочей революции крупнейшим минусом. Его мысли не хватало мужества, его проницательности не доставало воли. Цепкость не заменяла их. Это погубило его. Марксизм есть метод объективного анализа и вместе с тем предпосылка революционного *действия*. Он предполагает то равновесие мысли и воли, которое сообщает самой мысли „физическую силу" и дисциплинирует волю диалектическим соподчинением субъективного и объективного. Лишенная волевой пружины мысль Мартова всю силу своего анализа направляла неизменно на то, чтобы теоретически оправдать линию наименьшего сопротивления. Вряд ли есть и вряд ли когда-нибудь будет другой социалистический политик, который с таким талантом эксплуатировал бы марксизм для оправдания уклонений от него и прямых измен ему. В этом отношении Мартов может быть, без всякой иронии, назван виртуозом. Более его образованные в своих областях Гильфердинг, Бауер, Реннер и сам Каутский являются, однако, в сравнении с Мартовым, неуклюжими подмастерьями, поскольку дело идет о *политической* фальсификации марксизма, т.-е. об истолковании пассивности, приспособления, капитуляции, как самых высоких форм непримиримой классовой борьбы.

Несомненно, что в Мартове заложен был революционный инстинкт. Первый его отклик на крупные события всегда обнаруживает революционное устремление. Но после каждого такого усилия его мысль, не поддерживаемая пружиной воли, дробится на части и оседает назад. Это можно было наблюдать в начале столетия, при первых признаках революционного прибоя („Искра"), затем в 1905 году, далее — в начале империалистской войны, отчасти еще — в начале революции 1917 г. Но тщетно! Изобретательность и гибкость его мысли расходовались целиком на то, чтобы обходить основные вопросы и выискивать все новые доводы в пользу того, чего защитить нельзя. Диалектика стала у него тончайшей казуистикой. Необыкновенная чисто-кошачья цепкость — воля безволия, упорство нерешительности — позволяла ему месяцами и годами держаться в самых противоречивых и безвыходных положениях. Обнаружив при решительной исторической встряске стремление занять революционную позицию и возбудив надежды, он каждый раз обманывался: грехи не пускали. И в результате он скатывался все ниже. В конце концов, Мартов стал самым изощренным, самым тонким, самым неулови-

мым, самым проницательным политиком тупоумной, пошлой и трусливой мелко-буржуазной интеллигенции. И то, что он сам не видит и не понимает этого, показывает, как беспощадно его мозаическая проницательность посмеялась над ним. Ныне, в эпоху величайших задач и возможностей, какие когда-либо ставила и открывала история, Мартов распял себя между Лонге и Черновым. Достаточно назвать эти два имени, чтобы измерить глубину идейного и политического падения этого человека которому, дано было больше, чем многим другим.

Г. В. Плеханов.

Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила вождей этой эпохи. Безжалостно ликвидировала она в их числе и Г. В. Плеханова. Это был большой человек. Обидно думать, что все нынешнее молодое поколение пролетариата, примкнувшее к движению с 1914 года и позже, знает Плеханова только, как покровителя Алексинских, сотрудника Авксентьевых, почти — единомышленника пресловутой Брешковской, то-есть Плеханова эпохи „патриотического“ упадка. Это был поистине большой человек. И большой фигурой вошел он в историю русской общественной мысли.

Плеханов не создал теории исторического материализма, не обогатил ее новыми научными завоеваниями. Но он ввел ее в русскую жизнь. А это заслуга огромной важности. Нужно было победить революционно-самобытнические предрассудки русской интеллигенции, в которых находило свое выражение высокомерие отсталости. Плеханов „национализировал“ марксистскую теорию и тем самым денационализировал русскую революционную мысль. Через Плеханова она впервые заговорила языком действительной науки, установила идейную связь свою с рабочим движением всего мира, раскрыла русской революции реальные возможности и перспективы, найдя для них опору в объективных законах хозяйственного развития.

Плеханов не создал материалистической диалектики, но он явился ее убежденным, страстным и блестящим крестоносцем в России с начала 80-х годов. А для этого требовались: величайшая проницательность, широкий исторический кругозор и благородное мужество мысли. С этими качествами Плеханов соединял еще блеск изложения и талант шутки. Первый русский крестоносец марксизма работал мечом на славу. Сколько он нанес ран! Неко-

торые из них, как раны, нанесенные талантливому эпигону народничества Михайловскому, имели смертельный характер. Для того, чтобы оценить силу плехановской мысли, нужно иметь представление о плотности той атмосферы народнических, субъективистских, идеалистических предрассудков, которая царила в радикальских кружках России и русской эмиграции. А эти кружки представляли собою самое революционное, что выдвинула из себя Россия второй половины XIX века.

Духовное развитие нынешней передовой рабочей молодежи идет (к счастью!) совсем другими путями. Величайший в истории социальный обвал отделяет нас от того времени, когда разыгрывалась дуэль Бельтова—Михайловского [1]). Вот почему форма лучших, т.-е. наиболее ярко-полемических произведений Плеханова, устарела, как устарела форма энгельсовского „Анти-Дюринга". Взгляды Плеханова молодому мыслящему рабочему несравненно понятнее и ближе, чем те взгляды, которые Плеханов разбивает. Поэтому молодому читателю приходится тратить гораздо больше внимания и воображения на то, чтобы мысленно восстановить взгляды народников и субъективистов, чем на то, чтобы понять силу и меткость Плехановских ударов. Вот почему книги Плеханова не могут получить теперь широкого распространения. Но молодой марксист, который имеет возможность правильно работать над расширением и углублением своего миросозерцания, непременно будет обращаться к первому истоку марксистской мысли в России — к Плеханову. Для этого придется каждый раз ретроспективно вработаться в идейную атмосферу русского радикальства 60—90-х годов. Задача нелегкая. Зато и наградой будет расширение теоретических и политических горизонтов и эстетическое наслаждение, какое дает победоносная работа ясной мысли в борьбе с предрассудком, косностью и глупостью.

Несмотря на сильное влияние на него французских мастеров слова, Плеханов остался целиком представителем старой русской школы в публицистике (Белинский, Герцен, Чернышевский). Он любил писать пространно, не стесняясь уклониться в сторону и

---

[1]) Под псевдонимом Бельтова Плеханову удалось в 1895 г. провести через царскую цензуру самый свой победоносный и блестящий памфлет: „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю".

развлечь читателя по пути шуткой, цитатой—и еще одной шуткой... Для нашего „советского“ времени, которое режет слишком длинные слова на части и потом прессует их осколки вместе, плехановская манера кажется устарелой. Но она отражает целую эпоху и, в своем роде, остается превосходной. Французская школа наложила на нее свою выгодную печать, в виде точности формулировок и прозрачной ясности изложения.

В качестве оратора, Плеханов отличался теми же свойствами, как и писатель, к выгоде и к невыгоде своей. Когда вы читаете книги Жореса, даже его исторические труды, вы чувствуете записанную ораторскую речь. У Плеханова—наоборот. В его речах вы слышали говорящего писателя. Ораторское писательство, как и писательское ораторство, могут дать очень высокие образцы. Но все-таки писательство и ораторство—две разные стихии и два разных искусства. Оттого книги Жореса утомляют своей ораторской напряженностью. И по той же причине Плеханов-оратор производил нередко двойственное и потому расхолаживающее впечатление искусного чтеца своей собственной статьи.

Выше всего он был на теоретических диспутах, в которых так неутомимо купались целые поколения русской революционной интеллигенции. Здесь самая материя спора сближает писательство и ораторство. Слабее всего он бывал в речах чисто политического характера, т.-е. в таких, которые имеют своей задачей—связать слушателей единством действенного вывода, слить воедино их волю. Плеханов говорил, как наблюдатель, как критик, как публицист, но не как вождь. Вся его судьба отказала ему в возможности обращаться непосредственно к массе, звать ее на действие, вести ее. Его слабые стороны вытекают из того же источника, что и его главная заслуга: он был предтечей, первым крестоносцем марксизма на русской почве.

Мы сказали, что Плеханов почти не оставил таких работ, которые могли бы войти в широкий идейный обиход рабочего класса. Исключение составляет разве только „История русской общественной мысли“; но это труд в теоретическом отношении далеко не безупречный: соглашательские и патриотические тенденции плехановской политики последнего периода успели, по крайней мере, частично подкопать даже его теоретические устои. Запутавшись в безысходных противоречиях социал-патриотизма, Плеханов начал искать директив вне теории классовой борьбы,—то

в национальном интересе, то в отвлеченных этических принципах. В последних своих писаниях он делает чудовищные уступки нормативной морали, пытаясь сделать ее критерием политики („оборонительная война — справедливая война"). Во введении к своей „Истории русской общественной мысли" он ограничивает сферу действия классовой борьбы областью внутренних отношений, заменяя ее для международных отношений национальной солидарностью [1]). Это уже не по Марксу, а по... Зомбарту. Только тот, кто знает, какую непримиримую, блестящую и победоносную борьбу Плеханов вел в течение десятилетий против идеализма вообще, нормативной философии в особенности, против школы Брентано и ее марксисто-подобного фальсификатора Зомбарта,—только тот и может оценить глубину теоретического падения, совершонного Плехановым под тяжестью национально-патриотической идеологии.

Но это падение было подготовлено: несчастье Плеханова шло из того же корня, что и его бессмертная заслуга, –он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником. Он полемически отстаивал методы марксизма, но не имел возможности применять их в действии. Прожив несколько десятков лет в Швейцарии, он оставался русским эмигрантом. Оппортунистический, муниципальный и кантональный швейцарский социализм, с крайне низким теоретическим уровнем, его почти не интересовал. Русской партии не было. Ее заменяла для Плеханова „Группа освобождения труда", то-есть тесный кружок единомышленников (Плеханов, Аксельрод, Засулич и Дейч, находившийся на каторге). Плеханов стремился тем более упрочить теоретические и философские корни своей позиции, чем более ему не хватало политических корней. В качестве наблюдателя европейского рабочего движения, он оставлял сплошь да рядом без внимания крупнейшие политические проявления крохоборства, малодушия, соглашательства социа-

[1]) „Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т.-е., во-первых, их *взаимной борьбой* там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным *сотрудничеством* там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений". (Г. В. Плеханов. „История русской общественной мысли". (Москва, 1919 г. стр. II.)

листических партий; но всегда был настороже по части теоретических ересей социалистической литературы.

Это нарушение равновесия между теорией и практикой, выросшее из всей судьбы Плеханова, оказалось для него роковым. К большим политическим событиям он оказался неподготовлен, несмотря на всю свою большую теоретическую подготовку. Уже революция 1905 года застигла его врасплох. Этот глубокий и блестящий марксист-теоретик ориентировался в событиях революции при помощи эмпирического, по существу обывательского глазомера, чувствовал себя неуверенным, по возможности отмалчивался, уклонялся от определенных ответов, отделываясь алгебраическими формулами или остроумными анекдотами, к которым питал великое пристрастие.

Я впервые увидал Плеханова в конце 1902 г., т.-е. в тот период, когда он заканчивал свою превосходную теоретическую кампанию против народничества и против ревизионизма [1]) и оказался лицом к лицу с политическими вопросами надвигавшейся революции. Другими словами, для Плеханова начиналась эпоха упадка. Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова, так сказать, во всей силе и во всей славе его: это было в программной комиссии II съезда партии (в июле 1903 г., в Лондоне). Представители группы „Рабочего Дела", Мартынов и Акимов, представители „Бунда", Либер и др., кое-кто из провинциальных делегатов пытались внести поправки, в большинстве неправильные теоретически и мало продуманные, к проекту программы партии, выработанному, главным образом, Плехановым. В комиссионных прениях Плеханов был неподражаем и... беспощаден. По каждому поднимавшемуся вопросу и даже вопросику он без всякого усилия мобилизовал свою выдающуюся эрудицию и заставлял слушателей и самих оппонентов убеждаться в том, что вопрос только начинается там, где авторы поправки думали закончить его. С ясной, научно-отшлифованной концепцией программы в голове, уверенный в себе, в своих знаниях, в своей силе, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими и тоже веселыми усами, с чуть-чуть театральными, но живыми и выразительными жестами Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю много-

[1]) Ревизионизм — эклектическая теория, основанная на пересмотре (ревизии) марксизма в оппортунистическом духе.

численную секцию, как живой фейерверк учености и остроумия. Отблеск его вспыхивал обожанием на всех лицах и даже на лицах оппонентов, где восторг боролся со смущением.

При обсуждении тактических и организационных вопросов на том же съезде Плеханов был несравненно слабее, иногда казался прямо таки беспомощным, вызывая недоумение тех самых делегатов, которые любовались им в программной секции.

Еще на цюрихском международном конгрессе 1893 г. Плеханов заявил, что революционное движение в России победит, как рабочее движение, или не победит вовсе. Это означало, что революционной буржуазной демократии, способной победить, в России нет и не будет. Но отсюда вытекал вывод, что победоносная революция, осуществленная пролетариатом, не может закончиться иначе, как переходом власти в руки пролетариата. От этого вывода Плеханов, однако, в ужасе отпрянул. Тем самым он политически отказался от своих старых теоретических предпосылок. Новых он не создал. Отсюда его политическая беспомощность, его шатание, завершившееся его тяжким патриотическим грехопадением.

В эпоху войны, как и в эпоху революции, для верных учеников Плеханова не оставалось ничего иного, как вести против него непримиримую борьбу.

К. Каутский.

„Нашему Слову“ пришлось сводить счеты и с Каутским. Международный авторитет его стоял накануне империалистской войны еще очень высоко, хотя уже далеко не на той высоте, как в начале столетия и в особенности в период первой русской революции.

Каутский был, несомненно, самым выдающимся теоретиком Второго Интернационала и в течение большей половины своей сознательной жизни он представлял и обобщал *лучшие* стороны Второго Интернационала. Пропагандист и вульгаризатор марксизма, Каутский главную свою теоретическую миссию видел в примирении реформы и революции. Но сам-то он идейно сложился в эпоху реформы. Реальностью для него была реформа. Революция — теоретическим обобщением, исторической перспективой.

Дарвиновская теория происхождения видов охватывает развитие растительного и животного царств на всем его протяжении. Борьба за существование, естественный и половой отбор идут

безостановочно и непрерывно. Но если бы наблюдатель располагал достаточным временем для наблюдения, имея, скажем, тысячелетие, в качестве низшей единицы измерения, он с несомненностью установил бы на глаз, что бывают долгие эпохи относительного жизненного равновесия, когда действие законов отбора почти не заметно, виды сохраняют свою относительную устойчивость и кажутся воплощением платоновских идей-типов; но бывают и эпохи нарушенного равновесия между растениями, животными и географической средой, эпохи гео-биологических кризисов, когда законы естественного отбора выступают во всей свирепости и ведут развитие по трупам растительных и животных видов. В этой гигантской перспективе дарвиновская теория предстанет прежде всего как теория критических эпох в развитии растительного и животного мира.

Марксова теория исторического процесса охватывает всю историю общественно-организованного человека. Но в эпохи относительного общественного равновесия зависимость идей от классовых интересов и систем собственности остается замаскированной. Высшей школой марксизма являются эпохи революции, когда борьба классов из-за систем собственности принимает характер открытой гражданской войны, и когда системы государства, права и философии обнажаются до конца, как служебные органы классов. Сама теория марксизма была формулирована в предреволюционную эпоху, когда классы искали новой ориентировки, и окончательно сложилась в испытаниях революций и контр-революций 1848 и следующих годов.

Каутский не имел этого незаменимого живого опыта революции. Он получил марксизм, как готовую систему, и популяризовал ее, как школьный учитель научного социализма. Расцвет его деятельности пришелся на глубокий провал между разгромленной Парижской Коммуной и первой русской революцией. Капитализм развернулся со все покоряющим могуществом. Рабочие организации росли почти автоматически, но „конечная цель", то-есть социально-революционная задача пролетариата, отделилась от самого движения и сохраняла чисто академическое существование. Отсюда пресловутый афоризм Бернштейна: „Движение—все, конечная цель—ничто". Как философия рабочей партии—это бессмыслица и пошлость. Но, как отражение действительного духа немецкой социал-демократии последней четверти века перед

войной, изречение Бернштейна очень показательно: реформаторская повседневная борьба приняла самодовлеющий характер,— конечная цель сохранялась по департаменту Каутского.

Революционный характер доктрины Маркса и Энгельса Каутский отстаивал неутомимо, хотя и здесь инициатива отпора ревизионистским попыткам принадлежала обычно не ему, а более решительным элементам (Р. Люксембург, Плеханов, Парвус). Но политически Каутский целиком мирился с социал-демократией, как она сложилась, не замечал ее глубоко-оппортунистического характера, не откликался на попытки придать больше решительности тактике партии. С своей стороны и партия, т.-е. ее правящая бюрократия, мирилась с теоретическим радикализмом Каутского. Это сочетание практического оппортунизма с принципиальной революционностью находило наивысшее свое выражение в гениальном токаре Августе Бебеле, бесспорном вожде партии в течение почти полувека. Бебель поддерживал Каутского в области теории, являясь для Каутского безапеляционным авторитетом в вопросах политики. Только Люксембург подталкивала иногда Каутского левее, чем хотел Бебель.

Германская социал-демократия занимала руководящее место во Втором Интернационале. Каутский был ее признанным теоретиком и, как казалось, вдохновителем. Из борьбы с Бернштейном Каутский вышел победителем. Французский социалистический министериализм („мильерандизм“) был осужден в 1903 г. на Амстердамском конгрессе, который принял резолюцию Каутского. Таким образом, Каутский стал как бы признанным теоретическим законодателем международного социализма. Это был период его наивысшего влияния. Враги и противники называли его „папой“ Интернационала. Нередко величали его так и друзья,—но с лаской. Помню, старуха-мать Каутского, писательница тенденциозных романов, которые она посвящала „своему сыну и своему учителю“, получила ко дню своего семидесятипятилетия приветствие от итальянских социалистов, адресованное: alla mamma del papa („папиной маме“...).

Разразилась революция 1905 года. Она сразу усилила радикальные тенденции в международном рабочем движении и чрезвычайно укрепила теоретический авторитет Каутского. Во внутренних вопросах революции он занял (правда, после других) решительную позицию и предвидел революционное социал-демокра-

тическое правительство в России. Бебель в частных беседах подшучивал над „увлекающимся Карлом", улыбаясь углом тонкого рта. В немецкой партии дело свелось к дискуссии о всеобщей стачке и к радикальной резолюции. Это была кульминация Каутского. Дальше пошло под уклон.

Я впервые увидал Каутского в 1907 г., после побега из Сибири. Поражение революции еще не было очевидным. Влияние Люксембург на Каутского было в этот период очень велико. Его авторитет стоял вне спора для всех фракций русской социал-демократии. Не без волнения поднимался я по лестнице чистенького домика во Фриденау под Берлином. Впечатление „не от мира сего" — беленький старичок с ясными глазами, говорит по-русски „здравствуйте"—в совокупности с впечатлением от научных работ Каутского, из которых мы все многому научились, создавало очень привлекательный образ. Особенно подкупало отсутствие суетности, которое, как мне стало ясно впоследствии, было результатом бесспорности его авторитета и вытекавшей отсюда внутренней уверенности. Личная беседа с Каутским давала, однако, очень мало. Его ум угловат, сух, лишен находчивости, не психологичен, оценки схематичны, шутки банальны. По этим же причинам Каутский крайне слаб, как оратор.

В России революция была отбита, пролетариат отброшен, социализм раздроблен и загнан в подполье; либеральная буржуазия искала примирения с монархией на почве империалистической программы. Разочарование в революционных методах прокатилось волной по Интернационалу. Оппортунизм брал реванш. В то же время международные отношения капиталистических стран все более напрягались, развязка близилась; и социалистические партии вынуждались к полной определенности: с национальным государством или против него? Нужно было либо делать вывод из революционной теории, либо доводить до конца оппортунистическую практику. Между тем весь авторитет Каутского держался на примирении оппортунизма в политике—с марксизмом в теории. Левое крыло (Люксембург и др.) требовало прямых ответов. Их требовала вся обстановка. С другой стороны, реформисты перешли в наступление по всему фронту. Каутский терялся все более, боролся все решительнее с левым флангом, сближался с бернштейнианцами, тщетно пытаясь сохранить видимость марксистской позиции. Он изменился за этот период даже внешним

образом: ясное спокойствие исчезло, в глазах забегала тревога, что-то безжалостно подтачивало его изнутри.

Война принесла развязку, раскрыв в первый же день всю ложь и гниль каутскианства. Каутский советовал не то воздержаться от голосования кредитов Вильгельму, не то голосовать их „с оговоркой". Потом в течение месяцев шла полемика, в которой выяснилось, что же такое собственно Каутский советовал. „Интернационал есть инструмент мира, а не войны"— Каутский ухватился за эту пошлость, как за якорь спасения. Покритиковав шовинистические излишества, Каутский стал подготовлять всеобщее примирение социал-патриотов после войны. „Все люди — все человеки, ошибались, не без того, — война пройдет, начнем сначала"...

Когда разразилась германская революция, Каутский стал чем-то вроде министра буржуазной республики, проповедывал разрыв с Советской Россией („все равно, падет через несколько недель") и, разрабатывая марксизм в квакерском направлении, ползал на четвереньках перед Вильсоном... Как свирепо диалектика истории расправилась над одним из своих апостолов!

„Наше Слово" и „Социал-Демократ".

В борьбе с противниками „Наше Слово" окончательно развязалось с сомнительными союзниками и с неоформленностью своей собственной платформы, выросшей из компромисса. 1 марта 1916 г. редакция следующим образом формулировала программу издания:

„Наше Слово" ставит своей задачей содействовать восстановлению Интернационала на основе согласованной революционной борьбы пролетариата всех стран против войны, империализма и основ капиталистического общества.

„Непримиримая борьба с социал-патриотизмом, отравляющим сознание пролетариата и парализующим его революционную волю, составляет, по условиям момента, центральную боевую задачу „Нашего Слова".

„Примыкая к циммервальдскому объединению интернационалистов и видя в нем первую веху на пути к *созданию революционного Третьего Интернационала*, „Наше Слово" считает обязанностью *левого крыла* интернационалистов решительную критику политической половинчатости и социалистического эклек-

тизма, выяснение пролетариату условий и характера наступившей исторической эпохи и пропаганду революционной тактики, которая в основе своей означает переход пролетариата от оборонительной к наступательной борьбе, путем систематического углубления и расширения экономических и политических конфликтов рабочего класса с империалистической буржуазией и ее государством, под знаменем *завоевания политической власти в целях социальной революции*".

„В рамках российской социал-демократии „Наше Слово" ставит себе задачей очищение рядов партии от социал-патриотизма, необходимо принимающего в условиях России наиболее антиреволюционный и деморализующий характер.

„Открытый разрыв с социал-патриотическими штабами и беспощадную борьбу с ними за влияние на рабочие массы „Наше Слово" считает необходимым условием действенного объединения российских интернационалистов путем преодоления кружковой исключительности и фракционной обособленности".

В Женеве за время войны вышло около 33 номеров руководимого т. Лениным „Социал - Демократа". Разногласия между „Социал-Демократом" и „Нашим Словом", казавшиеся вначале очень значительными, уменьшались все более по мере того, как определялась глубина разногласий с социал-патриотами и социал-пацифистами. Самый факт участия в „Нашем Слове" Мартова, который, несмотря на свой тогдашний очередной сдвиг влево, продолжал доказывать, что у меньшевиков по части интернационализма все обстоит на месте, не мог не спутывать в первое время карт. Критика „Социал-Демократа" была в этом отношении безусловно правильна и помогла левому крылу редакции вытеснить Мартова и тем придать газете, после циммервальдской конференции, более определенный и непримиримый характер. Ко времени второй конференции циммервальдцев (в Кинтале) размежевание „Нашего Слова" с интернационалистами типа Мартова стало совершившимся фактом. Сам Мартов тем временем опять сдвинулся вправо и шел рука об руку с Аксельродом, который сочетал франкофильство с пацифизмом, превыше всего ставя, впрочем, ненависть к большевикам.

Однако, были три пункта, где „Наше Слово" — и после того, как оно окончательно перешло в руки левого крыла редакции,— не сходилось с „Социал-Демократом". Эти пункты касались пора-

женчества, борьбы за мир и характера грядущей русской революции. „Наше Слово“ отвергало пораженчество. „Социал-Демократ“ отвергал лозунг борьбы за мир, опасаясь, что за ним укроются пацифистские тенденции, и противопоставляя ему гражданскую войну. Наконец, „Наше Слово“ стояло на той точке зрения, что задачей нашей партии должно быть завоевание власти во имя социалистического переворота. „Социал-Демократ“ продолжал оставаться на позиции „демократической“ диктатуры пролетариата и крестьянства. Мартовская революция ликвидировала эти разногласия.

* * *

Газета на своих столбцах регистрировала все доходившие до Парижа симптомы пробуждения интернационального духа в рабочем движении. С ее страниц мы перекликались с интернационалистами в Англии, Швейцарии, Италии, Америке, даже в Австралии, откуда присылал корреспонденции покойный ныне Артем (Сергеев). Мы с жадностью набрасывались на всякое проявление революционной мысли в Германии и перепечатывали все выдающиеся документы немецкой социал-демократической оппозиции.

Сотрудники. Среди русских рабочих в Париже, Лондоне, отчасти в Швейцарии, „Наше Слово“ имело пламенных друзей, и число их росло. Не один десяток из этих друзей беззаветно отдался впоследствии делу пролетарской революции. Литературный штаб „Нашего Слова“ состоял из интернационалистов разного фракционного прошлого: тут были „нефракционные“, большевики-примиренцы, чистые большевики, впередовцы и бывшие меньшевики. Будет уместно привести список главнейших сотрудников, как он определился после ухода Мартова и его друзей: А. Балабанова, М. Бронский, Л. Владимиров, Дивильковский (Авдеев), К. Залевский, А. Колонтай, А. Лозовский, А. Луначарский, Д. Мануильский (Безработный), В. Мещеряков, Овсеенко-Антонов (А. Галльский), М. Покровский, М. Павлович, В. Полянский, К. Радек, Рапопорт (Варин), Рязанов (Буквоед), Х. Раков-

ский, Ф. Ротштейн, В. Сокольников, Сергеев (Артем), Л. Троцкий, М. Урицкий (Борецкий), Г. Чудновский, Г. Чичерин (Орнатский).

Из иностранцев ближе всего стояли к газете А. Росмер и Роланд Хольст.

Г. И. Чудновский. Из числа ближайших сотрудников „Нашего Слова" два погибли в гражданской войне: Урицкий и Чудновский. Имя Урицкого, этого мягкого и нежного человека, который выполнил в революции столь суровую работу, знают все. Но о Чудновском нужно сказать хоть несколько слов. Он умер слишком молодым, и именно поэтому молодежь не знает его. Это был энтузиаст. Как нередко бывает с молодыми энтузиастами, он в спокойные времена прикрывал свое горение видимостью внешней выдержки, чуть ли не бесстрастия. Он очень серьезно занимался вопросами марксистской теории. Но при первом же крупном внешнем поводе Чудновский загорался с ног до головы. По прибытии из Америки вместе со мною (в начале мая 1917 г.), он, как военно-обязанный по возрасту, вступил в армию Керенского и скоро завоевал руководящее положение в одном из корпусов. С первого дня Октябрьской революции он уже не разлучался с винтовкой. Под Пулковым, в бою с казаками Керенского, Краснова, Чудновский командовал одним из отрядов: не потому, что знал военное дело лучше других, а потому, что был решительнее и мужественнее других. Раненый пулей и едва долечившись, снова ушел на линию огня и уже не выходил из нее. Так как горячее всего в то время было на Украине, то Чудновский оказался там. В рядах партизан он сражался с немецкими оккупантами и бандами Рады, которая приговорила его к смертной казни, но не успела повесить. Вступивши в Киев, красные войска спасли Чудновского. Но ненадолго. Он погиб при отступлении из Харькова. Убила ли его гогенцоллернская или же демократическая пуля одного из украинских „социалистов-революционеров" или „социал-демократов", действовавших в бандах Рады совместно с войсками Гогенцоллерна, осталось неизвестным. Не все ли равно?..

Газета Чернова. Существование „Голоса" и потом „Нашего Слова" побудило группу социалистов-революционеров, с Черновым во главе, поставить конкурирующее ежедневное издание субъективистского направления.

Среди народнической интеллигенции патриотическая эпидемия свирепствовала несравненно опустошительнее, чем в марксистской среде. Социалистов-революционеров-интернационалистов можно было перечесть по пальцам. Их интернационализм имел не революционный, а по преимуществу гуманитарный, бесформенно идеалистический характер. Что касается вождя этой партии, то он выполнял свою естественную функцию, т.-е. старался занять позицию, не занимая ее, отстаивал интернационализм в союзе с французскими социал-патриотами и заполнял все пробелы и дыры ватой своих писаний и речей. Начавши с критики германской социал-демократии, к которой он давно подбирался и справа и слева, заимствуя доводы то у Бернштейна, то у синдикалистов, Чернов после некоторого периода выжидания решил, что кризис Второго Интернационала означает крушение марксистской идеологии и что нужно ковать железо, пока горячо. Дальше банальнейшего резонерства и кашеобразного морализирования он в своих писаниях, разумеется, не заходил. В уличных лужах французского шовинизма он выискивал аргументы в пользу того открытия, что Маркс и Энгельс были основоположниками германского социал-империализма. В последнем итоге оказывалось, что кризис Второго Интернационала произошел потому, что ответственные вожди его не вняли своевременно голосу самого Чернова. При этом субъективный прорицатель забывал объяснить, почему девять десятых его собственных единомышленников, наряду с бланкистами, синдикалистами и анархистами, оказались вовлеченными в патриотический водоворот. Так, в течение двух-трех месяцев он каждый день старался доказать, что у него есть взгляды, и что эти взгляды отличаются высшей революционностью. Французская военная цензура поверила ему на слово и, после закрытия нашей газеты, приостановила также и газету Чернова. Он ездил в Циммервальд, где представлял собою достаточно инородное тело, но кончил тем, что примкнул к циммервальдовской левой — неожиданно для левой, для конференции и для самого себя. Разумеется, это не мешало ему стать министром империалистской войны и в пухлой и рыхлой речи защищать июньское наступление (1917 г.) в союзе с армиями империалистской Антанты. Худшие черты „расейской" интеллигенции, обогащенные парламентским и журналистским опытом европейского оппортунизма, нашли свое округленное во

всех отношениях выражение в политической фигуре Чернова. Неразборчивая революционная волна подбросила это ходячее идейное шарлатанство на пост председателя учредилки и затем, отраженным взмахом, отшвырнула в небытие.

* * *

После подбора и приведения в порядок материалов для настоящего издания выяснилось, что их приходится разбить на две книги. Ко второму тому мы относим статьи, прослеживающие политические группировки и внутреннюю борьбу в важнейших социалистических партиях Европы; равно как и документы двухмесячной работы в Соединенных Штатах Америки, накануне мартовской революции.

Мы не ставили себе задачей собрать в этих двух томах *все* статьи периода войны, так как это чрезмерно отяготило бы издание. Мы устранили, по возможности, статьи, посвященные незначительным или второстепенным эпизодам, или же заключавшие в себе развитие уже высказанных ранее мыслей, только приуроченное к другому поводу. Равным образом пришлось отказаться от воспроизведения статей, слишком сильно изуродованных французской цензурой. Таких не мало. В тех статьях, где цензурные пробелы были достаточно прозрачны, мы попытались восстановить их. Вовсе избежать повторений не удалось, так как значительная часть статей печаталась в ежедневном издании, которое по самому существу своему живет повторениями. При внимательном просмотре статей нам казалось, однако, что самые эти повторения будут не лишними для молодых читателей, которым нужно войти, вчитаться, вдуматься в оставленную нами позади эпоху империалистской войны, навсегда проложившую кровавый водораздел между вчерашним днем человечества и его завтрашним днем.

Л. Троцкий.

18 марта 1919 г.
Москва—Симбирск.
24 апреля 1922 г.
г. Москва.

I. Из Австрии — в Швейцарию.

Сербские террористы и французские „освободители". Венские настроения в первые дни войны [1]).

Непосредственный толчок неизмеримым событиям нынешней войны дали несколько юношей сербских, почти мальчиков, убивших в Сараеве австро-венгерского престолонаследника в июле 1914 года. Национальные романтики-революционеры, они меньше всего ожидали тех мировых последствий, какие развернулись из их террористического акта. С одним из членов этой революционной организации я встретился позже, в первые месяцы войны, в Париже. Он принадлежал к той самой группе, которая организовала сараевское покушение, но сам уехал за границу до убийства и в первые дни войны вступил добровольцем во французский флот, в качестве переводчика. Тогда союзники затевали высадку на Адриатическое побережье Австро-Венгрии, в Далмации, имея в виду поднять восстание в юго-славянских провинциях Габсбургской монархии. Французские военные суда запаслись сербским шрифтом, чтобы печатать революционные воззвания, и молодыми, самоотверженными сербами, которые должны были составлять и распространять эти воззвания и вообще поднимать восстание за „национальную независимость". Официально они назывались переводчиками. Так как, однако, сербские революционеры на военных кораблях республики представляли слишком горючий материал, то на адмиральское судно был помещен седовласый серб-шпион для „внутреннего надзора" за молодыми энтузиастами. Весьма вероятно, что эту мудрую предусмотрительность нужно отнести за счет русского посольства в Париже, которому вообще во всех подобного рода операциях принадлежит неоспоримая гегемония среди союзников...

Все предприятие окончилось, как известно, ничем. Французские суда покружились в Адриатике, подошли к Поле, но после

[1]) Три очерка „Из Австрии в Швейцарию" были напечатаны в нью-иоркской газете „Новый Мир" в начале 1917 г. Хронология статей здесь, как нередко, и в дальнейшем, нарушена в пользу хронологии событий.

нескольких безрезультатных выстрелов вернулись во-свояси. Почему? спрашивали себя с недоумением все непосвященные. Но в политических и газетных кругах Франции объяснение уже сообщалось на ухо: „Италия не хочет"... Поднять восстание в южных провинциях Австро-Венгрии можно было, очевидно, лишь под знаменем национального объединения юго-славян. Между тем Италия считает, что Далмация должна принадлежать ей „по праву" — по праву империалистического аппетита — и она заявила протест против предполагавшейся высадки союзного отряда. В ту пору приходилось внимательно оплачивать благожелательный нейтралитет Италии, как позже ее вмешательство в войну: вот почему французские корабли столь неожиданно повернули назад вместе со своими походными типографиями, сербами-переводчиками и седовласым сыщиком...

„Как же так? — спрашивал меня молодой сербский революционер, о котором я упоминал выше. — Выходит, что союзники попросту продают сербов Италии. Где же тут война за освобождение малых народов? И ради чего, в таком случае, погибать нам, сербам? Неужели же я вступил в волонтеры только затем, чтобы кровью своей содействовать переходу Далмации в руки Италии? И во имя чего тогда погибли мои сараевские друзья, Гаврило Принцип и другие?".

Он был в полном отчаянии, этот юноша со смуглым, чуть рябоватым лицом и лихорадочно блестящими глазами. Истинная подоплека „освободительной" войны открывалась перед ним со своего далматинского угла... От него узнал я много подробностей о внутренней жизни юго-славянских революционных организаций и, в частности, о группе мальчиков, которые убили габсбургского престолонаследника, главу австро-венгерской военной партии.

Организация, носившая романтическое название „Црна рука", была построена на строго-заговорщицких карбонарских [1]) началах. Новопоступающего проводили через таинственные обрядности, прикладывали нож к открытой груди, брали с него клятву молчания и верности, под страхом смерти и пр. Нити этой организации, имевшей свои разветвления во всех юго-славянских провинциях Габсбургской монархии и наполнявшейся самоотвержен-

[1]) Карбонарии — итальянские революционеры, боровшиеся в XIX стол. против австрийского ига.

ными представителями учащейся молодежи, сходились в Белграде, в руках офицеров и политиков, одинаково близких и к сербскому правительству и к русскому посольству. Агенты Романовых на Балканах никогда не останавливались, как известно, перед употреблением динамита.

Вена облачилась в официальный траур, что не мешало широким массам городского населения довольно безучастно относиться к известию о гибели наследника габсбургского престола. Но тут за обработку общественного мнения принялась пресса. Трудно найти достаточно яркие слова для характеристики той поистине подлейшей роли, которую выполняла и выполняет пресса всей Европы — да и всего мира — в событиях нынешней войны. В этой оргии подлости австро-венгерская черно-желтая печать, не блещущая ни знаниями, ни талантами, занимает бесспорно не последнее место. По команде из невидимого публике центра, из того дипломатического пекла, где решаются судьбы народов, писаки всех оттенков политической кожи мобилизовали со времени покушения в Сараеве столько лжи, сколько ее не видно было с сотворения мира.

Мы, социалисты, могли бы с спокойным презрением видеть в каиновой работе „патриотической“ печати по обе стороны траншей неотразимое доказательство нравственного растления буржуазного общества, если бы... если бы виднейшие социалистические органы не пошли по тому же пути. Вот что явилось для нас вдвойне страшным, ибо неожиданным ударом. Впрочем, поскольку речь идет о венской „Arbeiter Zeitung“ („Рабочей Газете“), о неожиданности можно говорить только наполовину. За семь лет жизни в Вене (1907 — 1914) я успел достаточно близко познакомиться с умонаправлением руководящих кругов австрийской социал-демократии и меньше всего ждал с их стороны революционной инициативы. Чисто-шовинистический характер статей Лейтнера, заведующего в газете отделом международной политики, был уже достаточно известен и до войны. Еще в 1909 г. мне приходилось выступать в „Neue Zeit“ против прусско-австрийской линии центрального органа австрийской социал-демократии. Во время поездок на Балканы я не раз слышал от балканских, особенно от сербских социалистов (в частности от незабвенного друга, непримиримого революционера Дмитрия Туцовича, убитого, в качестве сербского офицера, во время нынешней

войны), возмущенные жалобы на то, что вся сербская буржуазная пресса злорадно цитирует шовинистические выпады „Arbeiter Zeitung“ против сербов, как доказательство того, что международная солидарность рабочих есть праздничная сказка — и только. Несмотря на все это, я не ожидал все же от „Arbeiter Zeitung“ той человеконенавистнической разнузданности, образцы которой дала эта газета в первую эпоху войны...

После предъявления Австро-Венгрией известного ультиматума Сербии начались в Вене патриотические манифестации. В них участвовали преимущественно подростки. Настоящего шовинизма в толпе не было, а были возбужденность и восторженность, ожидание каких-то больших событий и перемен... разумеется, перемен к лучшему, так как в сторону ухудшений, казалось, уже прибавить нечего... А печать неистово эксплуатировала это настроение, взвинчивала и обостряла его.

„Теперь все зависит от поведения России, — говорил мне социалистический депутат рейхстага Леопольд Винарский, умерший во время войны. — Если царь вмешается, война у нас станет популярной“.

И действительно, нет никакого сомнения в том, что призрак царского нашествия на Австрию и Германию чрезвычайно взбудоражил воображение австро-германских масс. Международная репутация царизма, особенно после эпохи контр-революции, имела слишком определенный характер и, можно сказать, сама наталкивала австро-германских политиков и газетчиков на мысль провозгласить войну против восточного деспотизма „освободительной“. Это ни в малейшей степени не оправдывает, разумеется, Шейдеманов, которые немедленно же занялись переводом гогенцоллернской лжи на „социалистический“ язык. Но это раскрывает перед нами всю бездну падения наших Плехановых и Дейчей, которые на склоне дней своих открыли в себе призвание адвокатов царской дипломатии в эпоху ее величайших преступлений.

Настроения в Австрийской социал-демократии. — Виктор Адлер. — Отъезд в Цюрих.

События нагромождались одно на другое. Пришла телеграмма об убийстве Жореса. В газетах уже было так много злостной лжи, что оставалась, — по крайней мере в течение нескольких часов, — возможность сомнения и надежды. Тем более, что сейчас же последовала телеграмма об убийстве Пуанкаре и о восстании в Париже. Но вскоре исчезла возможность сомневаться в убийстве Жореса, как и надеяться на то, что оно отомщено... 2-го августа Германия объявила войну России. Уже до этого дня начался отъезд русской эмиграции из Вены. 3-го августа утром я отправился на Винцейле, в новый дом „Арбейтер Цейтунг", чтобы посоветоваться там с социалистами-депутатами, как быть нам, русским.

В секретариате я застал Фридриха Адлера или „доктора Фрица", как называли его на партийных верхах в отличие от отца, Виктора Адлера, которого называли просто „доктор", без дальнейших пояснений. Довольно высокого роста, худой, слегка сутуловатый, с благородным лбом, на который падают вьющиеся светлые волосы, и с отпечатком постоянной задумчивости на лице, Фриц стоял всегда особняком в среде довольно многочисленной в Вене партийной интеллигенции, столь склонной к острословию и дешевым анекдотам. Он провел года полтора в Цюрихе, в качестве приват-доцента по кафедре физики и редактора местной партийной газеты „Volksrecht". За время войны швейцарский социализм испытал радикальное внутреннее перерождение, интересы его крайне раздвинулись; старые партийные мандарины, считавшие, что суть марксизма выражается пословицей „тише едешь, дальше будешь", сразу отошли на второй план... Но в те до-военные годы, когда Фр. Адлер жил в Цюрихе, атмосфера швейцарского социализма еще отличалась глубоко-провинциальным характером. Адлер не выдержал, вернулся в Вену, вступил в секретариат партии и в редакцию ее теоретического ежемесячника „Der Kampf". Кроме того, он взял на себя издание еженедельного агитационного листка „Das Volk", печатавшегося в очень значительном количестве, главным образом для провинции. В последние недели перед войной Фр. Адлер был занят подготовкой между-

народного конгресса. На его рабочем столе лежали отпечатанные для конгресса юбилейные марки и всякие другие издания: партия успела израсходовать на подготовительные работы свыше 20.000 крон, как плакался казначей.

Было бы преувеличением сказать, что в доме на Wienzeile можно уже было констатировать в те дни определенные принципиальные группировки; нет, этого еще не было. Но зато ясно сказывалось глубокое различие психологического отношения к войне. Одни как бы радовались ей, сквернословили по адресу сербов и русских, не очень отличая правительства от народов: это — органические националисты, чуть-чуть покрытые лаком социалистической культуры, который теперь сползал с них не по дням, а по часам.

Другие — и во главе их стоял Виктор Адлер — относились к войне, как к внешней катастрофе, которую нужно „перетерпеть". Выжидательная пассивность влиятельнейшего вождя партии была, однако, только прикрытием для разнузданной агитации активно-националистического крыла. Тонкий и проницательный ум, обаятельный характер, Виктор Адлер, как личность, выше своей политики, которая вся разменялась за последнюю эпоху на уловление счастливых комбинаций в безнадежной сутолоке австрийских условий, столь располагающих к скептицизму. В свою очередь политика Адлера, крайне индивидуальная по самой своей природе, несравненно выше тех политических сотрудников, которых эта политика объединила вокруг вождя. Его скептицизм стал у них цинизмом; отвращение Адлера к „декоративности" в политике превратилось у них в открытое глумление над основными ценностями социализма. И этот естественный подбор сотрудников представляет собой наиболее яркое выражение и осуждение системы Адлера-отца.

Сын, со своим неподдельным революционным темпераментом, стоял в органической вражде к этой системе. Он направлял свою критику, свое недоверие, свою ненависть прежде всего на собственное правительство. Во время нашего последнего свидания (3 авг. 1914 г.) он первым делом указал мне только что опубликованный призыв властей к населению: выслеживать и ловить подозрительных иностранцев. С сосредоточенным отвращением говорил он о начинающемся разгуле шовинизма. Его внешняя сдержанность только оттеняла его глубокое нравственное

потрясение. Через полчаса в секретариат пришел „доктор". Он предложил мне немедленно отправиться с ним в префектуру, к шефу политической полиции Гейеру, чтобы справиться у него о том, как власти намерены поступить с проживающими в Вене русскими эмигрантами.

В автомобиле, по пути в префектуру, я обратил внимание Адлера на то, что война вызвала в Вене наружу какое-то праздничное настроение. — Это радуются те, которым не нужно итти на войну,—ответил он, — и радость их теперь кажется патриотической. Кроме того, на улицу сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие: это их время. А серьезные люди сидят дома в тревоге... Убийство Жореса—только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия...

Психиатр по своей старой медицинской специальности, Адлер часто подходит к политическим событиям („особенно австрийским", говорит он иронически) с психо-патологической точки зрения.

Как далек он был в тот момент от мысли, что его собственный сын совершит политическое убийство... Я упоминаю здесь об этом потому, что после покушения Фр. Адлера австро-желтая пресса и ряд социал-патриотических изданий попытались объявить самоотверженного революционера неуравновешенным и даже ненормальным — под углом зрения своей собственной низкопробной „нормы". Но судебно-габсбургская медицина вынуждена была капитулировать перед мужественной выдержкой террориста. С каким холодным презрением должен был он отнестись к отзывам евнухов социал-патриотизма, если до него в тюрьму доходили их голоса...[1]).

Шеф политической полиции Гейер выразил предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов. „Тех, кого мы знаем, мы потом освободим, но могут быть осложнения. Кроме того, позже мы не будем выпускать из страны".

— Следовательно, вы рекомендуете уехать?

---

[1]) Личному мужеству Фр. Адлера не хватило физической силы мысли. Освобожденный революцией из тюрьмы Адлер капитулировал перед партией, которая сперва довела его до отчаяния, а затем предала. Сейчас Адлер лидерствует в Двух-с-половинном Интернационале, служа тому делу, против которого он попытался восстать хотя бы ценою своей жизни...

— Безусловно. И чем скорее, тем лучше.

— Хорошо... Завтра я уеду с семьей в Швейцарию.

— Гм... я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня.

Этот разговор происходил в 3 часа дня, а в 6 часов 10 минут мы уже сидели с семьей в вагоне поезда, направлявшегося в Цюрих.

Швейцарская социал - демократия. — Грютли. — Эйнтрахт. — Фриц Платтен. — Немецкая брошюра „Война и Интернационал". — Социалистическая приписка к штабу.

Швейцарская социал-демократия связана, с одной стороны, с немецким, с другой—с французским социализмом. Вполне естественно, если кризис этих двух сильнейших социалистических партий немедленно же отразился в Швейцарии, охваченной со всех сторон огненным кругом войны. Отразился с тем большей остротой, что швейцарский социал - патриотизм осложняется естественно противоречивыми тяготениями—в сторону Германии и в сторону Франции. В этом отношении очень выразителен следующий факт политической симметрии. В швейцарском парламенте заседают два социалистических депутата с одинаковыми именами и фамилиями: Иоанн Сигг от Цюриха и Жан Сигг от Женевы. Оба социал - патриоты, но Иоанн ярый германофил, а Жан еще более ярый франкофил. При таких условиях интернационалистская политика, помимо всего прочего, являлась для социалистической партии единственным средством самосохранения. И действительно, интернационалистическая точка зрения встречала в низах партии (а мне пришлось принимать в этот период участие во многих собраниях) почти всеобщее сочувствие. Но совсем не так обстояло дело на верхах.

Опорой правого, националистического крыла сразу явился старый союз „Grütli", из которого собственно и развивалась швейцарская социал - демократия. Наиболее боевым националистом выступал здесь бывший пастор Пфлюгер, один из представителей партии в федеральном парламенте. „Если б я был германским императором,—заявил он на одном из партийных собраний, где развернулись первые прения по поводу войны,—я тоже стоял бы настраже с обнаженным стальным мечом против России". Эту

же самую фразу Пфлюгер повторял месяцем позже на партийном съезде в Берне; но увы... патетические слова произвели совсем не то действие, на которое были рассчитаны: поднялся бурный хохот, затем шум, свист, и злосчастный кандидат в германские императоры так и не мог закончить свою речь.

Очагом левых являлась организация „Eintracht", вербовавшаяся почти исключительно из иностранцев: немцев, австрийцев, русских и проч. Из подлинных швейцарцев в этой организации принимал активное участие Фриц Платтен, секретарь правления партии. Большого роста, с открытым лицом, хороший народный оратор, сам пролетарий по происхождению и роду жизни, Платтен представляет собою несомненно одну из самых привлекательных фигур в швейцарской социал-демократии. „Какое унижение,— говорил он на этих первых собраниях,—что рабочие снова согнули спину в эту критическую минуту... Но я надеюсь, что еще в течение этой войны они покажут, что умеют умирать не только за чужое, но и за свое дело". В устах Платтена это не фразы. В 1905 г., когда в России разразилась революция, Платтен, тогда еще 20-летний юноша, решает принять в ней участие, отправляется в Ригу, борется в первых рядах и сводит основательное знакомство с русской тюрьмой... в 1912 г. он стоял во главе всеобщей стачки в Цюрихе, как один из ее самых решительных и отважных вождей.

Уже в сентябре (1914 г.) правление „Eintracht" выработало боевой интернационалистский манифест и пригласило „лидеров" партии на организационное собрание, где мне поручено было прочитать доклад в защиту манифеста. „Лидеры", однако, не явились: они считали слишком рискованным занимать позицию в столь остром вопросе, предпочитая выжидать и ограничиваясь пока что комнатной критикой патриотических „излишеств" немецких и французских социалистов. Это, кстати сказать, политическая психология, весьма распространенная в политических кругах нейтральных стран, в том числе и в Соединенных Штатах,—здесь даже более, чем где бы то ни было [1]).

Собрание „Eintracht" почти единогласно приняло манифест, который затем был опубликован в социалистической прессе и послужил серьезным толчком для партийного общественного мнения.

[1]) Писалось в нью-йоркской газете „Новый Мир" до вступления Соединенных Штатов в войну.

На упомянутом уже съезде в Берне доклад по поводу войны читал судья Отто Ланг. Доклад был в стиле весьма умеренного пацифизма, близкого, пожалуй, к нынешней позиции Каутского. Но настроение большинства съезда было несравненно решительнее доклада. Вообще за время войны швейцарская партия проделала большой сдвиг влево, и это привело к отколу значительной части грютлианцев, которые создали самостоятельную реформистскую и социал-патриотическую партию. В этом факте, кстати сказать, нельзя не видеть еще одного доказательства крайней глубины расхождения между социал-патриотизмом и интернационализмом.

Пребывание в Швейцарии было для меня заполнено главным образом работой над немецкой брошюркой „Война и Интернационал". Брошюра выросла из дневника, где я старался в первые недели войны выяснить—сперва только для себя—причины катастрофы влиятельнейших социалистических партий и пути выхода из кризиса. Платтен взял на себя заботу о распространении брошюры и позаботился о том, чтобы несколько тысяч экземпляров попало в Германию и Австрию. В это время я уже был во Франции и не без удивления прочитал однажды во французских газетах телеграмму из Швейцарии о том, что один из немецких судов приговорил меня заочно к тюремному заключению за мою брошюру. Должен сказать, что гогенцоллернские судьи оказали мне этим приговором, по которому я, конечно, не торопился произвести расплату, очень ценную услугу. Для социал-патриотических клеветников и „идейных" сыщиков, вроде Алексинского, немецкий судебный приговор против меня всегда оставался камнем преткновения в их благородных усилиях доказать, что я являюсь по существу дела агентом немецкого генерального штаба.

Французская таможня, с своей стороны, задержала пакет с брошюрами, пересланными мне из Цюриха в Париж, и известила меня, что брошюра конфискуется в виду ее немецкого происхождения. Кое-кто из русских рассказал об этом Густаву Эрве, у которого тогда еще были минуты оппозиционного просветления,—и в его „Guerre Sociale" появилась негодующая заметка против конфискации... „анти-немецкой" (!) брошюры. По этой или иной причине, но через несколько дней таможня доставила мне задержанный ею пакет.

Незачем говорить, что немецкая социал-патриотическая пресса попыталась, с своей стороны, представить автора брошюры скры-

тым русским патриотом и защитником союзных интересов. Каково процентное отношение между сознательной клеветой и добросовестным шовинистическим изуверством в подобного рода обвинениях? Определить это бывает не легко. Во всяком случае несомненно, что социал-патриотизм принижает людей идейно и морально, отучая их видеть в социалисте только социалиста. Когда-то крепостные мужики при встрече друг с другом в пути спрашивали: — Вы чьих будете? — Шереметьевские.— А мы Бобринских господ.—Вот эта крепостная психология „принадлежности" кому-нибудь глубоко сидит в социал-патриотических мозгах... Кому „служит" интернационалист? И интересы какого штаба защищает? Романовых ли господ или Гогенцоллернов? Эти люди становятся неспособны верить, что можно быть одновременно врагом всех „господ", стоять под собственным знаменем и чувствовать себя, по прекрасному выражению Фридриха Адлера, солдатом „постоянной армии социальной революции".

II. Первые недели войны.

(Из швейцарского дневника.)

7 августа (н. ст.) 1914 г.

Странное дело: начало войны, на-ряду с ошеломлением, вызывает в народе какую-то радость. Когда через раскрытое окно кто-нибудь выкрикивает толпе, что подписан указ о мобилизации, толпа пьянеет, кричит „ура", ходит возбужденно по улицам, поет патриотические песни и производит такое впечатление, будто она только и ждала объявления мобилизации и войны, и вот заветная ее мечта, наконец, исполнилась... И это повторялось всюду, где мне приходилось наблюдать войну: в Сербии и Болгарии, где дело шло об „освобождении братьев от турецкого ига"; в Румынии, где дело шло об откровенном захвате болгарской территории; в Австрии, где собрались душить Сербию... Приходишь к чудовищному на первый взгляд выводу, что народ „радуется" войне, как таковой, независимо от ее целей и задач. А это так и есть в сущности.

Война разрывает узы обычных, следовательно, тяжких отношений, которые всегда чувствуются трудящимися, как каторжные кандалы. Стоит в них всмотреться — и они уже невыносимы. Война выбивает из каторжной колеи и обещает перемену. Война захватывает всех, и, следовательно, угнетенные, придавленные, обманутые жизнью чувствуют себя как бы на равной ноге с богатыми и сильными. Вот эта напряженная надежда на перемену и эта (мнимая) круговая порука всех классов порождают на первых порах ту приподнятую и как бы веселую встревоженность, которая дает право газетчикам всех стран писать: „указ о мобилизации был встречен восторженно..."

В этой надежде на решительную и внезапную перемену, на то, что война освободит от постылой лямки, которую приходится тащить от утренних сумерек до ночи, без просвета, без радости, — в этой надежде на чудо из сказки много детского, — не даром мальчишки играют такую большую роль во всех „пат-

риотических“ манифестациях. Первая волна отрезвления приходит, однако, скоро. Никакой круговой поруки война не приносит; те льготы, какие она дает (вроде мораториума и пр.), не покрывают и в далекой степени тех новых материальных тягот, какие она влечет за собою.

Война нередко вызывала революцию. И не столько потому, что война бывала неудачна в государственном смысле, сколько потому, что она не уплачивала по векселям надежд. Встряхнув до дна народную массу, оторвав ее от обыденного и заставив задуматься над общим, породив в душе ее смутные, но глубокие надежды, война кончает тем, что обманывает ее. Это, конечно, грубая схема. В настроениях военного времени — ряд приливов и отливов.

Указ о мобилизации вызывает, как сказано, вспышку надежд. Не успеет это настроение израсходоваться в мобилизационной сутолоке, как следует объявление войны. Новый, еще более высокий прилив. Но зато все резче сказываются последствия мобилизации. Начинают сказываться затруднения. Но тут известие о первой „блестящей победе“ поднимает настроение до апогея. Надежды на скорый мир. Дальше начинается — прерываемый время от времени новыми повышениями — отлив настроения и у тех, которые ушли, и у тех, которые остались...

9 августа.

Вчера вечером виделся с Грейлихом. Ему теперь должно быть 73 — 74 года, коренастый, не толстый, но грузный, тяжелый — полная противоположность покойнику Бебелю, тонкому, легкому. Почти ровесники, оба — рабочие, они и по характеру были очень несходны. Бебель — воплощение идеи долга, ригорист и абсолютный трезвенник. О Грейлихе этого сказать никак нельзя. Относительно „Weib, Wein und Gesang“ (женщины, вина и пения) он того же одобрительного мнения, что и Мартин Лютер. Я с интересом присматривался к старику. Весь в белых длинных волосах, лицо не в морщинах, а в суровых складках, умное чрезвычайно. Глаза по-старчески выцветшие и обложенные тяжелыми веками, но во время разговора поблескивающие настоящею мыслью. Говорили, разумеется, о войне. Грейлих не-

доволен поведением социалистических партий, но это недовольство мирного, нейтрального социал-демократа.

„Интернационала не существует сейчас. Они сильнее нас. Когда мы действуем, как авангард, мы считаем себя силой. Но когда на сцену выступают большие массы, тогда оказывается, что мы все еще небольшое меньшинство. В этом разгадка всего, что происходит. И когда мы оказываемся в явном меньшинстве, тогда общее настроение могущественно захватывает и наших людей. Виктор Адлер, Аустерлиц, Реннер, Бауэр — все это великолепные (prachtvolle) люди, но смотрите, как они держат себя. Или германские социал-демократы? Вместо того, чтобы воздержаться (!), они голосуют за военные кредиты. А Вандервельде становится в такое время министром!.."

„Эта война обнаружила глубокий кризис Интернационала. Он возродится, разумеется, но на другой основе. Политические партии скомпрометировали себя. Но профессиональные союзы остались от этого в стороне (!?). А между тем, союзы не могут жить без интернациональной организации. Я думаю, что Интернационал возродится после войны на основе профессиональных союзов".

Откуда Грейлих взял, будто союзы остались в стороне, совершенно непонятно. Он прав, конечно, что „мы" представляем собою меньшинство. Но ведь и те, которые ведут войну, тоже в меньшинстве. Это не помешало им, однако, мобилизовать большинство. И оно пошло — даже с „подъемом".

...Если верно передано заявление Гаазе в „Corriere della Sera", то он мотивировал голосование за военные кредиты ссылкой на опасность со стороны царизма. О войне с Францией не сказал ни слова.

Английское правительство необходимость вмешаться в войну мотивировало необходимостью поддержать Францию против Германии, — о России Асквит не упомянул ни одним словом.

Политика германской социал-демократии нуждалась в умолчаниях так же точно, как и политика английского правительства. Следовательно, игра не вполне чиста не только у Асквита, но и у Гаазе. И еще один вывод: войну можно оправдывать перед общественным мнением либо необходимостью борьбы с царизмом, либо, по крайней мере, замалчивая союз с ним.

О военных перспективах Грейлих высказался во вчерашнем разговоре так: „Блестящих побед над Францией Германия не по-

лучит. Если б получила, это было бы крайне печальным фактом. Немцы понесут во Франции большие жертвы, и если будут иметь успех, то не такой, который мог бы создать для Франции безвыходное положение. Зато в России одержат большие победы"...

* * *

„День немецкого народа".

Заседание рейхстага.

Этот день четвертого августа мы не забудем. Как бы ни выпали неумолимые жребии—мы со всем жаром нашего сердца надеемся, что они принесут победу святому делу немецкого народа,—картина, которую явил сегодня немецкий рейхстаг, представитель нации, неизгладимо запечатлеется в сознании всего немецкого человечества, навсегда будет отмечена в истории, как день самого гордого и могучего подъема немецких душ...

На другой стороне—жалкие спекуляции, коалиции мелких лавочников, лишенные всякой нравственной идеи. Здесь — единый народ, охваченный мощным движением. Мировая история пошла бы вспять, если бы правое дело немцев не восторжествовало"... („Wiener Arbeiter Zeitung").

О, Смердяковы!..

По поводу голосования германской социал-демократии 4-го августа за войну и военные кредиты „Arbeiter Zeitung" пишет о великом дне немецкой нации. Тот факт, в котором мы видим позорное политическое падение германской социал-демократии, наполняет сердце „рабочей" газеты радостью, гордостью и надеждой. Она находит в своем словаре такие поэтические слова и выражения, которые вызывают у нас только жгучий стыд и — омерзение. О, Смердяковы!.. Как же все-таки это могло случиться? Каким образом Второй Интернационал закончил страшным фиаско?

Интернационал обсуждал каждые три года вопрос о борьбе с военной опасностью, — guerre à la guerre — и если были разногласия, то только по вопросу о том, какими средствами международная социал-демократия должна воспрепятствовать взрыву войны, или — если война разразится, — каким путем вырвать самые отсталые массы из-под власти правящих и обрушить последствия войны на головы господствующих классов (Штуттгартская резолюция). Но когда призрак войны становится реальностью, немецкая социал-демократия вступает в тайные переговоры со своим правительством, которое доставляет ей „непререкаемые"

доказательства своего миролюбия; французское правительство убеждает в том же французских социалистов; австрийские социалисты объявляют ультиматум, предъявленный Австро-Венгрией Сербии, по существу справедливым. Когда война начинается, немецкие социал-демократы не находят ничего иного, как голосовать за 5 миллиардную ассигновку на военные расходы; а австрийские социал-демократы приходят от этого в то состояние тупоумного национального опьянения, образчики которого мы привели выше. Совершенно очевидно: здесь дело идет не о промахах, не об отдельных оппортунистических шагах, не о „неловких" заявлениях с парламентской трибуны, не о голосовании баденских велико-герцогских социал-демократов за бюджет, не об экспериментах французского министериализма, не о ренегатстве нескольких вождей, — дело идет о крушении Интернационала в самую ответственную эпоху, по отношению к которой вся предшествующая работа была только подготовкой.

10 августа.

Несомненно, что симптомы — и не одни симптомы — национальных противоречий в самом Интернационале были налицо. Австрийская социал-демократия не донесла до войны даже своего формального единства и расползлась по национальным швам. Мне приходилось несколько лет тому назад писать в „Neue Zeit" по поводу шовинистической тенденции „Wiener Arbeiter Zeitung", особенно в вопросах внешней политики. Тогда австро-марксисты (О. Бауэр и др.), возмущенные моим недопустимым „вмешательством", объяснили все дело тем, что отделом внешней политики заведует Л., а у этого Л. ...большая семья и ложные взгляды (буквально!); из-за большой семьи ему нельзя отказать в редакторском посту, а свои ложные взгляды он проводит в таком отделе — das Auswärtige, — который принадлежит, особенно в Австрии, к области декоративной политики: „Рабочие этого не читают".„У нас в Австрии это не имеет никакого значения...". „У нас это принадлежит к области декоративной политики"... В. Адлер любил определять все, что относится к Интернационалу, словами: „das Brüsseler Departament, die dekorative Politik" (брюссельский департамент, декоративная политика). Эта точка зрения была до последней степени близорука и ложна, особенно в многонациональной

Австро-Венгрии: внешняя политика австро-немецких социал-демократов теснейшим образом задевала всегда внутренние отношения рабочих разных национальностей в самой Австрии. Невозможно выступать от имени „немецкой идеи", „немецкого духа"— „против" славянской идеи, как это делала сплошь „Arbeiter Zeitung", и объединять в то же время немецких рабочих со славянскими. Невозможно изо-дня в день третировать сербов из королевства, как „вшивых конокрадов", и объединять немецких рабочих с австрийскими юго-славянами. Социал-демократический депутат Элленбоген говорил на массовых собраниях в Вене: „Мы верны немецкой нации в счастьи и в несчастьи, в мире и войне". В том же духе говорили Пернерсторфер, Аустерлиц... Другие говорили то же самое, но менее вызывающе. В результате этой политики партия распалась на составные национальные части, и в час войны немецкая социал-демократия Австрии оказалась вспомогательным отрядом монархии. Ибо нужно сказать прямо: если бы сам Берхтольд составил программу деятельности для австрийской социал-демократии в эпоху международного кризиса, он не мог бы предложить ничего иного, кроме того, что делалось на Rechte Wienzeile [1]).

Не так ярко эти симптомы националистической отравы наблюдались у германской социал-демократии. Но и там недостатка в тревожных предупреждениях не было. Бебель когда-то обещал взять ружье на плечо для защиты отечества против царизма. Унтер-офицеры партии брали такое заявление очень и очень всерьез. Ту же фразу повторил Носке в своей нашумевшей в свое время бюджетной речи. „Er hat den Bebel überbebelt" (он перебебелил Бебеля), говорили про него в партии. В частных беседах, за кружкой пива, средние чиновники партии высказывались иногда в духе такого тупого, национальнофилистерского самодовольства, что приходилось только с изумлением раскрывать глаза... Но что касается формальных заветов интернационализма („декоративной политики", по В. Адлеру), германская социал-демократия выдерживала их лучше, чем какая-либо иная из больших западно-европейских партий [2]).

---

[1]) Дом с.-д. партии, где помещались Ц. К., „Arbeiter Zeitung" и другие учреждения.

[2]) Мы опускаем следующие страницы дневника, так как они получили дальнейшее развитие в главе „Война и Интернационал".

11 августа.

...Столкновение национальной ограниченности социал-демократии с интернациональными задачами, поставленными развитием империализма, привело к самоликвидации Второго Интернационала.

Не может быть никакого сомнения в том, что еще в течение ближайших месяцев европейский пролетариат поднимет голову и покажет, что под Европой милитаризма живет Европа революции. Только пробуждение революционного социалистического движения, которое должно будет сразу принять крайне бурные формы, заложит фундамент нового Интернационала. Можно не сомневаться, что он создастся путем глубокой внутренней борьбы, которая не только отбросит от социализма многие старые элементы, но и расширит его базу, пересоздаст его политический облик. Во всяком случае, социализму не придется начинать сначала. Третий Интернационал будет означать в принципиальном смысле возврат к Первому Интернационалу, но на основе организационно-воспитательных завоеваний Второго Интернационала.

Грядущие годы будут эпохой социальной революции. Только революционный подъем пролетариата может остановить эту войну, — иначе она, при сложности вовлеченных в нее факторов и необозримости поля и сил действия, будет длиться до полного истощения Европы и мира и отбросит всю нашу цивилизацию назад на ряд десятилетий...

12 августа.

— Репюблик — репюблик, — говорит у Глеба Успенского офранцуженный русский мещанин в Париже, — а во что вогнали картошку!?

Это и есть основной критерий Швейцарии: картошка. Немецкая Швейцария на стороне Германии, французская — на стороне Франции. Но обе они прежде всего озабочены беспрепятственным получением съестных припасов. В этом европейском захолустье сейчас все события оцениваются под углом зрения картошки. Швейцария вооружилась для того, чтобы отстоять свои дома, свои виноградники и своих коров от чьего бы то ни было посягательства. Тут национальные симпатии прекращаются. Насчет своей картошки швицер шутить не любит. Нужно, однако, сказать,

что мелкобуржуазно-крестьянская, кантонально-республиканская швейцарская милиция, призванная для обеспечения швейцарской территории, импонирует своим видом несравненно больше, чем дрессированные, щеголевато выступающие в поход европейские полки. Австриец отправляется усмирять Сербию и внушать ей уважение к престижу австро-венгерской монархии. Немец идет на Брест-Литовск, которого он не отыщет на карте. Английский флот выплывает для поддержания континентальной системы. Курский мужичок отправляется в поход для поддержания братьев-славян и за „прекрасную Францию" (ну еще бы!). А вот швейцарец взял в руки меткую винтовку для защиты своей капусты, своих кроликов и своей картошки, — он, по крайности, твердо знает, зачем идет на границу, что и кого будет защищать. И когда глядишь на этих ограниченных, коренастых людей, загорелых, нередко седых, с острым взглядом охотников и стрелков, когда наблюдаешь их деловую дисциплину, личную независимость, уверенность в себе, — чувствуешь неизмеримо большее уважение к этой консервативной мещанско-мужицкой демократии, чем к все еще полу-феодальной Европе с ее дворами, гербами, манифестами божьей милостью и прочими аксессуарами средневековья...

* * *

Застрявшие здесь русские оценивают мировые события, главным образом, под углом зрения курса рубля и цен на съестные припасы. Кредит сразу прекратили; связи с Россией прервались; русские деньги перестали менять на швейцарские. Потом стали менять 100 руб. на 100 фр., затем опять прекратили размен, снова меняли и снова прекращали...

— Сегодня утром давали 240 фр. за 100 руб.

— Да не может быть!

— Да как же: ведь Англия объявила Германии войну. Спешите разменять ваши две двадцатипяти-рублевки, а то завтра Италия еще, чорт ее дери, вмешается на той стороне, — опять станут давать пустяки...

* * *

Сведения с русско-германско-австрийской границы крайне расплывчаты. Время от времени на фоне этой расплывчатости поднимается ракета, всегда одной и той же австрийской марки

(Конрада фон-Гетцендорфа или Дашинского?): русская Польша объята-де восстанием, в Варшаве революционное национальное правительство, русские войска совершенно очистили Польшу и пр. и пр. Это сообщение кажется невероятным только потому, что оно явилось слишком рано. Вообще же все соображения говорят за то, что Россия и этот раз пойдет по пути саморазгрома. Разговоры о том, что мы со времени русско-японской войны всему научились, исправили все упущения и стоим „на высоте" — совершенно несубедительны.

Начать с солдатской массы, и именно с ее крестьянской толщи. Нет никакой возможности допустить, будто новые аграрные порядки успели за семь лет переродить молодые поколения деревни, сделав их „законопослушными" и „сознательно-патриотическими". Наоборот, именно реакционные бытописатели больше всего постарались над тем, чтобы наделить новые крестьянские поколения всеми чертами безначалия и хулиганства. Достаточно вспомнить речи на съездах объединенного дворянства, роман Родионова „Наше преступление", статьи Меньшикова и пр. и пр. На самом деле в деревне началась, со времени 1905 г. и ранее того, огромная бытовая революция, пробуждение личности в крестьянине и, следовательно, полное крушение толстовской каратаевщины, безличного бытового фатализма, безответственности, стихийной психологии и морали, питающихся „властью земли".

Пробуждение личности крестьянина, при условии хозяйственного роста деревни, должно несомненно выработать из крестьянской массы консервативных индивидуалистических собственников, опору буржуазного порядка. То деревенское „хулиганство" молодежи, против которого Россия 3-го июня неутомимо требовала драконовских мер, знаменовало начальную стадию этого процесса — резкое анархически-заостренное пробуждение личности в безличном дотоле общиннике и государственном тяглеце. Как этот процесс развернется через 10, через 20 лет (сами инициаторы аграрного закона 9-го ноября требовали для обнаружения его благотворного действия чуть не столетия), — это вопрос особый, который зависит от всего хода экономической и политической эволюции страны. Но непосредственное действие встряски экономических, бытовых и психологических основ деревни направлялось непосредственно против авторитетов — отцов, общины, помещиков, церкви, государства.

Огромное значение имеет для современной армии развитие школьного обучения, хотя бы распространение простой грамотности. Контр-революция сделала на этом пути известные завоевания, по крайней мере, количественного характера. Но те поколения крестьян, которые заполняют сейчас ряды русской армии, не успели еще воспользоваться новой школьной сетью. Война застигает русскую деревню в начальной фазе перерождения, и это должно обнаружиться на крестьянском материале нашей пехоты самым плачевным для господ положения образом.

Каково настроение молодого поколения рабочих, — а процент рабочих в армии за десятилетие со времени русско-японской войны чрезвычайно возрос — ясно без больших разговоров: как раз накануне войны по стране прокатилась стачка, которая в Петербурге приняла бурно революционный характер. Рабочие войдут в действующую армию с теми самыми чувствами, которые толкали их за последние два года на непрерывные политические выступления, — т.-е. с чувствами глубокой ненависти ко всей правящей России. Не лучше должны быть и настроения многочисленных „инородческих“ элементов армии, которые не могут не быть до последней степени раздражены режимом контр-революции.

Таков солдатский материал армии: окончательно выбитое из патриархальной пассивности, но еще далеко не вошедшее в буржуазные нормы, крестьянство; мятежные рабочие; озлобленные, как никогда раньше, инородцы.

Не меньшее значение для хода военных операций имеет офицерский корпус. Его внутренняя жизнь в мирное время закрыта от непосвященных. Но для того, чтобы судить о том, чем стал русский офицерский корпус в дореволюционную эпоху, нет, в сущности, надобности обращаться к художественным произведениям из офицерской среды (Куприн) или к тем „эксцессам“, где представители всех родов оружия входят в рукопашное общение с публикой ночных кафе, ресторанов или вокзалов. В сущности достаточно сказать себе, что офицерство, в верхнем, командующем своем ярусе, представляет собою неотделимую составную часть правящей России. Здесь происходит тот же подбор взглядов, приемов и отношений. Военный министр Сухомлинов, собираясь жениться на жене какого-то помещика, развел этого помещика с женою при помощи таких же приблизительно

приемов, какие Щегловитов пускал в ход для постановки процесса Бейлиса. Офицерство и бюрократия — это сообщающиеся сосуды, и средний нравственный уровень их один и тот же. Тот подбор кровожадности, какой происходил в эпоху усмирений, закрепился в эпоху националистического сервилизма (при Столыпине) и нашел свое естественное развитие в небывалом казнокрадстве, кумовстве и дикой беспечности. Дореволюционная Россия не знала правителей в стиле Маклакова-Кассо-Думбадзе, вдохновителей в стиле Распутина, — их не предвидел даже Щедрин; и этот же распутинский дух находит несомненно свое отражение в командующем аппарате армии и флота.

Из всего этого вытекает неизбежность жесточайшего разгрома, который, в свою очередь, развяжет революционную энергию народа. Отнюдь не исключена возможность того, что еще до нового года мы вернемся на родину[1])...

* * *

Цюрихская социал-демократическая газета „Volksrecht“ (185, 12 августа 1914 г.) поднимает вопрос об обеспечении населения жизненными припасами. Швейцария производит сама зерна только для четвертой части населения. Недостаток пополняется ввозом, насчет которого теперь уже нет уверенности. Отчасти недостачу может покрыть домашний картофель. Во всяком случае, наибольшая нужда предвидится именно в области хлеба и картофеля, — крахмала. Жирами и белковиной население, благодаря молочно-мясному характеру швейцарского сельского хозяйства, обеспечено гораздо лучше. „Volksrecht“ требует реквизиции всего зерна и картофеля этого года, изъятия его вообще из сферы частной торговли и планомерного распределения реквизированных запасов

[1]) В этих строках недооценена военная роль интеллигенции, заполнившей в армии в дальнейшем низшие и средние офицерские посты. Интеллигенция успела за годы контр-революции претерпеть решительное буржуазное перерождение и показала себя в разных областях, в том числе на командных постах, проникнутой либерально-империалистскими тенденциями. Патриотическая мобилизация буржуазного общественного мнения, военно-техническая мобилизация промышленности и активная роль буржуазной интеллигенции в армии придали царской России в войне значительную устойчивость. Но, в конечном счете, это означало только оттяжку разгрома. В основе своей данный выше анализ подтвердился событиями. Разница оказалась только в сроках.

(IV. 1922. Л. Т.)

среди населения через посредство кантональных и коммунальных органов и потребительских организаций. Финансовая сторона дела должна быть разрешена при посредстве национального банка, в качестве посредника между государством и сельским хозяйством. Только таким путем, — говорит „Volksrecht", — можно избежать и хлебного ростовщичества и голода неимущих, у которых более зажиточное население перехватит необходимейшие жизненные продукты.

Но ведь это „социалистическая" мера! Да, это было бы шагом — скромным, но поучительным — к социалистическому распределению жизненных продуктов. И этот шаг может быть действительно навязан Швейцарии ее положением. Чем больший хаос вносит война в международные хозяйственные отношения, чем больше она дезорганизует производство и средства сообщения, тем разумнее и планомернее, тем предусмотрительнее и экономнее приходится распределять наличные жизненные припасы. Но разумно и экономно производить и распределять можно только — на социалистических началах. В этом вся наша сила, и она раскроется в надвигающуюся эпоху всеобщего расстройства, растерянности и нужды.

Среди застрявшей в Цюрихе русской публики, эмигрантской, студенческой, случайной (курортной, туристской и пр.), образовался с начала войны „Комитет Общественного Спасения", который всесторонне обслуживает компатриотов: выдает справки, дает указания, оказывает материальную помощь и пр. Вокруг Комитета сейчас группируется вся русская публика, от военного дезертира до члена одесской судебной палаты и от рабочего-эмигранта до директора Лазаревского института. Во главе комитета стоят, разумеется, социал-демократы-эмигранты, как люди, пользующиеся неограниченным нравственным доверием и имеющие наибольшие навыки в общественных делах. Комитет организовал дней 6 тому назад дешевую столовую, где суп с кашей и хлеб в неограниченном количестве выдаются за 30 сант., неимущим — бесплатно. В первый день обедало человек 15, теперь около 160. В столовой, говорят, стали появляться нарядные барыни, оказавшиеся в Цюрихе без гроша и без возможности получить деньги из России.

Скоро вся Швейцария, а за ней и вся Европа, может оказаться в необходимости превратиться в такую дешевую столо-

вую... Рационально организовать эту европейскую столовую нельзя будет помимо рабочих организаций, и руководящую роль в этой организации прокормления будут естественно играть социал-демократы. В том хаосе, который воцаряется сейчас над Европой, это будет спасительным началом организации.

Человечество не погибнет под дымящимися обломками милитаризма. Оно выкарабкается из-под них на настоящую дорогу. Начав с забот о планомерном распределении картошки, оно придет к социалистической организации производства.

13 августа.

У порога эпохи, когда международный социализм так жестоко скомпрометировал себя, погиб Жан Жорес. Я сейчас мысленно пробегаю историю и не нахожу другого примера, по крайней мере, в новую эпоху, когда бы жертвой убийства стал человек такого духовного роста. События, каких не было в истории, сейчас же нахлынули, чтобы смыть кровь Жореса и самую память о нем. Но для многих смерть Жореса все же остается самым трагическим событием августа 1914 г., этого страшного месяца в человеческой летописи.

Когда пришла телеграмма об убийстве Жореса, многие — и я в том числе (еще в Вене) — после первой минуты остолбенения, спросили себя: нет ли тут руки русской реакции? В этом предположении нет ничего невероятного. Жорес был не только противником союза республики с царизмом, — он поставил себе в данный момент целью удержать Францию от вмешательства в войну. И с той страстью, в которой сочетался политический оппортунизм с революционным идеализмом, он стремился к своей цели, готовый привести в движение все рычаги: и силу своего парламентского красноречия, и силу своего закулисного влияния на правительство, и своего „ученика“ Вивиани, и революционный натиск масс. Жорес стоял, как могущественное препятствие на пути французского шовинизма и царской дипломатии. Не сдвинув его с пути, нельзя было получить уверенности, что Франция будет итти в ногу с политикой Николая и Пуанкаре. И Жореса устранила пуля французского роялиста, за которым, если хорошо поискать, можно, вероятно, найти тень одного из коллег статского генерала Гартинга[1])...

[1]) Один из известных деятелей царской охранки.

Жорес был идеологом — в том смысле, в каком забытый ныне французский социолог Альфред Фуллье говорил об идеях-двигательницах. Наполеон с презрением отзывался об „идеологах" (самое слово, кажется, принадлежит ему). Между тем, сам Наполеон был идеологом — нового милитаризма. Идеолог не просто приспособляется к реальности, а отвлекает от нее ее „идею" и эту идею доводит до ее последних выводов. Это дает ему в известные эпохи такие успехи, каких никогда не может иметь вульгарный практик, но это же подготовляет для него и головокружительные падения.

Жореса нет!.. Он полнее всего выражал прошлую эпоху французского социализма, он отвлекал ее „идею"—и на службе этой идее никогда не останавливался на полпути. Так, в эпоху дела Дрейфуса он довел до последних выводов идею сотрудничества с буржуазной левой и со всей страстью поддерживал Мильерана, вульгарного политического карьериста, в котором не было и нет ничего от идеологии, от ее мужества и бескорыстия. На этом пути Жорес забрался в политический тупик, опять-таки со слепотой идеолога, который готов закрыть глаза на многое, чтоб не отказаться от своей идеи двигательницы. Это не слепота политического крота, выползшего из норы, это ослепление орла, взор которого обожжен идеей — солнцем. С настоящей идеологической страстью Жорес боролся против милитаризма и опасности европейской войны. В этой борьбе — как и во всякой другой — он применял такие методы, которые не вытекали из природы классовой борьбы пролетариата и которые политику марксисту должны справедливо казаться недопустимыми, или по меньшей мере, рискованными. Он многое полагал на себя самого, на свою личную силу, и в кулуарах парламента настигал министров и прижимал их к стене тяжестью своей аргументации. Он, повидимому, сильно рассчитывал на личное свое влияние на премьера Вивиани, и на заседании Интернационального Бюро в Брюсселе, за несколько дней до смерти, выступал поручителем за миролюбие французского правительства.

Но переговоры с министрами и кулуарное воздействие на дипломатов сами по себе вовсе не вытекали из его природы и совершенно не возводились им в доктрину: он не был доктринером политического оппортунизма, он был идеологом. Как сегодня

он убеждал и заклинал Вивиани отступиться от царизма, так завтра он мог мобилизовать на площадях революционные массы против правительства войны. На службе идеи, которая владела им, он с одинаковой страстью и несгибаемостью идеолога способен был применять и самые оппортунистические и самые революционные средства, и, если владевшая им идея отвечала характеру эпохи, он способен был достигнуть таких результатов, как никто. Но он же шел и навстречу катастрофическим поражениям. Как Наполеон, он в своей политике мог знать и Аустерлиц и Ватерлоо.

Жореса нет... Европейская война переступила через труп Жореса! А, между тем, может быть, именно та эпоха, которая в смутных, но грандиозных очертаниях открывается за войной, дала бы Жоресу возможность развернуть свою силу до конца. Он боролся за мир, за демократию и за реформы, но война и революция его меньше, чем кого бы то ни было из „стариков" Интернационала, застигли бы врасплох. Доктринер застывает на теории, дух которой он умерщвляет; оппортунист-рутинер усваивает себе известные навыки политического ремесла, и после перелома эпохи чувствует себя, как рыба на берегу. Идеолог такого гениального стиля, как Жорес, бессилен только в тот момент, когда история идейно разоружает его, но он способен и перевооружиться, овладеть новой идеей-двигательницей и стать на службу новой эпохи.

Смертью Жореса французский социализм обезглавлен в гораздо большей мере, чем германская социал-демократия смертью Бебеля. Не потому, чтобы абсолютное значение Бебеля, его личности и его деятельности, было меньше значения Жореса, а потому, что более драматическая природа французской политики, в том числе, и социалистической, гораздо больше зависит от качеств и свойств руководящей „репрезантативной" личности, чем в Германии,—особенно в ту эпоху молекулярного накопления сил, гениальным выразителем которой был и до конца оставался Август Бебель.

С убийством Жореса большая гора свалилась с плеч французского шовинизма и русской дипломатии. Неразрешенным остается пока-что вопрос, кто заряжал револьвер ничтожного фанатика...

14 августа.

В конце сентября 1905 г. я временно жил (вернее, скрывался) в Финляндии, на берегу озера, в лесу, в одиноком пансионе, который назывался Rauha, по-фински—„покой". Это было вскоре после того, как знавший обо мне Николай Доброскок был раскрыт, как провокатор. Лесной отель был рассчитан на несколько сот гостей и в сезон бывал полон. Но в сентябре пустовал. Штат прислуги был сведен к минимуму, но хозяйственная машина находилась в движении—выходило так, что для меня одного. Хозяйка, больная сердцем, боролась со смертью; ее силы поддерживали шампанским. Я ее, впрочем, никогда не видал. Хозяин уехал по делам в Гельсингфорс. Во время его отсутствия умерла хозяйка. Старший кельнер поехал в город разыскивать хозяина. За столом, в огромном обеденном зале, мне прислуживал мальчик лет 14. Это был единственный живой человек, с которым я встречался в течение двух или трех дней... А в это время в России поднималась волна. Придя из пустынного и уже снегом покрытого парка в пустынный дом, мертвая хозяйка которого лежала на столе, я застал пачку петербургских газет и в них—отражение того прибоя, который привел к манифесту 17-го октября. Было какое-то поразительное, почти фантастическое противоречие между пустынным пансионом Rauha с мертвой хозяйкой и той бурей, отголоски которой принесла петербургская печать.

В начале октября я покинул „Покой" и прибыл в Петербург. Вечером того же дня посетил митинг в университете, а на другой день говорил в актовом зале Технологического Института. Пустынный отель Rauha надолго исчез из памяти...

Швейцария, в которой теперь приходится отсиживаться от войны, это тоже в своем роде отель Rauha. Конечно, и тут армия мобилизована, и тут стоит вопрос о государственном существовании, в Базеле даже слышен шум канонады,—но все же Швейцария, озабоченная главным образом избытком сыра и возможным недостатком картофеля, пока-что напоминает отель-оазис, охваченный огненным кольцом войны. Каждый день телеграммы приносят известия о событиях всемирно исторического значения, — и, кто знает, может быть, очень недалек тот час, когда

можно будет покинуть швейцарский отель „Rauha“ и снова встретиться с петербургскими рабочими в зале Технологического Института.

15 августа.

Немецкая буржуазная пресса полна похвал по адресу немецкой социал-демократии, которая—столь неожиданно для господ положения—с таким подчеркнутым бесстыдством сдала свой патриотический экзамен. „Vossiche Zeitung“ рассказывает, как Гаазе появился на трибуне, как раскрыл рот, как все повисли на его губах, какой восторг овладел всеми после его речи: нет более классов, партий, есть одни немцы, любящие свое отечество. Сообщают, что депутат Вендель, тот самый, который к великому—конечно, напускному — ужасу патриотической буржуазной черни закончил недавно свою парламентскую речь по международной политике возгласом „Vive la France!“, что этот самый Вендель вступил волонтером в германскую армию, и пр. и пр. Буржуазная пресса стран Антанты подхватывает эти сообщения и печатает их на поучение собственным социалистам. Несомненно, что в россказнях патриотической прессы много вранья. Но почва под всем этим сейчас такова, что, читая, не знаешь, где кончается политическая действительность, а где начинается нравоучительное вранье. И все яснее становится, какое ужасающее преступление совершила германская социал-демократия своим голосованием за военные кредиты. Сегодня я просмотрел „Vorwärts“ за время с 29-го июля по 5-ое августа (дальнейшие номера здесь еще не получены) и с полной наглядностью убедился, до какой степени беспринципно было голосование с.-д. фракции рейхстага, до какой степени официальная мотивировка этого голосования не вытекала из всего поведения партии и в частности „Vorwärts'a“. Оглашенная Гаазе декларация сыграет еще большую роль в истории германской социал-демократии. Не может быть никакого сомнения в том, что внутри самой фракции имелось внушительное меньшинство против голосования за кредиты. И еще меньше сомнения в том, что из недр партии поднимется негодующий протест против предательского голосования фракции, как только пройдет первый момент оцепенения.

... Меня прервали сообщением о том, что Карл Либкнехт, призванный как резервный офицер под знамена, отказался уча-

ствовать в той войне, которую ведет сейчас Германия. Его расстреляли. В Берлине произошла по этому поводу демонстрация. Войска стреляли. Много убитых, в их числе будто бы Роза Люксембург. Все эти сведения нуждаются в проверке и подтверждении, так как они шли к нам через Копенгаген в Лондон, оттуда в Рим, и уже из Италии — сюда. Но сообщение относительно Либкнехта находит косвенное подтверждение в официальном немецком опровержении, которое говорит, что в Берлине не было демонстрации с кровопролитием. Значит, расстрел Либкнехта состоялся? Значит, демонстрация—без кровопролития—была? Возможно, что ограничились избиением? Если Либкнехт действительно пал, то поистине во спасение достоинства и чести германской социал-демократии!

17 августа.

Война и мир! Сегодня устраивал своих мальчиков в школе. Приступал к этому делу с беспокойством, опасаясь, что будут трудности с метрическими свидетельствами, которых у них нет, как и вообще у нас нет никаких документов. Но на этот раз „республика“ оправдала себя. Спросили, как зовут мальчиков, сколько им лет, где учились. О бумагах ни слова, и ни слова о „вероисповедании“ шестилетнего Сережи. Старшего записали в третий класс, младшего в первый, и через час оба уже сидели на своих партах. „Какие учебники нужны им?“ „Никаких, мы дадим им все нужное“. Как ни силен дух мелкобуржуазной полицейщины в этой архаической республике, школу, по крайней мере, они освободили.

18 августа.

Сообщение относительно казни Карла Либкнехта и кровавого подавления демонстрации в Берлине категорически опровергается немецким телеграфным агентством.

Здесь был вчера Молькенбур, который сообщил следующие факты: во фракции 36 депутатов (1/3) были за то, чтобы голосовать против кредитов, около 15 за воздержание, так что большинство получилось всего в несколько голосов. Но радикалы были настолько уверены в своем перевесе, что провели предварительно решение о безусловном подчинении меньшинства большинству, и большинство в несколько голосов нанесло тягчайший

А. М. КОЛОНТАЙ

во всей истории социализма удар Интернационалу. Разумеется, тот политический факт, что германские социал-демократы голосовали за кредиты на взаимное истребление народов, да еще цинично ссылались при этом на принцип Интернационала, нимало не теряет своего объективно-постыдного характера от того только, что почти половина фракции стыдилась и колебалась. Но цифровые группировки внутри фракции являются сами по себе очень показательными для будущего: какую же негодующую реакцию вызовет это голосование в массе пролетариата, если даже внутри фракции, наиболее оппортунистического органа партии, оно имело против себя почти половину членов. Но вместе с тем это же соотношение показывает, какая масса социал-демократов, при том на верхах партии, относится с полным безразличием к основным заветам революционного социализма и готова отречься от них именно тогда, когда они из „отвлеченных" руководящих принципов становятся вопросом жизни и смерти.

26 августа.

Третьего дня меньшевик М. читал здесь на общем собрании местной русской социал-демократической публики доклад об Интернационале во время войны. Его попытка объяснить капитуляцию социал-демократии, как неожиданный и случайный шаг, вызванный всеобщей „паникой", была в высокой степени несостоятельной. До войны,—разъяснял М.,—существовало полное согласие относительно принципов международной политики, и это согласие было столь ярко демонстрировано на международном конгрессе в Базеле; но с момента военного разрыва отношений между государствами народы оказались совершенно изолированными друг от друга и от всего мира. Европа населилась призраками, воцарилась всеобщая паника, в этом хаосе единственной властной силой оказался инстинкт самосохранения,—социал-демократия попала к нему в плен. Другими словами: так как воцарилась всеобщая паника, то и поведение социал-демократии стало паническим. Это объяснение представляется простым плеоназмом. В воцарившейся с объявлением войны панике на-ряду с социал-демократией действовали и действуют ведь и другие силы: правительства, дипломаты, генеральные штабы, банки, буржуазные партии, буржуазная пресса. Все эти силы в хаосе мобилизации и войны про-

водят свою политику, которая вытекает из их интересов и опирается на всю их подготовительную работу. „Frankfurter Zeitung" пишет, что мы присутствуем при самом величественном и прекрасном (!!) зрелище, какое когда-либо видел мир. Для *них* это действительно высший подъем, какого современное общество может достигнуть под *их* политической гегемонией. Для них национальная паника является спасительным психологическим цементом, который скрепляет с ними всю массу нации. В войне и через войну монархии, парламенты, капиталистическая солдатчина и буржуазная пресса проходят свою историческую кульминацию. И вот в этом-то движении, враждебном нам в самых основах нашей исторической миссии, международная социал-демократия растворяется почти бесследно. Данное М. объяснение этого явления может получить известный смысл, если пойти дальше и сказать: какой огромный перевес дает буржуазии тот факт, что она является политически господствующим классом,—опираясь на свой государственный аппарат, она заставляет служить себе ту самую национальную панику, безвольным пленником которой оказывается пролетариат. Но это соображение, верное само по себе, не разрешает того вопроса, который именно и требует разрешения: *куда же девалась полувековая работа международного социализма.*

Выше я говорил много и подробно [1]) о том, какие именно условия предшествующей эпохи нашли свое трагическое выражение в той преступной роли, какую сыграл Интернационал с открытием войны. Здесь мне приходится записать лишь некоторые дополнительные соображения.

Социал-демократическая работа в парламентах, муниципалитетах, в правлениях профессиональных союзов и кооперативов создала огромные кадры рабочей бюрократии. Руководящие верхи этой бюрократии находились в постоянном деловом общении с руководящими представителями буржуазного общества. Сколь непримиримый (в формальном смысле) характер ни носила оппозиционная тактика социал-демократии, постоянное сотрудничество с буржуазными политиками—в течение лет и десятилетий—в замкнутой „деловой" атмосфере парламентов, муниципалитетов, бесчисленных комиссий, примирительных камер и пр. и пр. не могло не отражаться на сознании представителей рабочего класса,

[1]) Вошло в главу „Война и Интернационал".

суживая, специализируя, ограничивая их кругозор, делая их восприимчивыми к непосредственным буржуазным внушениям. Влияние буржуазного общественного мнения тем победоноснее, чем могущественнее национальный парламентаризм, чем богаче исторические традиции и политический опыт национальной буржуазии. В искусстве деморализовать и подчинять своим интересам представителей рабочего класса английская буржуазия не знает себе равных. За ней следует французская. Политические чары немецкой буржуазии несравненно ниже сортом. Этим в значительной мере и объясняется могущественный рост немецкой социал-демократии. Но зато колоссальные цифры германского капитализма и милитаризма, изо дня в день преподносимые в печати, в парламенте и его комиссиях, не могли не импонировать социал-демократической бюрократии, не могли не пригибать ее воображения, и таким путем, т.-е. при сохранении ее формальной независимости, делать ее восприимчивой к влияниям, идущим сверху.

Глубоким коррективом являлось настроение рабочей массы. Тот, в известных пределах неизбежный, из существа самих отношений вытекающий парламентарный оппортунизм, методы которого занимают такое большое место в головах социал-демократических депутатов, газетчиков, бюрократов, совершенно ничего не говорит сердцу массы: она откликается только на голос классовой непримиримости. Средний социал-демократический парламентарий ведет в известном смысле двойственное существование: в комиссии парламента он говорит совсем другим языком, чем на рабочем собрании. Но эта-то двойственность и спасает его от окончательного обезличения в буржуазном парламентаризме.

Что же сделала мобилизация?

Она, с одной стороны, удесятерила давление буржуазного общественного мнения на верхи социал-демократии, с другой—лишила ее спасительного контроля организованных масс. Немецкие рабочие выросли и воспитались на организации и дисциплине. Бесконтрольное творчество инициативного меньшинства—тактика, которой одно время пытались щеголять французские синдикалисты — совершенно чуждо воспитанию и духу германского пролетариата. Разумеется, он имеет и все недостатки своих достоинств: вне правильно действующих организаций, он способен развить слишком малую силу сопротивления внешнему давлению. Военная мобилизация механически и притом одним ударом вырвала ра-

бочих из производственных и организационных клеток: из мастерских, профессиональных союзов, политических организаций и пр., и, перетасовав, включила их в новые, огнем и железом спаянные клетки полков, бригад, дивизий и корпусов.

Масса оказалась политически парализованной, изолированное от нее представительство—под могущественным напором национального общественного мнения. Воспитание, вынесенное социал-демократией из предшествующей эпохи, не давало ей ни действительно интернационального кругозора, ни революционного закала. Только сочетание всех этих условий и объясняет, почему „паника" вовлекла в водоворот беснующегося национализма социалистический Интернационал — почти без сопротивления и отпора.

1 сентября.

Некий Рейнгольд Гюнтер, доктор философии, швейцарский полковник, книга которого „Heerwesen und Kriegsführung" случайно попала мне в руки, рассматривает, между прочим, моральные условия войны, т.-е. влияние общественного мнения и пр. Особенно пагубным считает Гюнтер писания оппозиционных журналистов, сеющих недоверие к военным и гражданским властям. Посему почтенный доктор философии рекомендует всех такого рода скрибентов поселять на время войны в какой-либо надежной крепости, где они могли бы предаваться внутреннему созерцанию (der inneren Beschaulichkeit). Швейцарский полковник прусского образа мыслей (вообще швейцарские полковники, как и нынешний швейцарский генерал Вилли, в большинстве своем фабрятся под пруссаков) мог, в сущности, предложить, чтоб всех оппозиционных скрибентов выселяли в нейтральную Швейцарию. Здесь тоже приходится предаваться внутреннему созерцанию, и совершенно невыносимая форма дневника является сейчас единственным способом закрепления плодов этого внутреннего созерцания. И все острее встает вопрос: что же дальше?... Можно во всяком случае не сомневаться, что простой, но действительный рецепт „доктора" Гюнтера найдет в нашу эпоху „освободительной" войны широкое применение. Война плохо мирится с вольностями скрибентов.

* * *

Вот уже несколько дней, как не существует Бельгии. В Брюсселе я был 20 июля, на „объединительной“ конференции российской социалдемократии, ровным счетом за две недели до начала общеевропейской войны. Бельгийское политическое небо казалось тогда совершенно безоблачным. Я жил в маленьком отеле под историческим именем Ватерлоо. Но ничто, кроме имени, не напоминало не только в отеле, но и во всем Брюсселе о мировой истории. Было жарко и тихо. На конференции (16—19 июля), заседавшей в Maison du Peuple, председательствовал Вандервельде, иногда Гюисманс; и Вандервельде был тогда бесконечно далек от мысли, что ему придется через несколько дней стать—не просто министром (эта мысль отнюдь не была ему чужда), а министром национальной обороны. На одном заседании конференции Вандервельде, в качестве примера тактических разногласий, сказал, указывая поочередно рукою на двух своих сочленов по президиуму: „Возьмите нас,—по вопросу об участии в буржуазном правительстве, мы держимся различных мнений: Анзеле—за, Гюисманс—против, я же говорю, что это зависит от обстоятельств“. И вот наступили „обстоятельства“, когда Вандервельде высказался „за“—и сейчас, вместе с бельгийским двором, отсиживается в Антверпене от мировых событий; все тактические оттенки утонули в патриотизме.

В июле Бельгия праздновала какой-то юбилей,—кажется, столетие независимости. Я наблюдал, стоя у отеля Ватерлоо, клерикальную процессию. Казалось, ей не будет конца. Попы с длинными носами, толстыми подбородками и грубо чувственными лицами, в нелепых белых накидках с кружевами, напоминающих женские кофты. Потные музыканты в цилиндрах. Группы молящихся мужчин с четками,—лица тупые и жалкие. Хоругвеносцы, снова музыканты, хор мальчиков в красном, попы, статуи Христа, хор девочек. Статуя Богородицы в бархате и парче, большая безвкусная кукла, и от нее во все стороны ленты, за которые держатся запуганные девочки из какого-либо клерикального „воспитательного“ вертепа. Взрослые девушки в белом волокут перед собой на тяжелых древках хоругви. Мальчики несут большую корзину с конфетти и рассыпают по дороге цветные бумажки. Балдахин и под ним, очевидно, епископ,—кое-кто на тротуаре становится на колени. В общем, отвратительное сочетание глупости, чувственности и бесстыдства.

Как неравномерно совершается поступательное движение человечества и какой чудовищный обоз тьмы и варварства приходится тащить за собой авангарду. Глядя на эту благочестиво-балаганную процессию, кто бы сказал, что мы живем после Дарвина и Маркса?..

* * *

Сегодня четвертое по счету собрание русской социал-демократической публики в Цюрихе. Я не ходил вчера и не пойду сегодня: прения быстро исчерпали себя и, кроме повторений, ничего дать не могут. Во всяком случае, окончательно подтвердился факт, бросившийся в глаза еще в начале августа: несомненный рост национализма и патриотизма в российской социал-демократической среде. Это—патриотизм, стыдящийся, уклончивый и лживый: ведь новоявленные патриоты пока-что состоят еще как-никак в эмигрантах романовско-распутинской державы. Поэтому свой патриотизм они укрывают, с одной стороны, за сочувствием к „демократической" Франции, с другой—за возмущением низостью германской социал-демократии. Декларация фракции рейхстага дает им дешевую возможность, под предлогом фальшивого радикализма, ругать немцев вообще, а под флагом сочувствия Франции они трусливо проводят тенденцию франко-русского альянса. Это пакостное настроение наблюдается во всех фракциях, и на наших собраниях фракционные подразделения фактически стерлись; на их место ярко выдвинулся водораздел между националистами и интернационалистами.

III. Война и Интернационал.

Основы вопроса.

В основе настоящей войны лежит восстание производительных сил, взращенных капитализмом, против национально-государственной формы их эксплуатации. Весь земной шар, его суша и вода, поверхность и недра земные являются ныне ареной *всемирного* хозяйства, зависимость частей которого друг от друга стала нерасторжимой.

Эту работу совершил капитализм. Но он же заставляет капиталистические государства бороться за подчинение этого мирового хозяйства интересам барыша каждой национальной буржуазии. Политика империализма есть прежде всего свидетельство того, что старое национальное государство, создававшееся в Европе в революциях и войнах 1789—1815—1848—1859—1864—1866—1870 годов, пережило себя и является невыносимой помехой для дальнейшего развития производительных сил. Война 1914 г. есть, прежде всего, крушение *национального государства*, как самостоятельной хозяйственной арены. Национальность может оставаться дальше культурным, идеологическим, психологическим фактом — экономическая база вырвана у нее из-под ног. Слепотой или лицемерием являются все речи о том, будто нынешняя кровавая свалка есть дело „национальной защиты". Наоборот: объективный смысл войны состоит в разрушении нынешних национально-хозяйственных гнезд во имя мирового хозяйства. Но не на началах разумно-организованного производственного сотрудничества стремится разрешить эту задачу империализм, а на началах эксплуатации мирового хозяйства капиталистическим классом победоносной страны, которая через эту войну должна из великой державы стать мировой.

Крах национальнсго государства возвещает война. Но вместе с тем и крах *капиталистической формы* хозяйства. Изнутри национальных государств капитализм революционизировал все мировое хозяйство, поделив весь земной шар между олигархией великих держав, вокруг которых располагаются их спутниками

мелкие государства, живущие соперничеством больших. Дальнейшее развитие мирового хозяйства на капиталистических основаниях означает непрерывную борьбу мировых держав за новые и новые переделы одной и той же земной поверхности, как объекта капиталистической эксплуатации. Экономическое соперничество под знаком милитаризма сменяется мировым разбоем и разгромом, дезорганизующим самые основы человеческого хозяйства. Мировое производство восстает не только против национально-государственных пут, но и против капиталистической организации хозяйства, которая превратилась в варварскую дезорганизацию его.

Война 1914 г. есть величайшая в истории судорога экономической системы, гибнущей от собственных противоречий.

Все те исторические силы, которые призваны были руководить буржуазным обществом, говорить от его имени и эксплуатировать его—монархии, правящие партии, дипломатия, постоянная армия, церковь—они все возвещают войной 1914 г. свое историческое банкротство. Они охраняли капитализм, как систему человеческой культуры,—и рожденная этой системой катастрофа есть прежде всего *их* катастрофа. Первая волна событий подняла национальные правительства и армии на небывалую высоту, на момент снова сплотив вокруг них нации; но тем страшнее будет падение правящих, когда пред оглушенными пушечным грохотом народами раскроется во всей своей правде и во всем своем ужасе действительный смысл совершающихся событий.

Революционный ответ масс будет тем могущественнее, чем чудовищнее встряска, какой подвергает их теперь история.

Капитализм создал материальные предпосылки нового, социалистического хозяйства. Империализм завел капиталистические народы в исторический тупик. Война 1914 г. указывает путь из тупика, насильственно выводя пролетариат на путь социалистического переворота.

В экономически отсталых странах Европы война ставит на очередь вопросы более раннего исторического происхождения: вопросы демократии и национального объединения. Так в значительной мере обстоит дело для народов России, Австро-Венгрии и Балканского полуострова. Но эти исторически-запоздалые вопросы, оставленные нынешней эпохе в наследство ее предшественницей, не меняют основного характера событий. Не нацио-

нальные стремления сербов, поляков, румын или финнов поставили на ноги 25 миллионов солдат, а империалистические интересы буржуазии великих держав. Опрокинув столь тщательно охранявшийся в течение четырех с половиной десятилетий европейский status quo, империализм поднял снова все старые вопросы, разрешить которые оказалась бессильна буржуазная революция. Но в нынешнюю эпоху эти вопросы лишены самостоятельного характера. Создание нормальных условий национальной жизни и экономического развития на Балканском полуострове немыслимо при сохранении царизма и Австро-Венгрии. Царизм в настоящее время является необходимым военным резервом для финансового империализма Франции и консервативного колониального могущества Англии. Австро-Венгрия служит главной опорой для наступательного империализма Германии. Начавшись с домашней стычки сербских национальных террористов с габсбургской политической полицией, нынешняя война быстро развернула свое основное содержание: борьбу не на жизнь, а на смерть между Германией и Англией. В то время как простаки и лицемеры толкуют о защите национальной свободы и независимости, англо-немецкая война на самом деле ведется во имя свободы империалистической эксплуатации народов Индии и Египта, с одной стороны, во имя нового империалистического размежевания народов земли, с другой стороны. Пробужденная для капиталистического развития на национальной базе, Германия начала с разрушения в 1870 — 71 г. континентальной гегемонии Франции. Теперь, когда расцвет немецкой промышленности на национальной основе сделал Германию первой капиталистической силой в мире, ее дальнейшее развитие упирается в мировую гегемонию Англии.

Полное и неограниченное господство на европейском континенте является для Германии необходимым условием низвержения ее мирового врага. Империалистическая Германия записывает поэтому в свою программу прежде всего создание среднеевропейского союза государств. Нынешняя Германия, Австро-Венгрия, Балканский полуостров с Турцией, Голландия, Скандинавские страны, Швейцария, Италия, а при возможности также и обескровленная Франция с Испанией и Португалией должны составить одно хозяйственное и военное целое—великую Германию под гегемонией нынешнего немецкого государства. Эта программа, тщательно разрабатываемая экономистами, юристами и

дипломатами немецкого империализма и осуществляемая его стратегами, есть самое бесспорное и вместе с тем потрясающее выражение того факта, что капитализму стало невыносимо в тисках национального государства. На смену национальной великой державе должна притти империалистическая мировая держава.

Для европейского пролетариата в этих исторических условиях дело может итти не о защите пережившего себя национального „отечества", ставшего главным тормозом экономического прогресса, а о создании нового более могущественного и устойчивого отечества — республиканских *Соединенных Штатов Европы*, как перехода к соединенным штатам мира. Империалистической безвыходности капитализма пролетариат может противопоставить только социалистическую организацию мирового хозяйства, как практическую программу дня. Войне, как методу разрешения неразрешимых противоречий капитализма на вершине его развития, пролетариат вынужден противопоставить свой метод—социальный переворот.

Балканский вопрос, как и вопрос низвержения царизма, эти завещанные нам *вчерашней* борьбой задачи, могут быть разрешены только в связи с революционным разрешением задач *сегодняшней* и *завтрашней* борьбы.

Для русской социал-демократии первой и неотложной задачей является борьба с царизмом, который в Австрии и на Балканах ищет в первую голову рынков для сбыта своих государственных методов грабежа, варварства и насилия. Русская буржуазия, вплоть до „радикальной" интеллигенции, окончательно развращенная огромным подъемом русской промышленности за последнее пятилетие, заключила кровавый союз с династией, которая своими новыми земельными хищениями должна обеспечить нетерпеливому русскому капитализму его долю мировой добычи. Громя и опустошая Галицию, отнимая у нее даже осколки габсбургских вольностей, расчленяя несчастную Персию и стремясь из босфорского угла накинуть петлю на народы балканского полуострова, царизм поручает презираемому им русскому либерализму покрывать эту разбойничью работу отвратительной декламацией о защите Бельгии и Франции. Война 1914 г. означает полную ликвидацию русского либерализма, делает пролетариат России единственным носителем освободительной борьбы и окон-

чательно превращает русскую революцию в составную часть социальной революции европейского пролетариата.

В нашей борьбе с царизмом, в которой мы не знаем „национального“ перемирия, мы не искали и не ищем помощи со стороны габсбургского или гогенцоллернского милитаризма. Мы сохранили достаточную ясность революционного зрения, чтобы видеть, что немецкому империализму в корне враждебна мысль об уничтожении за своей восточной границей своего лучшего союзника, связанного с ним единством исторических задач. Но если бы дело обстояло даже не так; если бы можно было допустить, что, повинуясь логике военных операций и наперекор логике собственных политических интересов, немецкий милитаризм нанесет царизму сокрушительный удар, и в этом совершенно невероятном случае мы отказались бы видеть в Гогенцоллерне не только субъективного, но и объективного союзника. Судьбы русской революции слишком неразрывно связаны с судьбами европейского социализма, а мы, русские социал-демократы, достаточно твердо стоим на интернациональной позиции, чтобы раз навсегда отказаться оплачивать сомнительный шаг к освобождению России несомненным разгромом свободы Бельгии и Франции и—что еще важнее—внесением империалистической отравы в немецкий и австрийский пролетариат.

Мы многим обязаны немецкой социал-демократии. Мы все прошли ее школу, учились на ее успехах, как и на ее ошибках. Она была для нас не одной из партий Интернационала, но „партией“ — tout court. Мы всегда сохраняли и укрепляли братскую связь с австрийской социал-демократией. В свою очередь мы гордились сознанием того, что в завоевании всеобщего избирательного права в Австрии, в пробуждении революционных тенденций у немецкого пролетариата была и наша скромная доля, оплаченная не одной каплей нашей крови. Без колебаний принимали мы моральную и материальную поддержку от старшего брата, который боролся за общие цели по ту сторону нашей западной границы. Но именно из уважения к этому прошлому, а еще более к тому будущему, которое должно еще неразрывнее связать рабочий класс России с пролетариатом Германии и Австрии, мы с возмущением отвергаем ту „освободительную“ помощь, которую немецкий империализм — увы! с благословения немецкого социализма — везет нам в кессонах со штемпелем Круппа. И мы на-

деемся, что негодующий протест русского социализма прозвучит достаточно громко, чтоб быть услышанным в Берлине и Вене.

Крах Второго Интернационала есть трагический *факт*, и было бы слепотой или трусостью закрывать на него глаза. Поведение французского и большей части английского социализма составляет такую же часть этого краха, как и образ действий немецкой и австрийской социал-демократии. Чисто дипломатические попытки воссоздания Интернационала — путем взаимной „амнистии" — не подвинут нас ни на шаг вперед. Дело идет не о случайном или временном расхождении, не о разногласиях по „национальному вопросу", а о капитуляции старейших политических партий в том историческом испытании, которому их подвергла европейская война.

На первый взгляд может показаться, что социально-революционные перспективы грядущей эпохи, о которых мы говорили выше, совершенно призрачны в виду столь катастрофически вскрывшейся несостоятельности старейших социалистических партий. Но такой скептический вывод был бы совершенно ложным. Он игнорировал бы „добрую" волю исторической диалектики, как мы слишком часто игнорировали ее „злую" волю, столь безжалостно проявившуюся на судьбе Интернационала.

Война 1914 года возвещает крушение национальных государств. Социалистические партии ныне законченной эпохи были *национальными* партиями. Всеми разветвлениями своей организации, своей деятельности и своей психологии они срослись с национальными государствами и, вопреки торжественным обязательствам своих конгрессов, они встали на защиту консервативных государственных образований, когда взращенный на национальной почве империализм стал мечом разрушать пережившие себя национальные шлагбаумы. В своем историческом падении национальные государства увлекают национальные социалистические партии.

Гибнет не социализм, а только его временное историческое выражение. Революционная идея линяет, сбрасывая с себя свою окостеневшую кожу. Эта кожа состоит из живых людей, из целого социалистического поколения, которое в самоотверженной агитационной и организационной работе нескольких десятилетий политической реакции окостенело в воззрениях и навыках национального поссибилизма.

Как национальные государства стали тормозом для развития производительных сил, так старые национальные социалистические партии стали главным препятствием для революционного движения рабочего класса. Они должны были вскрыть всю свою отсталость, скомпрометировать всю ограниченность своих методов, обрушить на пролетариат позор и ужас междоусобия, для того, чтоб он через страшные разочарования мог освободиться от предрассудков и рабских навыков подготовительной эпохи и стать, наконец, тем, к чему теперь призывает его голос истории: революционным классом, борющимся за власть.

Второй Интернационал существовал не напрасно. Он совершил огромную культурную работу, равной которой еще не было в мире: воспитание и сплочение угнетенного класса. Пролетариату приходится теперь начинать не сначала. На новую дорогу он выйдет не с пустыми руками. Богатые идейные арсеналы завещает ему прошлая эпоха. Новая эпоха заставит его к старому оружию критики присоединить новую критику—оружием.

Эта брошюра писалась крайне спешно, в условиях мало благоприятных для планомерной работы. Значительная часть ее посвящена старому Интернационалу, который пал. Но вся брошюра, от первой до последней страницы, написана с мыслью о новом Интернационале, который должен же родиться из нынешних мировых потрясений, об Интернационале последних боев и окончательной победы.

Цюрих, 31 октября 1914 г.

1. Балканский вопрос.

31-го августа этого года одна социал-демократическая газета писала: „Война, ведущаяся сейчас против русского царизма и его вассалов, стоит под знаком великой исторической идеи. Торжественное настроение великой исторической мысли веет над полями сражений в Польше и восточной России. Грохот орудий, треск пулеметов и кавалерийские атаки возвещают осуществление демократической программы освобождения народов. Если бы царизму не удалось в союзе с французским капиталом и с бессовестной политикой лавочников подавить революцию, то настоящая кровопролитная война никогда бы не разразилась: освобожденный русский народ не дал бы своего согласия на эту бес-

совестную и ненужную войну. Великие идеи свободы и права говорят сейчас красноречивым языком оружия, и всякий, чье сердце способно одушевляться идеалами справедливости и человечности, должен желать, чтобы царская власть была уничтожена и угнетенным народам России было возвращено право на самоопределение".

Имя газеты, в которой были напечатаны эти строки, — „Непсава"; это центральный орган социал-демократии Венгрии, т.-е. той страны, вся внутренняя жизнь которой построена на насильственном подавлении национальных меньшинств, на порабощении рабочих масс, на фискальном паразитизме и хлебном ростовщичестве правящих латифундиаров; страны, в которой хозяином положения является граф Тисса, черный, как уголь, аграрий с замашками политического бандита; словом, страны, наиболее близкой к царской России. Как утешительно, что судьбе угодно было поручить именно „Непсаве", социал-демократическому органу Венгрии, дать наиболее восторженное выражение освободительной миссии германской и австро-венгерской армий! Кто же другой, как не граф Тисса, призван совершить „осуществление демократической программы освобождения народов"? Кто же еще может—в противовес „бессовестной политике лавочников" коварного Альбиона — утвердить в Европе вечные начала права и справедливости, кроме правящей клики клейменых будапештских мошенников? Смех вносит примирение,—и можно сказать, что трагическое противоречие политики Интернационала нашло в статьях бедной „Непсавы" не только свое увенчание, но и свое юмористическое преодоление.

Нынешние события начались с австро-венгерского ультиматума Сербии. У интернациональной социал-демократии нет ни малейших оснований брать под свою защиту происки сербских, как и иных двух-вершковых балканских династов, которые свои авантюры прикрывают национальными целями. Но еще меньше у нас оснований расточать наше моральное негодование по поводу того, что молодой фанатизированный серб ответил кровавым покушением на преступную трусливо-злобную национальную политику венских и будапештских властителей[1]). Одно не составляет

[1]) Поучительно, что те самые австро-немецкие оппортунисты, которые всегда симпатизировали русским террористам больше, чем нам, русским социал-демократам, принципиальным противникам системы индивидуального террора,

для нас во всяком случае никакого сомнения: в исторической тяжбе придунайской монархии с сербами действительное историческое право, то-есть право развития, целиком на стороне сербов, как оно было на стороне Италии в 1859 году. Под дуэлью королевско-императорских полицейских негодяев с белградскими террористами есть более глубокая основа, чем аппетиты Карагеоргиевича или уголовные деяния царской дипломатии: на одной стороне империалистические притязания нежизнеспособного государства национальностей, на другой—стремление национально-расщепленного сербства к жизнеспособному государственному объединению. Неужели же мы так долго учились в школе социализма только для того, чтоб забыть даже первые три буквы демократического алфавита!

Впрочем окончательное забвение наступило только после 4 августа. До этого рокового дня германские марксисты отдавали себе отчет в том, что в сущности происходит на юго-востоке Европы:

„*Буржуазная революция южного славянства в полном ходу*, и выстрелы в Сараеве, при всей их эксцентричности и бессмысленности, так же составляют главу этой революции, как битвы, в которых болгары, сербы и черногорцы разбили тяготевшее над македонским крестьянином ярмо феодальной турецкой эксплуатации. Можно ли удивляться, что австро-венгерские южные славяне свои взоры и помыслы обращают к своим соплеменникам в сербском королевстве, которые достигли высшего, о чем может мечтать народ при настоящем общественном порядке: национальной самостоятельности,—между тем как Вена и Будапешт ко всякому сербу и хорвату подходят с ударами и пинками, военными судами и виселицами... Семь с половиной миллионов южных славян, окрыленных небывалой отвагой после балканских

корчатся теперь от морального негодования и выворачивают наружу все свои нравственные потроха по поводу „коварного злодеяния в Сараеве". В чаду шовинизма эти люди неспособны даже подумать, что бедный сербский террорист, по имени Принцип, представляет тот же национальный принцип, что и немецкий террорист Занд. Не требуют ли они от нас, чтоб мы задним числом перенесли свои симпатии с Занда на Коцебу? Не посоветуют ли эти евнухи швейцарцам разрушить памятники „коварного" убийцы Вильгельма Телля и заменить их памятниками одному из духовных предшественников убитого эрц-герцога, австрийскому наместнику Гесслеру?

побед, требуют своих политических прав, и если австрийский императорский трон не перестанет сопротивляться их натиску, то он рухнет, и вместе с ним рухнет империя, с которой мы связали нашу судьбу. Ибо смысл исторического развития требует, чтобы такие национальные революции оканчивались победой". Так писал „Форвертс" 3 июля 1914 г., сейчас после покушения в Сараеве.

Если международная социал-демократия вместе со своей сербской частью неуклонно противодействовала национальным происках сербов, то конечно не ради исторического права Австро-Венгрии на подавление и раздробление народов и уж конечно не ради освободительной миссии Габсбургов, о которой до августа 1914 года никто, кроме черно-желтых наемных писак, не посмел бы и заикнуться. Нет, нами руководили совсем иные мотивы. Нисколько не оспаривая исторической закономерности сербских стремлений к национальному единству, пролетариат, прежде всего, не мог доверить решение этой задачи тем, кто ныне руководит судьбами сербского королевства. Затем—и это соображение было для нас решающим—международная социал-демократия не могла приносить мир Европы в жертву национальному делу сербов,—а их объединение, вне европейской революции, могло быть достигнуто не иначе, как через европейскую войну. Но с того момента, как сама Австро-Венгрия перенесла вопрос о своей судьбе и судьбе сербства на поле военных действий, для нас не может быть никакого сомнения в том, что социальный и национальный прогресс на юго-востоке Европы несравненно больше пострадал бы от победы Габсбургов, чем от победы сербов. И если у нас попрежнему нет никакого основания отождествлять нашу миссию с задачами сербской армии—а именно эту мысль выразили сербские социалисты Ляпчевич и Кацлерович [1]) в

[1]) Чтобы вполне оценить этот факт, нужно восстановить в своей памяти всю его политическую обстановку. Группа сербских заговорщиков убивает Габсбурга, носителя идеи австро-венгерского клерикализма, милитаризма и империализма. Пользуясь этим счастливым для нее фактом, венская военная партия предъявляет Сербии ультиматум, один из самых бесстыдных в дипломатической истории. Сербское правительство в своем ответе идет на чрезвычайные уступки и предлагает спорные вопросы передать на рассмотрение третейского суда в Гааге. Австрия объявляет Сербии войну. Если понятие „оборонительной" войны вообще имеет смысл, то очевидно именно в применении к Сербии в настоящем случае. Тем не менее наши друзья Ляпчевич и Кацлерович, в твердом сознании своего социалистического долга, наотрез отказали своему правительству в доверии.

своем мужественном голосовании против военных кредитов, то еще меньше у нас основания поддерживать чисто-династические права Габсбургов и империалистические интересы феодально-капиталистических клик против национальной борьбы сербства. И уж во всяком случае австро-венгерская социал-демократия, которая теперь благословляет габсбургские мечи на дело „освобождения" Польши, Украины, Финляндии и самого русского народа, должна была бы первым делом свести свои крайне запутанные счеты с сербским вопросом.

Но проблема не ограничивается судьбою 10-миллионного сербства. Европейская свалка народов снова поднимает во всем объеме *балканский вопрос*. Бухарестский мир 1913 года не дал разрешения ни национальных ни международных проблем Ближнего Востока,—он лишь временно закрепил ту новую неразбериху, какая сложилась к моменту полного истощения участников обеих балканских войн. Сейчас со всей остротой встает вопрос о дальнейшем поведении Румынии, полумиллионная армия которой может явиться важным фактором развертывающихся событий. Румыния, вопреки романским симпатиям населения, по крайней мере, городского, входила в орбиту австро-германской политики. Этот факт определялся не столько династическими причинами — на бухарестском троне сидит Гогенцоллерн-Зигмаринген—сколько непосредственной опасностью со стороны России. В 1879 году русский царь, в благодарность за поддержку Румынии в русско-турецкой „освободительной" войне, отрезал кусок румынской территории (часть Бессарабии). Этот красноречивый факт дал достаточную опору династическим симпатиям бухарестского Гогенцоллерна. Но своей политикой национального гнета в Трансильвании, насчитывающей три миллиона румын (против трех четвертей миллиона в русской Бессарабии), правящая мадьяро-

Автор этих строк был в Сербии в начале балканской войны. В скупщине в атмосфере неописуемого национального возбуждения голосовались военные кредиты. Голосование было именное. На 200 „да" раздалось, среди гробового молчания, одно „нет",—социалиста Ляпчевича. Все почувствовали нравственную силу этого протеста, который остался в нашей памяти, как одно из самых ярких воспоминаний.

Примечание к настоящему изданию. Ляпчевич не сумел сделать необходимые дальнейшие выводы из революционной позиции и потому оказался ходом развития отброшен назад. В настоящее время Ляпчевич со своей группой принадлежит к Двух-споловинному Интернационалу.

габсбургская клика восстановляла против себя румынское население точно так же, как и своими торговыми договорами с румынским королевством, продиктованными волей австро-венгерских латифундиаров. И если Румыния, вопреки мужественной и решительной агитации социалистической партии, руководимой нашим другом Раковским, соединит свои войска с войсками царизма, то ответственность за это целиком ляжет на правящую Австрию: она и здесь пожнет то, что посеяла. Но дело не ограничивается сейчас вопросом об исторической ответственности. Завтра, через месяц или через полгода, война поставит вопрос о судьбе балканских народов и Австро-Венгрии в целом,— и пролетариат должен иметь свой ответ на этот вопрос.

Европейская демократия в течение всего XIX столетия относилась с недоверием к освободительной борьбе балканских народностей, страшась усиления России за счет Турции. Об этих опасениях Маркс писал в 1853 году, накануне Крымской кампании: „Можно утверждать, что чем больше будет укрепляться Сербия и сербская национальность, тем больше непосредственное влияние России на турецких славян будет оттесняться на задний план. Ибо для своего самоутверждения, в качестве особого государства, Сербии пришлось заимствовать свои политические учреждения и свои школы... из Западной Европы". Это предвидение блестяще подтвердилось на судьбе Болгарии, которую Россия создавала в качестве своего аванпоста на Балканах. Как только болгарство встало на ноги, оно немедленно выдвинуло сильную антирусскую партию, под руководством бывшего русского воспитанника Стамбулова, и эта партия наложила решающую печать на всю внешнюю политику молодой страны. Весь механизм политических партий Болгарии приноровлен к тому, чтобы лавировать между двумя европейскими комбинациями, не попадая окончательно в фарватер ни к той ни к другой. Румыния вошла в австро-немецкую орбиту, Сербия после 1903 года в русскую, потому что первая стоит непосредственно под гнетом русской опасности, вторая — под тяжестью австрийской. Чем независимее страны юго-востока Европы от Австро-Венгрии, тем решительнее они могут отстаивать свою независимость от царизма.

Созданное на Берлинском конгрессе 1879 года балканское равновесие было полно противоречий. Рассеченные на части искусственными этнографическими границами, поставленные под кон-

троль импортированных из германского питомника династий и опутанные по рукам и по ногам великодержавными интригами, балканские народы не могли перестать стремиться к дальнейшему национальному освобождению и объединению. Линия национальной политики самостоятельной Болгарии естественно направлялась на населенную болгарами Македонию, оставленную Берлинским конгрессом под властью Турции. Наоборот, Сербии, за вычетом Новобазарского санджака, почти нечего было искать в Турции. Ее естественные национальные интересы целиком лежали по ту сторону австро-венгерской границы: в Боснии и Герцеговине, в Кроации и Славонии, в Далмации. Румынии вовсе нечего было искать на юге, где Болгария и Сербия отделяли ее от европейской Турции. Национальная экспансия Румынии направлялась на северо-запад и восток: на венгерскую Трансильванию и русскую Бессарабию. Наконец, национальная экспансия Греции естественно толкала ее, как и Болгарию, против Турции. Болгария и Греция имели таким образом на своем национальном пути несравненно более слабое препятствие, чем Сербия и Румыния.

Австро-немецкая политика, направленная на искусственное поддержание европейской Турции, разбилась не о дипломатические происки России, в которых конечно не было недостатка, а о неотвратимый ход вещей, выдвинувший в исторический порядок дня национально-государственное самоопределение балканских народностей, вступивших на путь капиталистического развития. Балканская война ликвидировала европейскую Турцию. Этим она создавала предпосылки для разрешения болгарского и греческого вопросов. Но Сербия и Румыния, национальное завершение которых может осуществиться только за счет Австро-Венгрии, оказались в своих стремлениях к экспансии отброшены на юг и получили „компенсацию“ за счет болгарского национального элемента: Сербия — в Македонии, Румыния — в Добрудже. Таков смысл второй балканской войны и закончившего ее бухарестского мира.

Самый факт существования Австро-Венгрии, этой среднеевропейской Турции, не дает места естественному самоопределению народов юго-востока, толкает их на путь постоянной взаимной борьбы, заставляет их искать друг против друга внешней опоры и превращает их таким образом во вспомогательные орудия великодержавных комбинаций. Только в условиях этого хаоса

царская дипломатия имеет возможность ткать сеть своей балканской политики, последнее слово которой: *Константинополь.* Только федерация балканских государств — экономическая и военная — представила бы несокрушимый оплот против притязаний царизма. Теперь, после ликвидации европейской Турции, на пути к федерации юго-восточных народов Европы стоит Австро-Венгрия. Румыния, Болгария и Сербия, нашедшие свои естественные национальные границы и связанные на основе экономической общности оборонительным союзом с Грецией и Турцией, умиротворили бы наконец балканский полуостров, этот адский котел, который периодически грозил Европе взрывами, пока не вовлек ее в нынешнюю катастрофу.

Европейская социал-демократия вынуждена была до поры до времени мириться с балканской стряпней капиталистической дипломатии, которая на своих конференциях и приватных соглашениях затыкала одни дыры, открывая другие, еще более зияющие. Поскольку эта стряпня оттягивала окончательную развязку, социалистический Интернационал мог надеяться на то, что ликвидация габсбургского наследства будет делом не европейской войны, а европейской революции. Но теперь, когда война выбила всю Европу из состояния равновесия, и великодержавные хищники стремятся перекроить заново карту Европы—не на основе национально-демократических принципов, а на основе соотношения военных сил,—социал-демократия не может не отдать себе ясного отчета в том, что одним из важнейших препятствий к свободе, миру и прогрессу является на-ряду с царизмом и германским милитаризмом—габсбургская монархия, как государственная организация.

Преступный авантюризм галицийской социалистической группы Дашинского состоит не только в том, что она дело Польши ставит выше дела социализма, но и в том, что судьбу Польши она связывает с судьбой австро-венгерской армии и габсбургской монархии. Европейский социалистический пролетариат не может принять такой постановки вопроса. Для него вопрос об объединенной и независимой Польше должен стоять в той же плоскости, что и вопрос об объединенной независимой Сербии. Мы не можем и не хотим разрешать польский вопрос теми методами, которые ведут к увековечению юго-восточного и общеевропейского хаоса. Независимость Польши означает для нас

независимость ее на оба фронта — романовский и габсбургский. Мы хотим не только, чтобы польский народ был свободен от гнета царизма, но чтоб и судьба сербского народа не зависела от галицийской шляхты. Мы можем сейчас не предрешать, какие формы примут отношения самостоятельной Польши к Богемии, Венгрии и Балканской федерации. Но совершенно ясно, что комплекс средних и мелких государств по Дунаю и на Балканах представит гораздо более могущественную преграду посягательствам царизма на Европу, чем нынешняя хаотическая и бессильная Австро-Венгрия, доказывающая свое право на существование только беспрестанными покушениями на европейский мир.

В цитированной выше статье, относящейся к 1853 году, Маркс писал по поводу восточного вопроса:

„Мы видели, как европейские политики в своей закоренелой глупости, окостеневшей рутине и наследственной косности с испугом отворачиваются от всякой попытки ответить на вопрос, как быть с европейской Турцией. Могучим импульсом для стремления России к Константинополю служит как раз то, при помощи чего ее хотят от него удержать: пустая и совершенно неосуществимая теория сохранения status quo. В чем заключается этот status quo? Для христианских подданных Порты он означает не что иное, как увековечение их угнетения Турцией. Пока они остаются под ярмом турецкого владычества, они видят во главе православной церкви повелителя 60 миллионов православных христиан, их естественного защитника и освободителя".

То, что здесь сказано о Турции, распространяется, хотя и менее непосредственно, на Австро-Венгрию. Решение Балканского вопроса немыслимо без решения австро-венгерского вопроса; оба они охватываются одной и той же формулой: демократическая федерация придунайских и балканских народов!

„Но правительства с их старомодной дипломатией,— писал Маркс, — никогда не решат этого затруднения. Турецкая проблема, вместе со многими другими, может быть решена только европейской революцией".

Это утверждение сохраняет всю свою силу и сейчас. Но именно для того, чтобы революция дала разрешение накопившимся в течение столетий затруднениям, интернациональный пролетариат должен иметь *свою* программу разрешения австро-венгерской проблемы, и эту программу он должен с одинаковой

силой противопоставлять как завоевательным посягательствам царизма, так и трусливо-консервативным заботам об охранении австро-венгерского status quo.

2. Австро-Венгрия.

Царизм представляет собою, бесспорно, более жестокую и варварскую государственную организацию, чем дряблый австро-венгерский абсолютизм, смягченный старческой немощью. Но Россия, взятая даже как чисто-государственная организация, совершенно не тождественна с царизмом. Уничтожение царизма не означает упразднение России; наоборот, оно означает ее освобождение и укрепление. Разговоры насчет того, что Россию нужно „отбросить в Азию"—эти выкрики перенеслись с начала войны и на страницы кое-каких социал-демократических изданий—основаны на плохом знакомстве с географией и этнографией. Какова бы ни была дальнейшая судьба отдельных частей нынешней России—как Царства Польского, Финляндии, Украины или Бессарабии,—*европейская* Россия не перестанет от этого существовать, как национальная территория многомиллионного народа, который за последнюю четверть столетия сделал огромные завоевания на пути культурного развития. Совсем иное дело—Австро-Венгрия: как государственная организация, она тождественна с Габсбургской монархией, с ней стоит и падает,—подобно тому как европейская Турция была тождественна с военно-феодальной кастой османов и пала вместе с нею. Как династически-принудительный конгломерат центробежных национальных осколков, Австро-Венгрия представляет собою самое реакционное образование в центре Европы. Сохранение ее в результате нынешней европейской катастрофы не только задержит на новые десятилетия развитие придунайских и балканских народов, не только создаст залог повторения общеевропейской войны, но и политически укрепит царизм, сохранив за ним важнейший источник идейного питания.

Если германская социал-демократия мирится с разгромом Франции, видя в этом кару за ее союз с царизмом, то следует требовать от нее, чтоб она приложила тот же самый критерий к австро-германскому союзу. Если оценка нынешней войны на страницах английской и французской прессы, как войны за освобо-

ждение народов, разбивается о факт союза обеих западных „демократий“ с угнетателем народов — царизмом, то таким же, если не большим лицемерием является освободительное знамя, которое немецкая социал-демократия пытается развернуть над гогенцоллернской армией, которая борется не только *против* царизма и его союзников, но и *за* сохранение и упрочение габсбургской монархии.

Для Германии Австро-Венгрия есть необходимость, — для правящей Германии, какою мы ее знаем: для страны милитаризма, полицейщины, „крепкой“ монархии и диктатуры юнкерства. Толкнув Францию в объятия царизма захватом Эльзас-Лотарингии, систематически обостряя отношения с Англией быстрым ростом морских вооружений, правящая юнкерская каста вынуждена была искать опоры в австро-венгерской монархии, как во вспомогательном резервуаре военной силы против врагов с Запада и Востока. Миссия Габсбургов, с германской точки зрения, состояла в том, чтобы к услугам юнкерски-милитаристической немецкой политики ставить вспомогательные венгерские, польские, румынские, чешские, русинские, сербские и итальянские корпуса. Правящая Германия охотно мирилась с тем, что 10—12 миллионов австрийских немцев оставались оторванными от своей национальной метрополии, — ведь эти 12 миллионов составляли тот государственный стержень, вокруг которого Габсбурги объединяли свыше 40 миллионов душ не-немецкого населения. Демократическая федерация самостоятельных придунайских народов сделала бы их недоступными для германского милитаризма. Только военно-принудительная монархическая организация Австро-Венгрии делает ее пригодной для союза с юнкерской Германией. Необходимым условием этого союза, освященного „нибелунговой верностью“ династий, является постоянная боевая готовность Австро-Венгрии, которая может поддерживаться только путем механического подавления центробежных национальных тенденций. Для Австро-Венгрии, которая по всем своим границам окружена теми же национальностями, какие входят в ее состав, *внешняя* политика теснейшим и непосредственным образом связана с внутренней. Для того, чтобы удержать 7 миллионов сербов и югославян в рамках своей государственно-военной организации, Австро-Венгрия должна раздавить очаг политического притяжения для них — самостоятельное королевство Сербию. Австрийский

ультиматум Сербии был решающим шагом на этом пути. „Австрия сделала этот шаг по требованию необходимости",—пишет Э. Бернштейн в „Sozialistische Monatshefte" (16-ая тетрадь),—и это совершенно верно, если политические события оценивать под углом зрения *династической* необходимости. Защищать габсбургскую политику по отношению к Сербии ссылками на „низкий моральный уровень" белградских властителей значит сознательно закрывать глаза на тот факт, что Габсбурги могли мириться с Сербией только тогда, когда во главе ее стояла австрийская агентура, в лице Милана—самое низкопробное правительство, какое когда-либо знала история злосчастного Балканского полуострова. Если сведение счетов с Сербией пришло так поздно, то только потому, что забота о самосохранении недостаточно аггрессивна в старческом организме монархии. После смерти эрцгерцога, опоры и надежды австрийской военной партии и Берлина, на помощь „требованию необходимости" пришел энергичный толчок со стороны берлинского союзника, который неумолимо потребовал демонстрации твердости и силы. Австрийский ультиматум Сербии был не только предварительно одобрен, но, по всем данным, властно внушен правящей Германией. Об этом достаточно выразительно говорится в той самой Белой книге, которую профессиональные и непрофессиональные дипломаты пытались изобразить, как великую хартию гогенцоллернского миролюбия. Охарактеризовав цели великосербской пропаганды и балканские махинации царизма, Белая книга говорит: „При этих условиях Австрия должна была сказать себе, что дальнейшее бездействие перед лицом этих интриг по ту сторону границы несовместимо как с достоинством, так и с самосохранением монархии. Императорское и королевское правительство сообщило нам этот свой взгляд и просило нас высказать наше мнение. От всего сердца выразили мы наше согласие с нашим союзником и заверили его, что всякий шаг с его стороны, необходимый, по его мнению, для подавления движения в Сербии, направленного против монархии, встретит наше одобрение. При этом мы вполне сознавали, что военное выступление Австро-Венгрии против Сербии может вызвать выступление России и тем самым вовлечь нас в войну, согласно нашему союзническому долгу. Но в сознании жизненных интересов Австро-Венгрии, стоявших на карте, мы не могли ни говорить нашему союзнику о несовместимой с его достоинством уступчивости, ни

отказать ему в эту тяжелую минуту в нашей поддержке. Мы тем более не могли этого сделать, что продолжение поджигательной работы сербов угрожало и нашим интересам. Если бы сербам было позволено и впредь подтачивать, с помощью России и Франции, существование соседней монархии, то это привело бы к постепенному крушению Австрии и к подчинению всего славянства русскому скипетру, что сделало бы невозможным положение германской расы в средней Европе. Морально ослабленная Австрия, подорванная наступлением русского панславизма, не была бы для нас более союзником, на которого мы могли бы рассчитывать и полагаться; между тем такой союзник нам необходим в виду все более и более угрожающего поведения наших восточных и западных соседей. Мы предоставили поэтому Австрии полную свободу в ее выступлении против Сербии".

Отношение правящей Германии к австро-сербскому конфликту очерчено здесь с полной ясностью. Германия не только была заранее осведомлена австрийским правительством об его планах, она не только примирилась с ними, она не просто приняла на себя вытекавшие из этих планов последствия „союзнической верности",—нет, она сама считала натиск Австрии спасительным и необходимым и фактически делала балканское наступление Австро-Венгрии *условием дальнейшего сохранения союза*. Иначе „Австрия не была бы для нас более союзником, на которого мы могли бы рассчитывать".

Это положение вещей и таящиеся в нем опасности были совершенно ясны германским марксистам. 29 июня, через день после убийства австрийского эрцгерцога, „Форвертс" писал: „Неумелая политика слишком тесно связала судьбы нашего народа с Австрией. Союз с Австрией положен нашими правителями в основу всей внешней политики. Но все больше выясняется, что он служит для нас не источником укрепления, а источником слабости. *Австрийская проблема* все грознее становится *опасностью для мира Европы*". Месяц спустя, когда опасность уже угрожала превратиться в страшную действительность войны, 28-го июля, центральный орган германской социал-демократии писал не менее определенно: „Каково должно быть отношение германского пролетариата к такому бессмысленному пароксизму?" и отвечал: „*Он, конечно, ни в малейшей степени не заинтересован в сохранении австрийского хаоса народов*"...

Наоборот: демократическая Германия заинтересована не в сохранении, а в распадении Австро-Венгрии. Последнее увеличило бы Германию на 12 миллионов культурного населения, с таким первоклассным центром, как Вена. Италия достигла бы национального завершения и перестала бы играть роль того неучитываемого фактора, каким она все время оставалась в составе тройственного союза. Самостоятельная Польша, Венгрия, Богемия и балканская федерация с десятимиллионной Румынией на русской границе представляли бы могущественный заслон против царизма. А главное, демократическая Германия, могущественная страна с 75-миллионным немецким населением — без Гогенцоллерна и правящего юнкерства—могла бы без труда притти к соглашению с французским и английским народами, изолировав царизм, обессилив его и во внешней и во внутренней политике. Направленная на достижение этих целей политика была бы действительно освободительной—по отношению к народам России, как и к народам Австрии. Но такая политика требует одной существенной предпосылки: немецкий народ, вместо того, чтобы поручать Гогенцоллерну освобождать других, должен сам освободиться от Гогенцоллерна [1]).

Поведение германской и австро-венгерской социал-демократии в эту войну оказалось, однако, в вопиющем противоречии с такими целями. В настоящий момент она целиком исходит из необходимости сохранения и укрепления габсбургской монархии в интересах Германии или „немецкой нации". Именно под этим антидемократическим углом зрения, вызывающим краску жгучего стыда у всякого интернационально мыслящего социалиста, формулирует венская „Арбейтер-Цейтунг" исторический смысл настоящей войны, которая есть прежде всего поход против „германского духа".

„Правильно ли действовала дипломатия, было ли неизбежно все, что произошло, это пусть решают грядущие поколения. Но сейчас поставлен на карту немецкий народ, и тут не может быть места колебаниям и сомнениям! Немецкий народ един в своем железном, непреклонном решении не дать надеть себе ярмо на

[1]) В тексте имеется в виду такая революция, которая не только прогонит Гогенцоллерна, но и разрушит социальные основы гогенцоллернского режима. Такой революции в Германии, разумеется, еще не было.

IV. 1922. Л. Т.

шею, и ни смерть, ни дьявол не сумеют..." и т. д. и т. д. („Винер Арбейтер-Цейтунг", от 5 августа.) Щадя политический и литературный вкус читателя, мы не продолжаем цитаты.

Здесь ничего не говорится об освободительной миссии по отношению к другим народам,—задачей войны поставлено охранение и обеспечение „немецкого человечества". Защита *немецкой* культуры, *немецкой* земли и *немецкого* человечества объявляется здесь задачей не только немецкой, но и австро-венгерской армии. Сербы должны сражаться против сербов, поляки против поляков, украинцы против украинцев — во имя „немецкого человечества". 40 миллионов не-немецкого населения Австро-Венгрии рассматриваются попросту, как исторический навоз для удобрения полей немецкой культуры. Что это не точка зрения интернационального социализма, это доказывать не приходится. Но тут отсутствует даже элементарная национально-демократическая опрятность. Австро-венгерский генеральный штаб в своем сообщении от 18 сентября разъяснил человечеству, что „все народы нашей досточтимой монархии должны, как гласит наша солдатская присяга, единодушно итти, соперничая в храбрости, против каждого врага, кто бы он ни был..." Венская „Арбейтер-Цейтунг" целиком усвоила себе эту габсбургско-гогенцоллернскую точку зрения на Австро-Венгрию, как на национально-безличный военный резервуар,—так милитаристическая Франция смотрит на сингалезцев и марокканцев, Англия—на индусов! И если принять во внимание, что этот взгляд не является чем-то новым для немецкой социал-демократии Австрии, нам яснее станет главная причина того, почему австрийская социал-демократия так печально разбилась на национальные группы, сведя на-нет свое политическое значение.

В разложении австрийской социал-демократии на враждебные национальные группы нашла одно из своих выражений объективная несостоятельность Австрии, как государственной организации. Вместе с тем, поведение австро-немецкой социал-демократии свидетельствует, что она сама стала печальной жертвой этой несостоятельности, идейно капитулировав перед нею. Оказавшись бессильной связать разноплеменный пролетариат Австрии принципами интернационализма и окончательно отказавшись от этой задачи, австро-немецкая социал-демократия не ликвидирует той государственной „идеи", которую Реннер, социалистический адвокат придунайской монархии, пытался утвердить, как не-

зыблемую „идею“ Австро-Венгрии, но подчиняет эту Австро-Венгрию и в том числе свою собственную политику — „идее“ прусско-юнкерского национализма. Полное принципиальное падение говорит нам неслыханным языком со страниц „Винер Арбейтер-Цейтунг“ за время нынешней войны. Если, однако, внимательнее вслушаться в музыку истерического национализма, то нельзя не услышать в ней более серьезного голоса,— голоса истории, которая говорит нам, что путь политического прогресса для средней и юго-восточной Европы идет чрез разрушение австро-венгерской монархии[1]).

3. Борьба против царизма.

Но—царизм! Не означает ли победа Германии и Австрии поражение царизма и не уравновешивает ли этот результат с избытком все указанные нами выше последствия? Этот вопрос имеет решающее значение во всей аргументации немецкой и австрийской социал-демократии. Подавление маленькой нейтральной страны, разгром Франции — все оправдывается необходимостью борьбы с царизмом. Голосование за военные кредиты Гаазе мотивировал необходимостью „отразить опасность русского деспотизма“; Бернштейн поднял клич „назад к Марксу и Энгельсу!“—во имя сведения счетов с Россией. Г. Вендель, закончивший свою парламентскую речь возгласом „да здравствует Франция!“—марширует добровольцем против Франции—во имя борьбы с царизмом. Недовольный исходом своей итальянской миссии, Зюдекум винит итальянцев в непонимании „сущности“ царизма. И когда венские и будапештские социал-демократы становятся под знамя Габсбурга, объявляющего священную войну сербам за их стремление к национальному единству — они приносят свою социалистическую честь в жертву необходимости борьбы с царизмом.

Но не только социал-демократы. Вся буржуазная немецкая печать не хочет сейчас знать никакой другой заботы, кроме уни-

[1]) *Примечание к настоящему изданию.* Незачем и говорить, что упразднение Австро-Венгрии оружием Антанты нисколько не приблизило нас к разрешению вопроса о хозяйственном и культурном сожительстве и сотрудничестве народов Средней и Юго-восточной Европы. Узлы затянуты здесь безнадежнее, чем когда бы то ни было. Только меч пролетарской революции может разрубить их.

чтожения царского самодержавия, которое угнетает народы России и висит угрозой над свободой Европы. Имперский канцлер обличает Францию и Англию, как вассалов русского деспотизма. И даже немецкий генерал-майор фон-Морген, несомненно испытанный друг свободы и независимости, призывает в своей прокламации поляков восстать против царского деспотизма. Было бы, однако, слишком постыдно для нас, прошедших школу исторического материализма, сквозь мусор лжи, фраз, бахвальства, подлости и глупости не различать действительных интересов и отношений. Никому всерьез не придет в голову, будто царизм стал на самом деле ненавистен немецкой реакции, и будто против него она направляет свои удары. Наоборот. После войны, как и до войны, царизм останется для правящей Германии наиболее родственной и близкой государственной формой. Царизм необходим Гогенцоллернской Германии по двум причинам: во-первых, он экономически, культурно и милитаристически ослабляет Россию, задерживает ее развитие, как возможного империалистического соперника; во-вторых, существование царизма политически укрепляет гогенцоллернскую монархию и юнкерскую олигархию, ибо не будь царизма, германский абсолютизм стоял бы перед Европой, как единственный оплот феодального варварства. Немецкий абсолютизм никогда и не скрывал своей кровной заинтересованности в существовании царизма, который ту же социальную сущность облекает лишь в более азиатские формы. Интересы, традиции и симпатии одинаково влекут немецкую реакцию на сторону царизма. „Печаль России—печаль Германии". И, наконец, сверх всего прочего, поскольку сохраняется царизм, Гогенцоллерн имеет возможность парадировать если не пред Западной Европой, то, по крайней мере, пред собственным народом, как оплот „культуры" против „варварства". Царизм одинаково необходим немецкой реакции — в постоянной дружбе, как и во временной вражде. Поэтому и в период самой острой борьбы она неминуемо озабочена тем, чтобы сохранить царизм—для будущей дружбы. „С искренним огорчением увидел я конец дружбы, которую честно сохраняла Германия", сказал Вильгельм II в своей тронной речи уже после объявления войны — не об Англии и не о Франции, разумеется, а о России, или, вернее, о русской династии — согласно „русской религии Гогенцоллернов", — сказал бы Маркс. Немецкие социал-демократы не то приписывают, не то

внушают Вильгельму и Гетману-Гольвегу политический план: с одной стороны, путем победы над Францией и Англией создать условия для политического сближения с Францией; с другой стороны, стратегическую победу над Францией использовать для того, чтобы политически раздавить русский деспотизм. На самом деле политические планы немецкой реакции имеют — и не могут не иметь — прямо противоположный характер. Действительно ли сокрушительный натиск на Францию диктовался стратегическими соображениями, не допускала ли „стратегия" чисто-оборонительной тактики на западной границе, — этот вопрос мы оставляем открытым. Но что юнкерская *политика* требовала разгрома Франции — этого не видеть может только тот, кому приходится закрывать глаза.

Эдуард Бернштейн, который пытался свести концы с концами в политической позиции германской социал-демократии, пришел к следующему выводу: „Если бы Германия управлялась демократически, то было бы совершенно ясно, как эта цель — сведение счетов с царизмом — может быть достигнута. Демократическая Германия вела бы войну на востоке революционным способом. Она призвала бы угнетенные Россией народы к восстанию и дала бы им средства серьезно бороться за свое освобождение". Совершенно верно! „Однако — продолжает Бернштейн — Германия не демократия, и поэтому было бы утопично (то-то!) ожидать от нее подобной политики со всеми ее последствиями" („Форвертс", 28-е августа). Итак? — Но тут Бернштейн внезапно обрывает анализ действительной германской политики „со всеми ее последствиями". Вскрыв вопиющее противоречие в позиции германской социал-демократии, он в заключение высказывает неожиданную надежду, что реакционная Германия выполнит то же самое, на что была бы способна только революционная. Credo quia absurdum! Верую, потому что сие вздор!

Можно, правда, подойти к вопросу иначе. Правящая германская каста, положим, не заинтересована в борьбе с царизмом. Но Россия стоит пред Германией сейчас, как враг, и из войны Германии с Россией, из победы Германии над Россией — независимо от воли Гогенцоллерна — должно выйти ослабление царизма, а может быть и его полный крах. „Да здравствует Гинденбург, великое бессознательное орудие русской революции!" — восклицаем мы вместе с хемницкой „Фольксштимме". Да здравствует прус-

ский престолонаследник — тоже довольно бессознательное орудие! Да здравствует турецкий султан, который, служа революции, бомбардирует сейчас русские города на Черном море! Счастливая русская революция — как быстро растут сейчас ряды ее бойцов!.. Но попробуем отнестись к этому вопросу серьезно. Не может ли поражение царизма действительно послужить на пользу революции?

Против такой *возможности*,—но только возможности, возражать, разумеется, нельзя. Микадо и его самураи нимало не были заинтересованы в политическом освобождении России. Тем не менее русско-японская война дала могущественный толчок событиям революции. Допустимо, следовательно, ожидать таких же последствий и от русско-немецкой войны. Но чтоб политически оценить эти исторические возможности, нужно принять во внимание следующие обстоятельства.

Те, кто думают, что русско-японская война создала революцию, не знают и не понимают событий и их связи. Война лишь ускорила революцию. Но тем самым она внутренно ослабила ее. Если б революция развернулась из органического нарастания внутренних сил, она наступила бы позже, но была бы могущественнее и планомернее. Следовательно, революция вовсе не была заинтересована в войне. Это во-первых. А во вторых, русско-японская война, одним концом ослабив царизм, другим усилила японский милитаризм. К русско-немецкой войне оба эти соображения относятся еще в более высокой степени. В течение 1912—1914 годов Россия была окончательно выбита могущественным промышленным подъемом из состояния контр-революционной подавленности. Рост революционного движения на основе экономических и политических стачек рабочих масс и нарастание оппозиционных настроений в самых широких слоях населения вводили страну в новую эпоху бури и натиска. Но в отличие от 1902 — 1905 г.г. движение развертывалось несравненно более сознательно и планомерно, и притом на более широкой социальной основе. Оно нуждалось во времени, чтобы окончательно назреть,—отнюдь не в ланцете ост-эльбских самураев, которые доставили царю возможность парадировать в роли защитника Сербии, Бельгии и Франции против немецкого милитаризма. Война, при условии катастрофических поражений России, может ускорить наступление революции, но лишь ценою ее внутреннего ослабления. И если бы революция даже взяла верх при этих условиях, то гогенцоллерн-

ская армия повернула бы свои штыки против нее. И эта перспектива не может, в свою очередь, не парализовать революционные силы России, которые не могут отрицать, что за гогенцоллернскими штыками стоит также и партия германского пролетариата. Это, однако, лишь одна сторона дела. Поражение России предполагает решающие победы Австрии и Германии на обоих театрах войны, а это, в свою очередь, означает принудительное сохранение национально-политического хаоса в центре и на юго-востоке Европы и неограниченное господство германского милитаризма во всей Европе. Принудительное разоружение Франции, многомиллиардная контрибуция, принудительное включение побежденных в таможенную черту, принудительный торговый договор с Россией—все это в совокупности сделало бы германский империализм хозяином положения на ряд десятилетий. Тот перелом во внутренней политике Германии, который начался с капитуляции партии пролетариата пред национальным милитаризмом, был бы надолго закреплен, и германский рабочий класс материально и идейно кормился бы крохами со стола победоносного империализма, — социальная революция была бы парализована в сердце своем. Что при таких условиях русская революция, даже временно победоносная, была бы историческим выкидышем, не требует дальнейших доказательств [1]).

Таким образом, нынешняя свалка народов, павших под тяжестью милитаризма, воздвигнутого на их спинах имущими классами, таит в себе чудовищные противоречия, которых сама война и руководящие ею правительства ни в каком смысле не могут разрешить в интересах дальнейшего исторического развития. *Ни с одной из тех исторических возможностей, какие таит в себе эта война — то-есть ни с победой двойственного союза, ни с победой тройственной коалиции — социал-демократия не могла и не может отождествлять своих целей.* И немецкая социал-демократия, в лице „Форвертса“, сама прекрасно понимала это — именно в вопросе о борьбе с царизмом. 28 июля „Форвертс“ писал: „Но

[1]) В то время предполагалось—особенно, германскими социал-патриотами,— что сокрушающая победа Германии будет завершена в несколько месяцев. При этом условии германский милитаризм неизбежно разгромил бы русскую революцию. Но война затянулась, и революция разразилась только на третьем году войны Буржуазная Европа, и побежденная и победившая, оказалась так подкошена своей войной, что не нашла в себе сил для сокрушения русской революции. IV 1922. Л. Т.

что если локализовать конфликт не удастся, если на сцену выступит Россия? Какую позицию должны мы занять по отношению к царизму? В этом вопросе заключается великая трудность положения. Не наступил ли сейчас момент нанести царизму смертельный удар, не принесет ли это победу русской революции, когда германские армии перейдут русскую границу?"

Разбирая этот вопрос, „Форвертс" приходил к такому выводу:

„Точно ли можно быть уверенным, что русская революция будет приведена к победе, когда германские армии перейдут русскую границу? Этот акт может повлечь за собою падение царизма, но не станут ли германские армии бороться против революционной России с еще большей энергией, чем против самодержавной?"

Этого мало. 3-го августа, накануне исторического заседания рейхстага, „Форвертс" писал в статье, озаглавленной „Борьба против царизма":

„В то время, как консервативная пресса, к великой радости иностранцев, клеймит самую сильную партию страны именем государственной изменницы, другие газеты стараются обратно, доказать социал-демократии, что предстоящая война есть в сущности старое социал-демократическое требование. Война против России, война против кровавого и, как теперь его именует столь недавно еще кнуто-любивая печать, против вероломного царизма — разве это не старое исконное требование социал-демократии?... Так действительно аргументируют в более благородной части буржуазной прессы и этим только доказывают, какой вес придается настроениям той части немецкого народа, которая стоит за социал-демократией. Вот почему вместо прежнего: „Русская печаль — немецкая печаль" теперь раздается: „Долой царизм!" Правда, за время, протекшее с тех пор, когда названные вожди социал-демократии (Бебель, Лассаль, Энгельс, Маркс) требовали демократической войны против России, последняя перестала быть только гнездом реакции, а стала также очагом революции. Низвержение царизма является сейчас задачей русского народа вообще и русского пролетариата в особенности, и с какой энергией именно рабочий класс берется за это дело, к которому он призван историей, это мы видим в течение последних недель... И все националистические попытки „истинно-русских" людей отвлечь

ненависть масс от царизма и поднять реакционную травлю против всего иностранного, и в особенности против Германии, терпели до сих пор фиаско. Слишком хорошо знает русский пролетариат, что его враг не по ту сторону границы, а в его собственной стране. Ничто не поразило так неприятно националистических подстрекателей, „истинно-русских" людей и панславистов, как известие о больших мирных демонстрациях германской социал-демократии. О, как возликовали бы они, если бы произошло обратное, если бы они могли сказать революционному русскому пролетариату: „Чего вы хотите? Немецкая социал-демократия идет во главе людей, натравливающих на войну с Россией!" И царь-батюшка в Петербурге вздохнул бы с облегчением: „Вот оно известие, которого я ждал! У моего самого опасного врага, у русской революции, разбит позвоночник! Международная солидарность пролетариата разорвана! Теперь я могу разнуздать во всю зверя национализма! Я спасен!"

Так писал „Форвертс" уже после того, как Германия объявила войну России. Эти слова выражали собою честную и мужественную позицию пролетариата пред лицом воинствующего шовинизма. „Форвертс" прекрасно понимал — и обличал низкопробное лицемерие правящей кнутолюбивой Германии, которая внезапно почувствовала в себе призвание освободить Россию от царизма. „Форвертс" предостерегал немецких рабочих от того отвратительного шантажа, который разыгрывала над их революционной совестью буржуазная печать. Не верьте этим друзьям кнута, — говорил „Форвертс" немецкому пролетариату, — они охотятся за вашими душами, прикрывая свои империалистические интересы ложью освободительной фразеологии. Они обманывают вас, — одухотворенное пушечное мясо, в котором они нуждаются. Если бы они вас увлекли на свой путь, они помогли бы царизму, нанеся страшный моральный удар русской революции. А если бы русская революция тем не менее подняла свою голову, то они же сами помогли бы царю задушить ее. Вот смысл того, чему „Форвертс" учил немецких рабочих до 4-го августа.

А ровно три недели спустя тот же „Форвертс" пишет:

„Освобождение от московщины, свобода и независимость Польши и Финляндии, свободное развитие для самого великого русского народа, расторжение неестественного союза двух культурных наций с царским варварством — такова цель, вдохно-

вившая немецкий народ, исполнившая его готовностью на все жертвы"... и вместе с немецким народом вдохновившая также немецкую социал-демократию и ее центральный орган.

Что же произошло за эти три недели? что заставило „Форвертс" отказаться от своей первоначальной точки зрения?

Что произошло? Ничего особенного. Германские войска задушили нейтральную Бельгию, сожгли ряд бельгийских деревень и разрушили Лувен, жители которого оказались так порочны что осмелились — без каски и павлиньих перьев — стрелять в вооруженных чужеземцев, занявших их дома [1]); за эти три недели немецкие войска перенесли смерть и опустошение на территорию Франции, а союзная австро-венгерская армия на Саве и Дрине вколачивала сербам любовь к Габсбургской монархии, — вот эти-то факты, очевидно, и убедили „Форвертс", что Гогенцоллерн ведет войну „за освобождение народов"... Раздавили нейтральную Бельгию, — и немецкая социал-демократия молчала. А Рихард Фишер, чрезвычайный посланник партии, специально приехал в Швейцарию, чтоб разъяснять народу нейтральной страны, что попрание бельгийского нейтралитета и физический разгром маленького народа — совершенно естественное явление, — к чему весь этот шум? — каждое европейское правительство на месте германского поступило бы точно так же. Этот довод, уместный в устах английской социал-демократии для обличения лицемерия английского правительства, — какой же смысл, кроме постыдного, он имел в устах немецкой социал-демократии, прикрывавшей одно из самых потрясающих преступлений своего собственного правительства! И именно в это время немецкая социал-демократия не просто примирилась с войной, как с делом действительной или мнимой „национальной обороны", но окружила гогенцоллернско-габсбургскую армию ореолом наступательно-освободительного похода. Какое беспримерное политическое падение для партии, которая в течение пятидесяти лет учила немецкий рабочий класс видеть в немецком правительстве врага всякой свободы и демократии!

А между тем, каждый новый день войны все более вскрывал ту европейскую опасность, которую марксисты должны были

---

[1]) „Чисто прусское заявление, писал Маркс Энгельсу, что никто не имеет права защищать свое „отечество", на ком нет мундира".

предвидеть с самого начала. Главный удар немецкое правительство направило не на восток, а на запад—против Бельгии, Франции и Англии. Если даже допустить невероятное: что такой план кампании определялся чисто-стратегическими соображениями,— и тогда остается во всей своей силе тяжеловесная политическая логика этой стратегии: необходимость решительного и полного разгрома Бельгии, Франции и сухопутных сил Англии, чтоб развязать себе руки против России. Не ясно ли было, что то, что объявлялось предварительно—в утешение германской социал-демократии!—стратегическим средством, силою вещей превратится в самостоятельную цель. И чем более упорное сопротивление немецкому натиску должна была оказать Франция, для которой задача действительно свелась в этот момент к защите своей территории и своей независимости; чем больше увязала и будет увязать немецкая армия за своей западной границей, чем более при этом Германия будет истощаться, тем меньше у нее останется сил и охоты для той будто бы основной задачи, которую ей приписывают немецкие социал-демократы: „сведение счетов с Россией"! И тогда история будет свидетельницей „почетного" мира между двумя самыми реакционными силами Европы: между Николаем, которому судьба подарила дешевые победы над насквозь прогнившей габсбургской монархией [1]), и Вильгельмом, который свел счеты, но не с Россией, а—с Бельгией. Союз Гогенцоллерна и Романова—после истощения и унижения западных государств—будет означать новую эпоху черной реакции в Европе и во всем мире. Всей своей политикой германская социал-демократия прокладывает дорогу этой страшной опасности. И она осуществится, если европейский пролетариат не найдет себя и не вмешается, как революционный фактор, в стратегические и политические расчеты династий и капиталистических правительств!

---

[1]) „Для нее (России), справедливо писал Энгельс в 1890 году, годятся только такие войны, в которых главная тяжесть падает на союзников России; их территория подвергается опустошению, и они должны выставить главную массу бойцов, а на долю русских войск остается роль резервов. Только с совсем слабыми противниками, как Швеция, Турция, Персия, царизм воюет собственными средствами". — Теперь приходится Австро-Венгрию поставить на одну доску с Турцией и Персией.

4. Война против Запада.

Д-р Зюдекум писал в „Форвертс'е" после своей дипломатической поездки в Италию, что итальянские социалисты недостаточно понимают „сущность" царизма. Мы совершенно согласны с д-ром Зюдекумом, что немцу легче понять природу царизма, так как он каждый день на своей спине познает „сущность" прусско-немецкого абсолютизма. А эти две „сущности" очень родственны друг другу.

Германский абсолютизм представляет собою феодально-монархическую организацию, под которую развитие последнего полувека подвело могущественный капиталистический фундамент. Сила германской армии, какою мы снова видим ее теперь в ее кровавой работе, не только в материально-техническом могуществе нации, в интеллигентности и исполнительности рабочих-солдат, прошедших школу индустрии и школу классовой организации, но и в ее объединенном вокруг монарха юнкерском офицерском корпусе, с его традициями властвования, подавления того, что внизу, подчинения тому, что наверху. Немецкая армия, как и немецкое государство, представляет собою феодально-монархическую организацию с неисчерпаемыми капиталистическими рессурсами. Писаки буржуазной прессы могут сколько угодно резонерствовать о преимуществах немца, как человека долга,— над „человеком наслаждений" — французом. Действительное противоречие лежит не в расовых свойствах, а в социальных и политических отношениях. Постоянная армия, это замкнутое, самодовлеющее государство в государстве, несмотря на основу всеобщей воинской повинности, остается насквозь кастовым учреждением, — и для своего процветания она — при наличности всех других данных — нуждается в искусственном отборе сословности и в монархическом увенчании командующей иерархии.

В своей книге „Новая Армия" Жорес доказывал, что Франция может иметь только оборонительную армию, построенную на началах народного вооружения, то-есть милицию. Французская буржуазная республика платится теперь за то, что в своей армии она хотела иметь противовес демократическим формам государственного строя. Она создала, по словам Жореса, „ублюдочный режим, в котором сталкиваются и нейтрализуют друг друга уста-

ревшие формы и формы, только намечающиеся жизнью". В этом несоответствии постоянной армии режиму республики основная слабость военной системы Франции. Наоборот: поистине варварская политическая отсталость Германии дает ей могущественный военный перевес. Германская буржуазия могла время от времени ворчать, когда кастово-преторианский дух офицерства приводил к взрывам, подобным цабернскому, могла коситься на кронпринца с его паролем: „Валяй-напирай"; немецкая социал-демократия могла обличать систематические заушения личности немецкого солдата, приводящие к двойному количеству самоубийств в немецкой казарме, по сравнению с другими странами, — но политическая бесхарактерность немецкой буржуазии и отсутствие революционной школы у немецкого пролетариата позволили правящей касте воздвигнуть чудовищное здание милитаризма, которое ставит интеллигентных и исполнительных немецких рабочих под команду героев Цаберна с их лозунгом: „Валяй!"

Ганс Дельбрюк с полным основанием ищет источников военной силы Германии в Тевтобургском лесу! „Древнейший военный строй германцев, говорит он, покоился на княжеской дружине, состоявшей из самых отборных воинов, и воинской массе, обнимавшей весь народ. То же самое видим мы теперь. Как изменились формы нынешнего боя по сравнению с тем, что делали наши предки в Тевтобургском лесу! Да, изумительна техника современных винтовок и мортир, изумительна эта расчлененность гигантских масс, но *в основе—все тот же военный строй:* воинский дух, доведенный до высшей степени развития в когда-то маленькой, а ныне многотысячной корпорации людей, без лести преданных своему верховному вождю, и как встарь, в эпоху древних князей, считающихся его сотрапезниками, — и весь народ, ведомый ими, воспитанный в их школе и подчиненный их дисциплине. *Вот в чем разгадка воинственного характера немецкого народа*".

Французский майор Дриан с любовной завистью республиканца поневоле глядит на кайзера в форме белых кирасир — „бесспорно, самой импозантной и воинственной из всех форм" — и восхищается тем, как он проводит время „посреди своей армии, этой истинной семьи Гогенцоллернов".

Феодальная каста, которой давно пора бы сгнить политически и морально, снова нашла свою связь с нацией на почве

империализма. И так далеко зашла эта связь с нацией, что исполнилось написанное несколько лет тому назад пророчество майора Дриана, которое доселе могло казаться лишь ядовитой инсинуацией тайного бонапартиста или бредом помешанного. „Император-полководец... а за ним стоит вся трудящаяся Германия, как один человек... Социал-демократы Бебеля в строю вместе со всеми, с винтовкой в руках; и они ни о чем не помышляют, кроме блага отечества. Десять миллиардов военной контрибуции, которую должна будет заплатить Франция, принесут им больше пользы, чем социалистические бредни, которыми они питались еще вчера". Да, об этой будущей контрибуции—но только не в 10, а в 20 и 30 миллиардов—пишут сейчас с чисто лумпенским бесстыдством уже и некоторые немецкие *социал-демократические* (!) издания...

Победа Германии над Францией — печальная „стратегическая" необходимость по оценке немецких социалистов — означала бы в первую очередь не поражение системы постоянной армии в режиме республиканской демократии, а победу феодально-монархического строя над демократически-республиканским. Ибо старая раса Гинденбургов, Мольтке и Клуков — наследственных специалистов в деле массовых убийств, такое же необходимое условие немецких побед, как и пушка в 42 сантиметра, последнее слово технического могущества человека.

Уже и сейчас вся буржуазная пресса только говорит о закрепленной войною незыблемости немецкой монархии. Уже и сейчас немецкие ученые — те самые, которые провозгласили Гинденбурга доктором всех наук, — объявляют политическое рабство высшей формой общежития. „Какими шаткими, — пишут они, — оказались в годину бури демократическая республика, порабощенное парламентским режимом призрачное королевство и все прочие хваленые прелести".

И если обидно и стыдно читать статьи французских социалистов, которые оказались слишком слабыми, чтобы расторгнуть пагубный союз Франции с Россией, или чтобы хоть воспрепятствовать возврату к трехлетнему сроку службы, и которые тем не менее собираются в красных штанах освобождать Германию, то чувство невыразимого негодования охватывает при чтении немецкой партийной прессы, которая на языке восторженных рабов славит доблестную касту наследственных угнетателей Германии — за ее подвиги на территории Франции!

15 августа 1870 г., когда победоносные немецкие войска приближались к Парижу, Энгельс, характеризуя безобразное состояние французской обороны, писал в письме к Марксу: „Тем не менее, у революционного правительства, если оно образуется скоро, нет основания отчаиваться. Но оно должно будет предоставить Париж его собственной судьбе и продолжать войну с юга. Тогда оно сможет продержаться до тех пор, пока не будет закуплено оружие и не будут сформированы новые армии, которые постепенно оттеснят врага к границе. Самое правильное окончание войны заключалось бы в том, чтобы обе страны дали друг другу доказательство своей непобедимости".

А есть люди, которые голосами пьяных илотов кричат: „В Париж!" — и в то же время смеют ссылаться на Маркса и Энгельса. Чем же они выше трижды презренных русских либералов, которые ползают на брюхе пред августейшим главнокомандующим, утверждающим русскую нагайку в Восточной Галиции! Каким трусливым лицемерием звучат речи о чисто „стратегическом" характере войны на западной границе! Кто верит этому? Кто считается с этим?

Во всяком случае, не немецкие правящие классы. Они говорят на языке уверенности и силы. Они называют вещи своими именами. Они знают, чего хотят, и умеют бороться за свои задачи.

Социал-демократы рассказывают нам, что война служит делу национальной независимости. „Это неправда!" — отвечает им г. Артур Дикс. „Если большая политика прошлого века своей характернейшей чертой была обязана *национальной* идее, то все крупные политические события текущего века стоят под знаком *империалистической* идеи. Она дает импульс, направление и цель завоевательному порыву великих держав („Война за мировое хозяйство", 1914, стр. 3).

„Отметим, — пишет тот же г. Артур Дикс, — как доказательство отрадной сознательности кругов, подготовивших войну стратегически, что уже в первой стадии войны наступление нашей армии против Франции и России было произведено как раз там, где требовалось охранить от неприятельского вторжения особенно ценные земные недра Германии и занять те части неприятельской страны, которые могли бы пополнить наши собственные подземные богатства". (Там же, стр. 38.)

„Стратегия", о которой социалисты говорят сейчас почтительным шопотом, начинает, оказывается, свою деятельность с грабежа земных недр.

Социал-демократы говорят нам, что война служит делу национальной обороны. Но Георг Ирмер пишет совершенно ясно: „Пора перестать говорить как о чем-то само собою понятном, что в борьбе за мировое владычество и мировой рынок немецкий народ пришел слишком поздно, что мир уже поделен. Разве во все времена истории земля не переделялась заново?" („Долой английское ярмо!", 1914, стр. 42.)

Социалисты утешают нас тем, что Бельгия задушена только на время, и что немцы в ближайшем будущем уйдут из бельгийских квартир. Но г. Артур Дикс, который знает, чего он хочет, и который имеет право и силу хотеть, пишет: *„Выход Германии к открытому Атлантическому океану* — вот, чего Англия, по ее собственному признанию, боится больше всего". „Но именно поэтому мы не можем *выпустить Бельгию из наших рук* и не можем отказаться от заботы о том, чтобы *по возможности все побережье от Остенде до устья Соммы* не попало снова в руки такого государства, которое могло бы сделаться вассалом Англии, *а осталось бы навсегда в той или иной форме под германским влиянием*".

В непрекращающихся боях между Остенде и Дюнкирхеном священная „стратегия" осуществляет сейчас и этот пункт программы берлинской биржи.

Социалисты рассказывают нам, что война между Францией и Германией есть только маленькая прелюдия к прочному союзу между ними, но г. Артур Дикс и здесь раскрывает карты. По его мнению, для Германии существует „только один ответ: *стремление уничтожить участие Англии в мировом хозяйстве и нанести смертельный удар английскому народному хозяйству!*" „Цель внешней политики германской империи, — провозглашает более осторожно проф. Франц фон Лист, — для ближайших десятилетий совершенно ясна. „Защита против Англии" — таков должен быть наш лозунг!" („Среднеевропейский союз государств", 1914, стр. 24.)

„Мы должны, — восклицает третий, — повергнуть на землю коварнейшего и злейшего из наших врагов, мы должны сокрушить тираническую власть Англии над морями, осуществляемую ею с гнусным эгоизмом и бессовестным презрением к праву! Война

ведется не против царизма, а прежде всего против морского превосходства Англии".

„Можно сказать, — признается проф. Шиман, — что ни один успех не вызывал такой радости, как поражение англичан под Мобежем и Сен-Кантеном 28-го августа".

Немецкие социал-демократы говорят, что главная цель войны — „сведение счетов с Россией". А почтенный г. Рудольф Тейден хочет отдать России Галицию и в придачу северную Персию. Тогда „Россия получила бы столько, что могла бы чувствовать себя удовлетворенной на несколько десятилетий; пожалуй, было бы даже возможно приобрести таким образом ее дружбу". Это писалось до русских успехов в Галиции. „Что должна дать нам война? — спрашивал г. Тейден и давал ответ: *главную долю должна будет заплатить Франция*... Кроме Бельфора, Франции придется уступить часть Лотарингии, ограниченную Мозелем, а при упорном сопротивлении — и Маасом; когда Мозель и Маас сделаются пограничными немецкими реками, французы, может быть, откажутся наконец от попытки превратить Рейн во французскую границу".

Буржуазные политики и профессора говорят нам, что главный враг — Англия; что Бельгия и Франция есть путь к Атлантическому океану; что надежды на русскую контрибуцию все равно утопичны; что Россия выгоднее в качестве друга, чем врага; что платить, землей и деньгами, должна будет Франция, — а „Форвертс" призывает немецких рабочих продержаться „до полной победы". И при этом он разъясняет нам, что война ведется во имя независимости немецкой нации и освобождения народов России. Что же это такое, наконец?!

Нельзя, очевидно, искать мыслей, логики и правды там, где их нет: тут просто прорвало нарыв рабских чувств, и гной пресмыкательства ползет по страницам рабочей печати. Очевидно, что угнетенный класс, слишком медленно и лениво идущий к свободе, должен в последний час протащить еще в грязи и крови все свои надежды и заветы, прежде чем из души его поднимется неподдельный голос революционной чести.

5. Оборонительная война.

„Требуется отразить эту опасность (русского деспотизма), обеспечить неприкосновенность нашей культуры и независимость

нашей страны. И мы делаем то, на чем всегда настаивали: в минуту опасности мы не выдадим отечество... Руководясь этими принципами, мы голосуем за военные кредиты".

Так гласила прочитанная Гаазе декларация с.-д. фракции в заседании рейхстага 4-го августа.

Здесь говорится исключительно об охране отечества и ни словом не упоминается об „освободительных" задачах войны по отношению к народам России, — мотив, который позже на все лады разрабатывался немецкой социал-демократической прессой; причем эта пресса, логика которой не шла в ногу с ее патриотизмом, умудрялась одновременно изображать войну и как чисто-оборонительную, имеющую своей задачей защиту немецкого достояния, и как революционно-наступательную, направленную на освобождение России и Европы от царизма.

Выше мы уже достаточно ясно показали, почему народы России имеют все основания с благодарностью отказаться от той помощи, которую им предлагают на конце гогенцоллернского штыка. Но как обстоит дело с оборонительным характером войны?

Прежде всего, в декларации немецкой социал-демократии уже с первого взгляда поражает не только то, о чем она говорит, но и то, о чем она умалчивает. После того, как Бетман-Гольвег провозгласил в рейхстаге об уже произведенном нарушении нейтралитета Бельгии и Люксембурга в целях наступления на Францию, Гаазе ни словом, ни звуком не заикнулся об этих фактах. Умолчание кажется настолько невероятным, что заставляет второй и третий раз перечитать декларацию, — но нет, декларация построена так, как если б на политической карте германской социал-демократии вообще никогда не существовало ни Бельгии, ни Франции, ни Англии. Однако, факты не исчезают только потому, что политические партии закрывают на них глаза. И каждый член Интернационала имеет право адресоваться к Гаазе с вопросом: *какая именно часть из вотированных социал-демократической фракцией 5 миллиардов предназначалась ею на разгром Бельгии*? Очень может быть, что для защиты немецкого отечества от русского деспотизма необходимо было попутно раздавить бельгийское отечество. Но почему же социал-демократическая фракция умолчала об этом?

Ясно почему: английское либеральное правительство, стремясь сделать войну популярной в массах, ссылалось только на необхо-

димость отстоять независимость Бельгии и целость Франции, — оно совершенно замалчивало свой союз с царской Россией. В дополнение к этому и по тем же мотивам немецкая социал-демократия говорит массам только о войне с царизмом, не называя даже по имени Бельгии, Франции и Англии. Этот факт, разумеется, не весьма лестен для международной репутации царизма. Но весьма прискорбно, что во имя борьбы с царизмом германская социал-демократия жертвует собственной репутацией. Лассаль говорил, что всякое большое политическое действие начинается с „высказывания того, что есть". Почему же защита отечества стыдливо начинает с замалчивания того, что есть? Не потому ли, что она не является „большим политическим действием?"

Во всяком случае, оборона отечества есть очень широкое и вместительное понятие. Мировая катастрофа началась с ультиматума, предъявленного Австрией Сербии. Австрия при этом руководилась, разумеется, исключительно потребностями „обороны" своих границ от беспокойного соседа. За спиною Австрии стояла Германия. Ее подстрекательство, как мы уже знаем, вытекало из потребностей государственной обороны: „Было бы нелепо думать, — пишет об этом Людвиг Квессель, — что из этого многообразного здания (Европы) можно выхватить одну стену, не пошатнув „целого". Германия открыла свою „оборонительную" войну с натиска на Бельгию, причем нарушение бельгийского нейтралитета должно было явиться средством проникнуть по линии наименьшего сопротивления во Францию. Военный разгром Франции должен был, в свою очередь, явиться только стратегическим эпизодом обороны отечества. Некоторым немецким патриотам такая конструкция не без основания казалась не вполне убедительной. Они предложили другую, более согласованную с фактами и их смыслом. Россия, вступившая в полосу нового роста вооружений, через два-три года станет несравненно опаснее для Германии, чем теперь; Франция к тому времени полностью проведет свою трехлетнюю контр-реформу. Не ясно ли, что именно разумно понятые интересы самообороны требовали, чтоб Германия, не дожидаясь нападения со стороны врагов, сама предупредила их на два года и немедленно перешла в наступление? И не ясно ли, что такая наступательная война, сознательно вызванная Австрией и Германией, является по существу превентивно-оборонительной? Иногда, впрочем, обе эти концепции связываются во-едино. Правда, между

ними есть некоторое противоречие: одна из них изображает дело так, что Германия не хотела теперь войны, но что война была ей навязана тройственным согласием; по второй концепции выходит, что именно тройственному согласию война была теперь невыгодна, и что именно поэтому Германия взяла на себя инициативу столкновения, — но это противоречие безболезненно примиряется в спасительном понятии оборонительной войны. Однако же остальные участники страшной игры не без успеха оспаривают у Германии выгоды оборонительного положения. Франция из побуждений самообороны не могла допустить разгрома России. Англия мотивировала свое вмешательство тем, что упрочение Германии на берегу пролива явилось бы непосредственной опасностью для великобританских островов. Наконец, и Россия говорит исключительно о самообороне. Правда, на русскую территорию никто непосредственно не посягал. Но национальным достоянием является не только территория, а и другие, невесомые факторы, в том числе влияние на более слабые государства. Сербия входит в сферу русского влияния и служит делу сохранения так называемого равновесия на Балканах — не только равновесия балканских держав между собою, но и равновесия австрийского и русского влияния. Победоносное посягательство Австрии на Сербию угрожало нарушить это равновесие в пользу Австрии и, следовательно, являлось косвенным посягательством на Россию. Наиболее сильный свой аргумент г. Сазонов почерпнул без сомнения у Людвига Квесселя: „Было бы нелепо думать, — пишет, как мы уже слышали, Квессель, — что из этого многообразного здания можно выхватить одну стену, не пошатнув целого". Незачем прибавлять, что Сербия с Черногорией и Бельгия с Люксембургом тоже могут привести кое-какие доказательства оборонительного характера своей политики. Таким образом все оборонялись, никто не нападал. Какой же смысл имеет тогда самое противопоставление наступательной и оборонительной войны? Критерии, которые применяются для оценки войны, как наступательной или оборонительной, очень различны и нередко совершенно несоизмеримы друг с другом.

Основное значение имеет для нас, марксистов, вопрос об *исторической* роли войны: способна ли она двинуть вперед или наоборот, затормозить развитие производительных сил, государственных форм, ускорить концентрацию сил пролетариата. Эта

материалистическая оценка войны стоит над всеми формальными моментами и по существу не имеет отношения к вопросу о нападении или защите. Но иногда под этими формальными терминами проводится, с большим или меньшим основанием, именно историческая оценка войны. Когда Энгельс говорил, что немцы в войне 1870 года находились в состоянии обороны, он меньше всего имел в виду непосредственно дипломатическую обстановку войны: решающим для него был тот факт, что немцы в этой войне отстаивали свое право на национальное объединение, которое было необходимым условием экономического развития страны и социалистического сплочения пролетариата. В этом же смысле христианские народы Балканского полуострова вели против Турции „оборонительную" войну, отстаивая против чужеземного владычества свои права на самостоятельное национальное развитие.

Независимо от этой историко-материалистической оценки войны стоит вопрос об ее непосредственных *международно-политических* предпосылках. Война немцев с бонапартовской империей была исторически неизбежна, в этой войне право развития стояло на немецкой стороне. Но эти исторические тенденции совершенно не предрешали сами по себе вопроса о том, какая из сторон была заинтересована вызвать войну именно в 1870 году. Теперь мы достаточно хорошо знаем, что международно-политические и военные соображения побудили Бисмарка взять фактическую инициативу войны на себя. Но могло бы быть и иначе: при большей предусмотрительности и энергии, правительство Наполеона III могло бы предупредить Бисмарка и само начать войну несколькими годами раньше. Это радикально изменило бы внешне-политическую физиономию событий, но оставило бы нетронутой общую историческую оценку войны.

На третьем месте следуют обстоятельства *дипломатического* характера. Задача дипломатии в этом отношении двойная: во-первых, она должна вызвать войну в такой момент, который по международным и военным соображениям представляется наиболее выгодным для ее страны; во-вторых, она должна добиться своей цели такими средствами, которые в глазах общественного мнения взвалили бы тяжесть ответственности за кровавый конфликт на правительство враждебной стороны. Раскрытие дипломатических шашней и плутней представляет очень важную агитационно-политическую задачу для социал-демократии. Но совершенно незави-

симо от того, в какой мере нам удается это в самый разгар событий, ясно, что сеть дипломатических интриг сама по себе еще ничего не говорит не только об исторической роли войны, но и об ее действительных инициаторах. Искусными маневрами Бисмарк вынудил Наполеона III объявить войну Пруссии; между тем действительная инициатива войны лежала на немецкой стороне.

Далее следуют чисто-военные критерии. *Стратегический план* операций может быть рассчитан преимущественно на наступление или на оборону, независимо от того, какая из сторон и при каких условиях объявила войну. Наконец, первые *тактические* шаги в осуществлении стратегического плана играют нередко большую роль в оценке войны, как наступательной или оборонительной. „Хорошо, — писал Энгельс Марксу 31-го июля 1870 года, — что французы первые повели наступление на германскую территорию. Если немцы, отразив нападение, погонят перед собой врага, то это, конечно, произведет во Франции иное впечатление, чем если они войдут во Францию без предшествующего вторжения французов. Это придает французской войне более бонапартистский характер".

Таким образом, на классическом примере франко-прусской войны 1870 года мы видим всю противоречивость наступательного и оборонительного критерия в оценке военного столкновения двух, а тем более нескольких народов. Разворачивая клубок с конца, мы получим в войне 1870—71 г.г. такое сочетание наступательных и оборонительных моментов. Первый *тактический* шаг французов должен был — по крайней мере, по мнению Энгельса — переложить в народном сознании ответственность за нападение на французов. Весь *стратегический* план немцев имел, однако, всецело наступательный характер. *Дипломатические* ходы Бисмарка вынудили Бонапарта, против его воли, объявить войну и выступить таким образом в роли нарушителя европейского мира. Между тем *военно-политическая* инициатива войны всецело принадлежала прусскому правительству. Эти обстоятельства отнюдь не безразличны для *исторической* оценки войны, но они ни в каком случае не исчерпывают этой оценки. В основе войны лежало прогрессивное стремление немцев к национальному самоопределению, сталкивавшееся с династическими притязаниями французской империи. Эта национально-оборонительная — на стороне немцев — война привела, однако к аннексии ими Эльзаса и Лотарингии и превра-

тилась, таким образом, во второй своей стадии, в династически-завоевательную.

В своем отношении к войне 1870 года Маркс и Энгельс, как свидетельствует их переписка, исходили из общих исторических соображений. Для них, разумеется, вовсе не безразлично, кто и как ведет немецкую войну. „Кто бы мог думать, — с горечью писал Маркс, — что через 22 года после 1848 г. национальная война будет обладать в Германии таким (т.-е. гогенцоллернским) теорстическим выражением?" Но решающее значение в глазах Маркса и Энгельса имели объективные последствия войны: „Если победят пруссаки, то централизация государственной власти пойдет на пользу централизации германского рабочего класса." Либкнехт и Бебель, исходя из той же исторической оценки войны, вынуждены были, однако, занять непосредственную политическую позицию по отношению к ней. Нимало не противореча взглядам Маркса и Энгельса, наоборот, в полном согласии с ними, Либкнехт и Бебель сняли с себя в рейхстаге всякую ответственность за войну. Внесенное ими заявление гласило: „Мы не можем голосовать за предоставление требуемых у рейхстага для ведения войны денежных средств, потому что это было бы вотумом доверия прусскому правительству... Как принципиальные противники всякой династической войны, как социал-республиканцы и члены интернациональной ассоциации рабочих, борющейся против всех угнетателей без различия национальностей и стремящейся объединить всех угнетенных в один братский союз, мы не можем высказаться ни прямо ни косвенно за настоящую войну"...

Швейцер поступил иначе. Историческую оценку войны и ее последствий он непосредственно превратил в руководящую линию тактики, — одна из самых опасных политических аберраций! — и вместе с кредитами вотировал доверие политике Бисмарка. Между тем именно для того, чтобы возникшая из войны централизация государственной власти пошла на пользу делу социализма, нужно было, чтобы рабочие с самого начала противопоставили этой юнкерски-династической централизации — свою собственную, связанную революционным недоверием к правящим, классовую централизацию. Следовательно, своим политическим поведением Швейцер подкапывался под те самые объективные последствия войны, во имя которых он вотировал доверие ее субъективным руководителям.

Четыре десятилетия спустя, подводя итоги всей своей жизни, Бебель писал: „Позиция, которую Либкнехт и я заняли внутри и вне рейхстага по отношению к той войне, была в течение десятилетий предметом споров и ожесточенных нападок. Сначала и в партии — но не долго; потом признали нашу правоту. Я заявляю, что нисколько не жалею о нашем тогдашнем поведении, и что, если бы в момент начала войны мы уже знали то, что узнали несколько лет спустя на основании официальных и неофициальных сообщений, то наше поведение с самого начала было бы еще более резким. Мы тогда не воздержались бы от голосования при первом требовании денежных кредитов на войну, как мы это сделали, а прямо голосовали бы против них". („Из моей жизни", ч. 2-я, 1911 г., стр. 167.)

Если сравнить декларацию Либкнехта — Бебеля в 1870 г. с декларацией, оглашенной Гаазе в 1914 году, то придем к выводу, что Бебель ошибался, когда говорил: „потом признали нашу правоту". Ибо голосование 4-го августа было прежде всего осуждением политики Бебеля 44 года тому назад; по терминологии Гаазе, следовало бы сказать, что Бебель „выдал отечество в минуту опасности".

Какие же политические причины и соображения заставили партию немецкого пролетариата отказаться от самой яркой своей традиции? Об этом мы до сих пор не слышали ни одного веского слова. Все аргументы, какие приводились, полны противоречий и похожи на дипломатические сообщения, которые составляются для того, чтобы оправдать уже совершившийся факт. Передовик „Нейе Цейт" пишет — с благословения Каутского — что положение Германии сейчас по отношению к царизму точно такое же, какое в семидесятом году было по отношению к бонапартизму: „Вся масса немецкого народа без различия классов — такую цитату из письма Энгельса приводит передовик — поняла, что дело идет прежде всего о самом национальном бытии, и поэтому тотчас же встала, как один человек". По той же причине и немецкая социал-демократия встала теперь, как один человек: дело идет о национальном бытии. „Сказанное Энгельсом сохраняет свою силу и в том случае, если бонапартизм заменить царизмом!" Допустим. Но ведь остается все же во всей силе своей тот факт, что Либкнехт и Бебель в 1870 г. демонстративно отказали правительству в кредите, финансовом и политическом.

Разве это не так же обязательно и в том случае, если „бонапартизм заменить царизмом“ ? На этот вопрос ответа нет.

Что говорил однако Энгельс в своем письме относительно тактики рабочей партии? „Чтобы немецкая политическая партия могла в этих обстоятельствах проповедывать полную обструкцию и главный вопрос подчинить всяким побочным вопросам, представляется мне невозможным“. Полная обструкция! — но между полной обструкцией и полной капитуляцией политической партии имеется еще большое пространство, и на этом пространстве разместились в 1870 году две позиции: Бебеля и Швейцера. Маркс и Энгельс были с Бебелем против Швейцера, — Каутский мог бы это объяснить своему передовику, Герману Венделю. И если сатирический журнал „Симплициссимус“ примиряет теперь в заоблачных сферах тень Бебеля с тенью Бисмарка, то это не что иное, как поругание мертвых. Если „Симплициссимус“ и Вендель имеют право вызывать кого-либо из загробного мира в защиту нынешней тактики немецкой социал-демократии, то не Бебеля, а — Швейцера. Его тень тяготеет теперь над политической партией германского пролетариата.

* * *

Но самая аналогия между нынешней войной и войною 70-го года является до последней степени плоской и фальшивой. Оставим в стороне все международные условия. Забудем, что нынешняя война в первую голову означала разгром Бельгии; что главные силы Германии обрушились не на царизм, а на республиканскую Францию; забудем, что исходным пунктом войны было стремление раздавить Сербию, а одной из целей войны является упрочение самого реакционного в Европе государственного образования, Австро-Венгрии. Не будем останавливаться над тем, что русской революции, так бурно развивавшейся в последние два года, нанесен жестокий удар поведением немецкой социал-демократии. Закроем глаза на все эти факты, как это сделала социал-демократическая декларация 4-го августа, для которой не существует на свете ни Бельгии, ни Франции, ни Англии, ни Сербии, ни Австро-Венгрии. Возьмем одну Германию. В 70-м году историческая оценка войны была ясна: „Если победят пруссаки, то централизация государственной власти пойдет на пользу цен-

трализации германского рабочего класса". А теперь? Какие условия создадутся для немецкого рабочего класса, если пруссаки победят теперь? Единственное территориальное расширение Германии, которое рабочий класс мог бы приветствовать, так как оно было бы завершением национального объединения, исключается союзом Германии с Габсбургом: победа Германии предполагает сохранение и упрочение Австро-Венгрии. Всякое же другое увеличение немецкого отечества означает новый шаг к превращению Германии из национального государства в государство национальностей, со всеми вытекающими отсюда затруднениями для классовой борьбы пролетариата.

Людвиг Франк [1]) надеялся — и эту надежду он выразил на своем языке запоздалого лассальянизма — заняться после победоносной войны „внутренним строительством" государства. Что Германия будет после победы нуждаться в этом „внутреннем строительстве" не меньше, чем до войны, в этом не приходится сомневаться. Но облегчит ли победа эту работу? Исторический опыт Германии, как и других стран, совершенно не оправдывает таких надежд. „Все поведение правящих (после побед 1870 г.) — рассказывает Бебель в своих мемуарах — было для нас само собой понятным. Со стороны комитета партии было чистейшей иллюзией верить в возможность свободных учреждений при новом строе, ожидая, что их введет тот самый человек, который всегда был величайшим врагом всякого свободного, не говорю уже демократического, развития и который теперь победно поставил свой кирасирский сапог на шею новой империи". (II том, стр. 188.) Нет никаких оснований ждать сверху других последствий победы и в настоящее время. Более того. В 70-х годах прусскому юнкерству приходилось только приспособляться к новому имперскому порядку, оно не могло сразу почувствовать себя совершенно прочно в седле, — закон против социалистов пришел только через восемь лет после победы. За эти 44 года прусское юнкерство стало имперским юнкерством, и если оно после полустолетия напряженной классовой борьбы окажется во главе победоносной нации, можно не сомневаться, что оно не почувствовало бы потребности в услугах Людвига Франка для внутреннего

[1]) Выдающийся немецкий социал-патриот, вступивший добровольцем в армию и убитый в начале войны.

строительства государства, если б он даже и вернулся невредимым с поля немецких побед.

Но гораздо важнее, чем упрочение классовых позиций правящих, то влияние, какое победа Германии окажет на самый пролетариат. Война выросла из империалистических противоречий капиталистических государств, и победа Германии может дать только один результат: территориальные приобретения за счет Бельгии и Франции, навязанные врагам торговые договоры, новые колонии. Классовая борьба пролетариата была бы этим поставлена на основы империалистической гегемонии Германии, рабочий класс, в лице своего верхнего слоя, оказался бы заинтересован в сохранении и развитии этой гегемонии, и революционный социализм был бы надолго осужден на роль пропагандистской секты.

Если в 70-м году Маркс справедливо предсказывал, в результате немецких побед, быстрое развитие немецкого рабочего движения под знаменем научного социализма, то теперь международные условия диктуют прямо противоположный прогноз: победа Германии будет означать притупление революционного движения, его теоретическое принижение, отмирание идей марксизма.

* * *

Но немецкая социал-демократия, скажут нам, вовсе и не стремится к победе. На это приходится прежде всего ответить, что это не верно. Чего хочет немецкая социал-демократия, об этом нам говорит ее пресса. За двумя-тремя исключениями, она изо дня в день рисует немецким рабочим победы немецкого оружия, как *их* победы. Взятие Мобежа, потопление трех английских крейсеров или взятие Антверпена вызывают в ней те же чувства, как завоевание новых избирательных округов или победы в экономической борьбе. Нельзя закрывать глаз на факт: немецкая рабочая пресса, партийная, как и профессиональная, представляет сейчас могущественный аппарат, который воспитание воли к классовой борьбе заменил воспитанием воли к военной победе. Мы имеем здесь в виду не безобразные шовинистические эксцессы отдельных органов, а весь тон подавляющего большинства социал-демократических изданий. Сигналом к такому поведению печати явилось голосование фракции 4-го августа.

* * *

— Но фракция вовсе не стремилась к победе Германии! Она ставила своей задачей отражение внешней опасности, оборону отечества — не больше.

Здесь мы снова возвращаемся к противопоставлению оборонительной и наступательной войны. Немецкая пресса, в том числе и социал-демократическая, не устает повторять, что именно Германия находится в настоящей войне в состоянии национальной самообороны. Выше мы установили те критерии, которыми пользуются для разграничения наступательной и оборонительной войны. Эти критерии многообразны и противоречивы. Но в данном случае все они согласно свидетельствуют, что военные действия Германии никак нельзя подвести под понятие оборонительной войны, что впрочем, как мы показали, не может иметь решающего значения для тактики социал-демократии.

С *исторической* точки зрения молодой немецкий империализм является самым боевым, агрессивным и беспокойным. Гонимый лихорадочным развитием национальной индустрии, немецкий империализм нарушает старые соотношения государственных сил и играет первую скрипку в деле вооружений.

Под *международно-политическим* углом зрения настоящий момент представлялся именно для Германии наиболее благоприятным, чтобы нанести своим соперникам сокрушительный удар, — что, впрочем, ни на иоту не уменьшает вины врагов Германии.

Дипломатическая картина событий явно отводит Германии руководящую роль в деле австрийской провокации; что при этом царская дипломатия, по своему обыкновению, оказывается еще более низкой, нисколько не меняет существа дела.

Стратегически весь немецкий план военных действий построен на стремительной оффензиве.

Наконец, первым *тактическим* шагом немецкой армии является нарушение бельгийского нейтралитета.

Если все это оборона, то что же назвать наступлением?

Допустим, однако, что дипломатическая картина событий допускала разные толкования, — хотя первые две страницы Белой Книги ставят все точки над i, — неужели же революционная партия рабочего класса не имеет других критериев для определения своей политики, кроме тех документов, которые ей показывает правительство, заинтересованное в том, чтобы обмануть ее?

„Бисмарк, — рассказывает Бебель, — обманул весь свет и сумел всем внушить веру, что Наполеон провоцировал войну, а он, миролюбивый Бисмарк, со своей политикой сделался жертвой нападения... События до открытия военных действий были так обманчивы, что совсем забыли о том, что Франция, объявившая войну, была со своей армией совершенно не подготовлена к войне, между тем как в Германии, которая была якобы провоцированной стороной, война *была, наоборот, подготовлена до последнего лафетного гвоздя*, и мобилизация прошла как по линейке". („Из моей жизни", т. III, стр. 167 и 168.)

От немецкой социал-демократии можно, казалось бы, требовать больше критической осторожности после такого исторического прецедента.

Правда, и старик Бебель не раз повторял, что в случае „нападения" на Германию, социал-демократия будет защищать отечество. На эссенском партейтаге Каутский метко возражал Бебелю:

„На мой взгляд, мы никак не можем разделять военное воодушевление правительства всякий раз, когда мы убеждены, что нам грозит неприятельское нападение. Правда, Бебель полагает, что с 1870 года мы ушли далеко вперед и что теперь мы в каждом случае можем точно отличить, имеем ли мы дело с действительным или с мнимым нападением. Я не взял бы на себя ответственность за это утверждение. Я не поручился бы за то, что мы в каждом случае можем точно установить это различие, что мы всегда будем знать, отводит ли нам правительство глаза, или действительно защищает интересы нации перед лицом нападающего врага... Вчера немецкое правительство было агрессивно, завтра будет французское, а послезавтра, быть может, английское. Это меняется непрестанно... В действительности война означает для нас не национальный, а интернациональный вопрос, потому что война между великими державами превратится в мировую, она затронет всю Европу, а не только две страны. Но в один прекрасный день немецкое правительство могло бы уговорить немецких пролетариев, что на них напали, а французское правительство могло бы в том же убедить французов, и мы имели бы тогда войну, в которой немецкие и французские пролетарии с одинаковым воодушевлением пошли бы за своими правительствами и стали бы убивать друг друга и перерезать

друг другу горло. Это нужно предотвратить, и мы это предотвратим, если будем прилагать не критерий наступательной войны, а критерий пролетарских интересов, являющихся в то же время интернациональными интересами... К счастью, только по недоразумению можно думать, что немецкая социал-демократия в случае войны будет судить с национальной точки зрения, а не с интернациональной точки зрения, что она в первую очередь будет сознавать себя немецкой и лишь во вторую — пролетарской партией".

С превосходной ясностью Каутский вскрыл в этой своей речи те страшные опасности, ныне ставшие еще более страшной действительностью, которые кроются в стремлении ставить поведение социал-демократии в зависимость от неопределенной и противоречивой формальной оценки войны, как наступательной или оборонительной. Бебель по существу ничего не ответил ни на одно из возражений, и его точка зрения представлялась совершенно необъяснимой, особенно после его собственного опыта в 1870 году. Тем не менее, несмотря на свою полную теоретическую несостоятельность, позиция Бебеля имела очень определенное политическое содержание. Те империалистические тенденции, которые порождали опасность европейской войны, заранее исключали для социал-демократии возможность ждать блага от победы одной из сторон. Именно поэтому все внимание направлялось на предупреждение войны. Главная задача была: держать правительство под страхом последствий. Социал-демократия будет, говорил Бебель, против того правительства, которое возьмет на себя инициативу войны. Этим самым он угрожал правительству Вильгельма. „Не рассчитывайте на нас, если вздумаете в один прекрасный день обновить ваши мерзеры и дредноуты". Но этим же самым он говорил в сторону Петербурга или Лондона: „Пусть они остерегутся нападать на Германию в ложном расчете на внутреннюю обструкцию со стороны могущественной немецкой социал-демократии". Не заключая в себе никакого политического критерия, Бебелевское понятие оборонительной войны было политической *угрозой*, и притом одновременно на два фронта: внутренний и внешний. На все исторические и логические возражения он упрямо твердил: мы уж найдем способ раскрыть то правительство, которое сделает первый шаг к войне, — для этого мы достаточно умны.

Эта угрожающая позиция социал-демократии, не только немецкой, но и международной, не была безрезультатной: правительства действительно прилагали усилия к тому, чтобы по возможности оттянуть взрыв. Но был и другой результат: монархи и дипломаты с удвоенным вниманием приспособляли свои шаги к миролюбивой психологии народных масс, шушукались с социалистическими вождями, совали свой нос в интернациональное бюро и создавали такое настроение, которое дало возможность Жоресу, как и Гаазе, утверждать в Брюсселе — за несколько дней до войны — что их правительства не знают другой цели, кроме охранения мира. И когда война разразилась, то социал-демократия каждой страны искала виновника — по ту сторону границы. Критерий Бебеля, сыгравший известную роль как угроза, утратил всякий смысл в тот момент, когда на европейских границах раздались первые выстрелы. Наступило именно то худшее, что предсказывал Каутский.

Но самое поразительное, на первый взгляд, состоит в том, что социал-демократия в сущности и не чувствовала потребности в политическом критерии. В переживаемой нами катастрофе Интернационала аргументы отличались чрезвычайной поверхностностью, противоречили друг другу, менялись и вообще имели второстепенное значение, — существо же дела свелось к тому, что нужно *защищать отечество*. Независимо от исторических перспектив войны, от демократических и классовых соображений, нужно защищать исторически нам данное отечество. Защищать не потому, что наши правящие хотели мира, а враги на нас „вероломно напали", как пишут интернациональные Тряпичкины, а потому, что война, независимо от того, при каких условиях и кем она вызвана, кто в ней прав и кто виноват, представляет собою опасность для каждой воюющей страны. Теоретические, политические, дипломатические и военные соображения летят прахом, как пред лицом наводнения, землетрясения или пожара. Правительство со своей армией возвышается, как единственная сила, как защитник и спаситель. Широкие массы народа возвращаются, в сущности, в до-политическое состояние. Критиковать это настроение масс, поскольку оно остается временным настроением, элементарным рефлексом на катастрофу, не приходится. Другое дело — поведение социал-демократии, ответственного представительства масс. Политические организации имущих классов, и прежде

всего государственная власть, не просто плыли по течению, — они сразу развили в высшей степени напряженную и многообразную работу, направленную на то, чтобы усугубить вне-политическое настроение масс и объединить их вокруг власти и армии. Социал-демократия не только не развила сколько-нибудь равноценной работы в противоположном направлении, но с первого же момента капитулировала пред политикой правительства и стихийным настроением масс, и вместо того, чтобы вооружать их критикой и недоверием, хотя бы на первое время выжидательным, она всем своим поведением только облегчала и ускоряла переход масс в до-политическое состояние. С поразительной готовностью, которая меньше всего способна была внушить правящим уважение к ней, она отреклась от своих полувековых традиций и политических обязательств.

Бетман-Гольвег заявил, что немецкое правительство находится в полном единении с немецким народом, и, по признанию „Форвертса", он имел полное право сказать это в виду позиции, занятой социал-демократией. Но имел право и на другое. Если бы обстоятельства не заставили его отложить политическую полемику до более благоприятного момента, то он мог бы тут же, в заседании 4-го августа, сказать, обращаясь к представителям социалистического пролетариата: „Сегодня вы вместе с нами признаете, что наше отечество находится в опасности, и вместе с нами хотите отразить ее с оружием в руках; но эта опасность ведь не вчера родилась и выросла; о существовании и тенденциях царизма вы вероятно, и раньше кое-что слыхали; вы знали, что есть у нас и другие враги. По какому же праву нападали вы на нас, когда мы создавали армию и флот? По какому праву отказывали вы нам из года в год в военных кредитах, по праву измены или по праву слепоты? Если бы мы, вопреки вам, не создали нашей армии, то теперь мы были бы бессильны против той самой русской опасности, которая и вас заставила взяться за ум. Никакие вотированные теперь наспех кредиты не дали бы нам возможности наверстать упущенное; мы были бы без винтовок, без пушек, без крепостей. Вашим сегодняшним голосованием за пяти-миллиардные кредиты вы признаете, что ваш ежегодный отказ вотировать бюджет был только пустой демонстрацией, хуже того — политической демагогией, потому что при первом же серьезном историческом испытании вы отреклись от всего вашего прошлого".

Так мог бы говорить германский канцлер, и речь его на этот раз была бы убедительна. Что мог бы ответить на это Гаазе?

„Мы никогда не стояли на точке зрения разоружения Германии перед лицом внешних опасностей; сентиментальное миролюбие такого рода было нам всегда совершенно чуждо. Пока международные противоречия порождают из себя опасность войн, мы хотим, чтобы Германия была защищена от чужеземного вторжения и от порабощения. Но мы стремимся к такой военной организации, которая внутри страны не могла бы служить искусственно натасканной организацией классового порабощения, а в международных отношениях не была бы склонна к империалистическим авантюрам, и в то же время была бы непобедима в деле национальной обороны. Такова *милиция*! Мы не могли доверить вам дело национальной обороны. Вы сделали из армии школу реакционной дрессировки: вы воспитали *ваш* офицерский корпус в ненависти к важнейшему классу современного общества, к пролетариату. Вы способны поставить на карту жизнь миллионов людей — не из-за действительных интересов народа, а из-за эгоистических интересов господствующего меньшинства, которые вы покрываете именем национальной идеи и государственного престижа. Мы вам не верим, и вот почему мы каждый год провозглашали: этому классовому правительству ни одного человека и ни одного гроша!"

„Но пять миллиардов!..." мог бы раздаться в ответ голос слева и справа.

„К несчастью, сейчас мы не можем выбирать: у нас нет другой армии, кроме созданной нынешними властителями Германии, а враг стоит у ворот. Мы не можем в мгновение ока заменить армию Вильгельма II народной милицией, а раз дело обстоит так, то мы не можем отказать в пище, одежде и военных припасах армии, которая нас защищает, какова бы она ни была. Мы не отрекаемся от нашего прошлого и не отказываемся от нашего будущего, мы голосуем за военные кредиты поневоле".

Это, пожалуй, самое убедительное, что мог бы сказать Гаазе. Но если такими соображениями можно объяснить, почему рабочие-социалисты, как индивидуальные граждане, не обструировали военной организации, а выполняли то, что обстоятельства навязывали им, как „гражданский долг", то мы тщетно стали бы ждать ответа на главный вопрос: *почему социал-демократия, как*

политическая организация класса, отброшенного от кормила правления, как непримиримая оппозиция буржуазному обществу, как республиканская партия, как секция Интернационала, — почему она взяла на себя политическую ответственность за те действия, которыми руководят ее непримиримые классовые враги? Если мы не имеем возможности сегодня же заменить гогенцоллернскую армию милицией, то это вовсе не значит, что мы должны на себя брать сегодня ответственность за операции гогенцоллернской армии. Борясь против монархии, буржуазии, милитаризма во время их мирного нормального хозяйничанья; обязанные этой борьбе всем нашим авторитетом в массах, мы совершаем величайшее преступление против нашего будущего, ставя этот авторитет в распоряжение монархии, буржуазии, милитаризма в тот момент, когда они проявляют себя в самых ужасающих, антисоциальных, варварских методах войны.

Нация или государство не могут отказаться от самообороны. Но отказывая правящим в доверии, мы этим вовсе не лишаем буржуазное государство орудий и средств обороны, как и нападения—до тех пор, пока мы недостаточно сильны, чтобы вырвать из их рук власть. Мы партия оппозиции, а не власти — в войне, как и в мире. Этим самым мы вернее всего служим и той частной задаче, которая так остро ставится войной: делу национальной независимости. Социал-демократия не может ставить судьбу наций, своей и чужих, на карту военного успеха. Оставляя целиком на ответственности капиталистического государства те методы, какими оно защищает свою независимость путем нарушения и попрания независимости других государств, социал-демократия в сознании народных масс всех стран залагает действительные основы независимости наций. Охраняя и сохраняя международную солидарность трудящихся, мы обеспечиваем независимость наций от диаметра мерзеров.

Коли царизм есть опасность для независимости Германии, то единственное надежное средство против этой опасности, средство, которое от *нас* зависит, — это солидарность трудящихся масс России и Германии. Но под эту солидарность подкапывается та политика, которая позволяет заявить Вильгельму, что нет более партий, что за ним стоит весь немецкий народ. Что скажем мы, русские социал-демократы, русским рабочим по поводу того факта, что пули, которыми в них стреляют немецкие рабочие,

скреплены политической и моральной печатью немецкой социал-демократии? „Мы не можем делать нашу политику для России,— мы ее делаем для Германии", ответил мне один из виднейших деятелей немецкой партии [1]), когда я ему задал этот вопрос. И в тот момент я со всей яркостью почувствовал, какой удар нанесен Интернационалу изнутри! Уж, разумеется, положение не становится лучше в том случае, когда социалистические партии обеих воюющих стран в одинаковой мере связали свою судьбу с судьбой своих правительств, как в Германии и Франции. Никакая внешняя сила, никакие конфискации, аресты и погромы не могли нанести Интернационалу такого удара, какой нанес он сам себе, капитулировав перед государственным молохом, когда тот заговорил языком огня и железа.

В своей эссенской речи Каутский — в качестве логического аргумента, отнюдь не реальной возможности — нарисовал кошмарную картину восстания брата на брата под знаменем „оборонительной войны". Теперь, когда эта картина облеклась плотью и кровью, Каутский пытается нас примирить с нею. Он не видит никакого крушения Интернационала.

„Противоположность между немецкими и французскими социалистами заключается *не в критерии, не в принципиальных взглядах (!)*, а в различном понимании ситуации, которое в свою очередь вытекает из *различия в географическом положении (!!)* судящих. Поэтому вряд ли удастся примирить эту противоположность, пока гремит война. Тем не менее *противоположность эта не принципиальная*, а возникла из особенностей данной ситуации и может, следовательно, исчезнуть вместе с ней". („Нейе Цейт, 33-й год, стр. 3".) Если Гед и Самба выступают как сотрудники Пуанкарэ, Делькассэ и Бриана и как контр-агенты Бетмана-Гольвега; если французские и немецкие рабочие перерезают друг другу глотки, и при том не как подневольные граждане буржуазной республики и гогенцоллернской монархии, а как социалисты, во исполнение своего долга, под идейным руководством своих партий, то тут, видите ли, нет никакого крушения Интернационала: „критерий" один и тот же и у немецкого социалиста, который режет французское горло, и французского социалиста, который режет немецкое горло. Если Людвиг Франк взял на плечи

[1]) Старик Молькенбур, с которым я встретился в начале войны в Цюрихе.

ружье, то не для того, чтобы проявить „принципиальное противоречие“ по отношению к французским социалистам, а только для того, чтобы перестрелять их — в полном принципиальном единомыслии; и если Франк сам пал от пули француза — может быть тоже добровольца-социалиста, — то тут нет никакого ущерба общему „критерию“, тут только последствия „различия в географическом положении“. Поистине горько читать такие строки, — вдвойне горько, что они вышли из-под пера Каутского! Интернационал разбит и унижен, физически и морально истекает кровью. Но, несмотря на все наши тяжкие разочарования и испытания, мы твердо убеждены в одном: в недрах Интернационала есть достаточно внутренних сил, чтобы он не нуждался в такого рода официозном оптимизме.

Интернационал был против войны. „Если, несмотря на все усилия социал-демократии, дело все-таки доходит до войны, — поучает Каутский, — то каждому народу приходится защищать свою шкуру, кто как может. Для социал-демократических партий всех народов отсюда следует, что они равно имеют право или равно обязаны участвовать в этой самообороне, ни одна не должна упрекать (!) за это другую“; (там же, стр. 7). Таков этот общий критерий: защищать свою шкуру; в состоянии самообороны проламывать друг другу черепа, „не упрекая“ за это друг друга.

Но разве формальное *единство* критерия, а не его реальное *содержание* решает вопрос? У Бетман-Гольвега, Сазонова, Грея и Делькассэ тоже полное единство критерия; между ними тоже нет никакого принципиального противоречия; они меньше всего в праве делать друг другу упреки; их поведение целиком вытекает из „различия в географическом положении“: будь Бетман английским министром, он поступал бы точно так же, как сэр Эдуард Грей. Их критерий однороден, как их пушки, которые слегка отличаются друг от друга только диаметром. Вопрос однако в том, можем ли мы их критерий сделать нашим критерием? „К счастью, только по недоразумению можно думать, что немецкая социал-демократия в случае войны будет судить с национальной, а не с интернациональной точки зрения, что она в первую очередь будет сознавать себя немецкой и лишь во вторую — пролетарской партией“. Так говорил Каутский в Эссене. А теперь, когда место общей всем рабочим партиям интернациональной точки зрения заняла у каждой партии ее националь-

ная точка зрения, Каутский не только примиряется с этим „недоразумением", но ищет в нем единство критерия и залог возрождения Интернационала.

„Во всяком национальном государстве и пролетариат должен со всей своей энергией бороться за то, чтобы самостоятельность и целость национальной территории оставалась неприкосновенной. Это существенное требование демократии, которая составляет необходимую базу для борьбы за конечную победу пролетариата" (Каутский, там же, стр. 4).

Но как в таком случае обстоит дело с австрийской социал-демократией? Должна ли и она бороться со всей своей энергией за сохранение ненациональной и антинациональной дунайской монархии? А немецкая социал-демократия? Объединяя себя политически со своей армией, она не только способствует упрочению австро-венгерского национального хаоса, но и облегчает нарушение национального единства самой Германии. *Национальному единству грозит не только поражение, но и победа.* С точки зрения социалистического развития европейского пролетариата одинаково вредно: отойдет ли часть французской территории к Германии или часть немецкой земли к Франции. Наконец, и сохранение европейского status quo ни в каком смысле не является нашей программой: политическая карта Европы начертана концом штыка, который на всех границах прошел по живому телу наций. Подкрепляя всей своей энергией свое национальное (или антинациональное) правительство, социал-демократия снова предоставляет силе и усмотрению штыка корректуру европейской карты. Разрывая на части Интернационал, социал-демократия упраздняет единственную силу, которая способна противопоставить работе штыка свою программу национальной независимости и демократии и в большей или меньшей степени осуществить эту программу независимо от того, какой из национальных штыков окажется увенчан победой. Старый опыт подтверждается снова: когда социал-демократия ставит национальные задачи выше классовых, она совершает величайшее преступление не только по отношению к социализму, но и по отношению к правильно и широко понятым интересам нации.

К. Б. РАДЕК

6. Крушение Второго Интернационала.

На своем съезде в Париже, за две недели до начала катастрофы, французские социалисты снова настаивали на том, чтоб обязать все части Интернационала к революционным действиям в случае мобилизации. Главным образом они имели при этом в виду немецкую социал-демократию. Радикализм французских товарищей в вопросах внешней политики — события войны окончательно подтвердили то, что многим было ясно и ранее—имел не столько интернациональные, сколько национальные корни. Французская социалистическая партия хотела иметь со стороны немецкой социалистической партии своего рода гарантию неприкосновенности Франции. Только застраховав себя у немецкого пролетариата, французские социалисты считали бы свои руки окончательно свободными для решительной борьбы с национальным милитаризмом. С своей стороны, немецкие социалисты решительно отказывались выдавать такого рода обязательство. Бебель доказывал в свое время, что социалистические партии, если б они подписались под резолюцией французов, оказались бы в решительную минуту все равно не в силах выполнить свои обязательства. Сейчас вряд ли можно сомневаться в том, что Бебель был прав. Период мобилизации, как снова показали события, почти совершенно парализует социалистическую партию, во всяком случае исключает возможность решительных действий с ее стороны.

Как только мобилизация объявлена, социал-демократия оказывается лицом к лицу с концентрированной правительственной властью, опирающейся на могущественный военный аппарат, готовый стереть на своем пути всякое препятствие при безусловной поддержке всех буржуазных партий и учреждений.

Не менее важное значение имеет тот факт, что мобилизация пробуждает, ставит на ноги и привязывает к правительству самые отсталые народные слои, хозяйственное значение которых незначительно, и которые в обычное время не играют почти никакой политической роли. Сотни тысяч и миллионы мелких ремесленников, лумпен-пролетариев, мелких крестьян и сельских рабочих включаются в ряды армии, где каждый из них—в мундире его величества—является такой же единицей, как и наиболее сознательный рабочий. Их семьи насильственно вырываются из тупого

безразличия и заинтересовываются судьбой страны. У всех этих слоев, до которых наша агитация почти не доходит, и которых она никогда не увлечет за собой в обычных условиях, мобилизация и объявление войны пробуждают новые ожидания. Смутные надежды на изменение того, что есть, на перелом к лучшему охватывают самые темные массы, сразу выбитые из равновесия нищеты и рабства. Здесь происходит то же, что в начале революции, но с той решающей разницей, что революция связывает впервые пробужденные народные слои с революционным классом, война — с правительством и армией. Как там все неудовлетворенные нужды, все затаенные обиды, все надежды находят свое выражение в революционном воодушевлении, так здесь те же самые социальные чувства временно принимают форму патриотического опьянения. Широкие круги затронутых социализмом рабочих в большей или меньшей мере вовлекаются в тот же поток. Социал-демократический авангард чувствует себя в меньшинстве, его организации опустошены для пополнения организаций армии. При таких условиях не может быть и речи о революционных действиях со стороны партии. И это совершенно независимо от оценки войны. Русско-японская война, несмотря на свой колониальный характер и на свою непопулярность в России, в течение первого полугодия почти совершенно придавила революционное движение к земле. Ясно следовательно, что при всей доброй воле социалистические партии не могли брать на себя обязательства „полной обструкции" во время объявления мобилизации, т.-е. в тот именно момент, когда социализм оказывается политически наиболее изолированным.

Таким образом тот факт, что рабочие партии не противопоставили военной мобилизации правительства своей революционной мобилизации, не заключает в себе ничего ни неожиданного, ни обескураживающего. Если б социалисты ограничились заявлением своего взгляда на настоящую войну, отклонив от себя всякую ответственность за нее, отказав своим правительствам в доверии и в кредитах, они для начала вполне выполнили бы свой долг, заняв политически-выжидательное положение, оппозиционный характер которого был бы одинаково ясен и правящим и народным массам. Дальнейшие действия вытекали бы из объективного хода событий и из тех изменений, которые события войны должны породить в народном сознании. Интернационал сохранил бы свою вну-

треннюю связь; знамя социализма осталось бы незапятнанным; социал-демократия, временно ослабленная, сохраняла бы свои руки свободными для решительного вмешательства в события, как только произойдет перелом в настроении рабочих масс. И можно сказать с уверенностью: все то непосредственное влияние на массы, которое социал-демократия при таком поведении утратила бы в начале войны, она вдвойне и втройне наверстала бы после наступления неизбежного перелома.

Если тем не менее сигнал к военной мобилизации оказался вместе с тем сигналом к распаду Интернационала; если национальные рабочие партии, почти без протестов изнутри, объединились со своими правительствами и армиями, то тут должны быть глубокие и притом общие для всего Интернационала причины. Искать их нужно не в личных ошибках, не в недомыслии вождей и центральных комитетов, а в объективных условиях той эпохи, когда возник и сложился социалистический Интернационал. Это не значит, что личная шаткость вождей и растерянная несостоятельность центральных комитетов должны быть оправданы. Нисколько. Но это не основные факторы. Они сами должны быть объяснены из исторических условий целой эпохи. Ибо дело идет на этот раз — в этом нужно отдать себе ясный отчет — не об отдельных промахах, не об оппортунистических шагах, не о „неловких" заявлениях с парламентской трибуны, не о голосовании баденских великогерцогских социал-демократов за бюджет, не об отдельных экспериментах французского министериализма и социалистического карьеризма, — дело идет о полной капитуляции Интернационала в самую ответственную историческую эпоху, по отношению к которой вся предшествующая деятельность социализма должна рассматриваться лишь как подготовительная.

Оглядываясь на пройденный исторический путь, не трудно установить целый ряд фактов и симптомов, которые должны были и ранее внушать беспокойство относительно глубины и прочности интернационализма в рабочем движении.

Мы не говорим об австрийской социал-демократии. Напрасно стали бы русские и сербские социалисты искать в статьях венской „Арбейтер-Цейтунг" по международной политике цитаты, которые они могли бы передать русским и сербским рабочим без краски стыда за Интернационал. Защита австро-немецкого империализма не только от внешних, но и от внутренних врагов, а к

числу последних принадлежал даже и „Форвертс“ — всегда была одной из характернейших черт этой газеты. Без иронии можно сказать, что в настоящем кризисе Интернационала венская „Арбейтер-Цейтунг“ сохранила наибольшую верность своему прошлому.

Французский социализм на одном своем полюсе имел сильно выраженную патриотическую окраску, не свободную от германофобства, а на другом—отливал самыми яркими красками эрвеистского антипатриотизма, который, как показал опыт, легко превращается в свою противоположность.

Торийски [1]) окрашенный патриотизм Гайндмана, дополняющий его сектантский радикализм, не раз доставлял Интернационалу политические затруднения.

В гораздо меньшей степени можно было наблюдать симптомы национализма в немецкой социал-демократии. Правда, оппортунизм южных немцев развился на почве партикуляризма, этого немецкого национализма in octavo (уменьшенного формата). Но южные немцы справедливо считались мало влиятельным политическим аръергардом партии. Обещание Бебеля взять в минуту опасности винтовку в руки далеко не встречало в партии безраздельного сочувствия. А когда ту же фразу повторил Носке, партийная печать жестоко напала на него. В общем, немецкая социал-демократия придерживалась интернациональной линии строже, чем какая-нибудь другая из старых социалистических партий. Но именно поэтому она совершила самый резкий разрыв со своим прошлым. Если судить по формальным заявлениям партии и по газетным статьям, между вчерашним и сегодняшним днем немецкого социализма нет ничего общего. Но ясно, что этот катастрофический крах не мог бы произойти, если бы его предпосылки не были подготовлены в миновавшую эпоху. Тот факт, что две молодые партии, сербская и русская, остались верными своему интернациональному долгу, отнюдь не является подтверждением той филистерской философии, которая в верности принципам видит естественное выражение незрелости. Но этот факт побуждает нас искать причины крушения второго Интернационала в тех условиях его развития, которые оказывали наименьшее влияние на его молодых членов.

---

[1]) Тори — английские консерваторы, к которым в молодости примыкал Гайндман, лидер британской социал-демократической организации до войны.

Написанный в 1847 году „Манифест Коммунистической партии" заканчивался словами: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Но он явился слишком рано для того, чтобы немедленно облечься в плоть и кровь. На исторической очереди стояла тогда буржуазная революция 1848 года. Самим авторам Манифеста пришлось занять в этой революции место не вождей интернационального пролетариата, а на крайней левой национальной демократии. Революция 48-го года не разрешила ни одной из национальных проблем,—она их только поставила. Контр-революция вместе с промышленным подъемом оборвали нить революционного движения. Прошло новое десятилетие покоя, прежде чем неразрешенные революцией 48 года национальные и политические противоречия снова обострились настолько, что потребовали вмешательства меча. На этот раз это был не меч революции, выпавший из рук буржуазии, а меч войны, вынутый из ножен династиями. Войны 1859, 64, 66 и 70 годов создавали новую Италию и новую Германию. Феодалы на свой лад выполняли завещание революции 48 года. Выразившееся в этом перемещении исторических ролей политическое банкротство буржуазии дало—на основе быстрого капиталистического развития—решающий толчок самостоятельному движению пролетариата. В 1863 году Лассаль основывает политический рабочий союз в Германии. В 1864 году создается под руководством Маркса в Лондоне первый Интернационал. Заключительный лозунг Коммунистического Манифеста переходит в первое окружное послание международной ассоциации рабочих. В высокой степени знаменательно для тенденций современного рабочего движения, что на первых же шагах своих оно выдвигает организацию *международного* характера. Тем не менее эта организация является в гораздо большей степени предвосхищением дальнейших потребностей движения, чем действительным руководящим аппаратом классовой борьбы. Целая пропасть пролегала еще между конечной целью Интернационала, коммунистической революцией и его непосредственной практикой, сводившейся преимущественно к содействию хаотическому стачечному движению рабочих разных стран. Сами творцы Интернационала надеялись на то, что революционный ход событий в кратчайший период преодолеет это несоответствие между идеологией и практикой. Генеральный Совет, наряду с пересылкой денежных сумм отдельным бастующим группам в Англии или на континенте,

делал классические попытки координировать действия рабочих всех стран в области мировой политики. Но под этими замыслами оказалась еще недостаточная материальная база. Деятельность Первого Интернационала совпадает с эпохой тех войн, которые в Европе и Сев. Америке расчищали путь для капиталистического развития. Попытки вмешательства со стороны Интернационала, при всем своем принципиальном и воспитательном значении, должны были передовых рабочих всех стран заставить лишь ярче почувствовать свое бессилие пред национально-классовым государством. Вспыхнувшая из войны Парижская Коммуна была кульминационным пунктом эпохи Первого Интернационала. Как Коммунистический Манифест был теоретическим предвосхищением современного рабочего движения; как Первый Интернационал был организационным предвосхищением всемирного объединения рабочих, так Парижская Коммуна была эпизодическим предвосхищением диктатуры пролетариата. Но только предвосхищением. Именно Коммуна показала, что пролетариат не может одной лишь революционной импровизацией подчинить себе аппарат государства и перестроить общество. Он должен пройти для этого чрез школу самовоспитания. Вышедшие из войн национальные государства создавали для этой исторической работы единственно-реальную национальную базу. Первый Интернационал выполнил свою миссию рассадника по отношению к национальным социалистическим партиям. После франко-прусской войны и Коммуны Интернационал влачил еще короткое время полуфиктивное существование, а в 1872 г. был перенесен в Америку, куда не раз уезжали умирать различные эксперименты религиозного, социального и иного характера.

Открылась эпоха могущественного развития капитализма на основах национального государства. Для рабочего движения это была эпоха медленного собирания сил, организационного строительства и политического поссибилизма.

В Англии бурная эпоха чартизма — революционного пробуждения английского пролетариата — целиком исчерпала себя еще за 10 лет до возникновения Первого Интернационала. Отмена хлебных пошлин (1846 г.), последовавший за этим индустриальный расцвет страны, превративший Англию в „фабрику мира“, введение 10-часового рабочего дня (1847 г.), увеличение эмиграции из Ирландии в Америку и, наконец, распространение избирательного

права на городских рабочих (в 1867 г.)—все эти условия, значительно улучшившие положение верхних слоев пролетариата, ввели его классовое движение в мирное русло трэд-юнионизма и дополняющей его либеральной рабочей политики. Эпоха поссибилизма, т.-е. сознательного и планомерного приспособления к экономическим, правовым и государственным формам национального капитализма, открылась для английского рабочего класса, как старшего в роде, еще до возникновения Интернационала—на два десятилетия раньше, чем для континентального пролетариата. Если большие английские трэд-юнионы примкнули вначале к Интернационалу, то исключительно потому, что рассчитывали таким путем получить возможность лучше обороняться от ввоза континентальных штрейкбрехеров во время стачечных конфликтов.

Рабочее движение Франции лишь постепенно оправлялось после кровопускания Коммуны, на почве замедленного индустриального развития, в атмосфере, отравленной жаждой национального реванша. Колеблясь на своих флангах между анархическим „отрицанием" государства и вульгарно-демократической капитуляцией перед ним, движение французского пролетариата в основе своей развивалось в формах приспособления к социальным и политическим рамкам буржуазной республики.

Центр тяжести социалистического движения, как и предсказывал Маркс в 1870 году, перенесся в Германию. После франко-прусской войны для объединенной Германии началась эра, аналогичная предшествовавшему двадцатилетию в Англии: капиталистический расцвет, демократическое избирательное право, социальное законодательство, повышение жизненного уровня верхних слоев пролетариата. Теоретически движение немецкого пролетариата шло, правда, под знаменем марксизма. Но в зависимости от условий эпохи марксизм стал для немецкого пролетариата не алгеброй революции, чем он был в эпоху его создания, а теоретическим методом приспособления к национально-капиталистическому государству, увенчанному прусской каской. Достигший временного равновесия капитализм непрерывно революционизировал экономическую основу национальной жизни. Охранение этой основы, вышедшей из войн, требовало возрастания постоянных армий. Буржуазия сдала феодальной монархии все свои политические позиции, но тем энергичнее она, под охраной военно-полицейского гогенцоллернского государства, укреплялась на своих экономических

позициях. Победоносный капитализм, поставленный на капиталистические основы, юнкерский милитаризм и политическая реакция, выросшая из взаимопроникновения феодальных и капиталистических классов — революционизирование экономической жизни и полное упразднение революционных методов и традиций политической жизни — таковы основные черты последней эпохи, охватывающей четыре с половиной десятилетия.

Вся работа германской социал-демократии была направлена на пробуждение отсталых слоев путем планомерной борьбы за их непосредственные нужды, на накопление сил, увеличение числа членов, упрочение касс, развитие прессы, завладение всеми открывающимися позициями, их использование, их расширение и углубление. Это была огромная историческая работа пробуждения и воспитания „неисторического" до тех пор класса. Непосредственно опираясь на развитие национальной промышленности, приспособляясь к ее успехам на национальном и мировом рынке, учитывая движение цен на сырые материалы и готовые продукты, складывалось могущественное здание централизованных профессиональных союзов Германии. Приспособляясь к избирательному праву, топографически примыкая к избирательным округам, просовывая свои щупальцы в городские и сельские общины, складывалось единственное в своем роде здание политической организации немецкого пролетариата, с ее разветвленной бюрократической иерархией, миллионом платящих членов, четырьмя миллионами избирателей, 91 ежедневной газетой, 65 партийными типографиями. Вся эта многосторонняя работа неизмеримого исторического значения была, однако, насквозь пропитана духом поссибилизма. За четыре с половиной десятилетия история не доставила германскому пролетариату ни одного случая бурным натиском опрокинуть препятствие, революционным штурмом взять какую-либо вражескую позицию. Вследствие соотношения социальных сил ему приходилось обходить препятствия, либо приспособляться к ним. В этой практике марксизм, как метод мышления, был драгоценным орудием политической ориентировки. Но он не мог изменить поссибилистского характера классового движения, в основе своей однородного в эту эпоху в Англии, во Франции и в Германии. Тактика профессиональных союзов при несомненных преимуществах немецкой организации, принципиально была одна и та же в Лондоне и в Берлине: увенчанием ее являлась система тарифных договоров.

В политической области различие имело несомненно более глубокий характер. В то время, как английский пролетариат шел под знаменем либерализма, немецкие рабочие создали самостоятельную партию с социалистической программой. Но политическая сущность этого различия гораздо менее глубока, чем его идеологическая и организационная форма. Своим классовым давлением на либерализм английские рабочие в большей или меньшей степени достигали тех ограниченных политических завоеваний в области избирательного права, свободы коалиций и социального законодательства, какие немецкий пролетариат охранял или расширял при помощи самостоятельной партии. В виду ранней политической капитуляции немецкого либерализма, немецкий пролетариат вынужден был создать самостоятельную партию. Но эта партия, принципиально стоявшая под знаменем борьбы за политическую власть, во всей своей практике вынуждена была приспособляться к существующей власти, охранять рабочее движение от ее ударов и домогаться отдельных реформ. Другими словами: в силу различия исторических традиций и политических условий английский пролетариат приспособлялся к капиталистическому государству через посредство промежуточного звена — либеральной партии; немецкий пролетариат вынужден был для тех же политических целей создать собственную партию. Но содержание политической борьбы немецкого пролетариата за всю эту эпоху имело тот же исторически-ограниченный, посибилистический характер, что и у английского пролетариата. Ярче всего политическая однородность этих двух явлений, столь различавшихся по своей форме, выражается в последних итогах эпохи: с одной стороны, английский пролетариат, в борьбе за очередные свои задачи, вынужден был прийти к образованию самостоятельной партии, не порвавшей, однако, со своими либеральными традициями; с другой стороны, партия немецкого пролетариата, поставленная войной в необходимость решительного выбора, дала ответ вполне в духе национально-либеральных традиций английской рабочей партии.

Марксизм не был, разумеется, чем-либо случайным или незначительным в немецком рабочем движении. Но с другой стороны, было бы совершенно неосновательно из официальной марксистской идеологии партии, умозаключать о социально-революционном характере ее политики.

Идеология важный фактор политики, но не определяющий: ее роль — политически-служебная. То глубокое противоречие, в какое пробуждающийся революционный класс становился по отношению к феодально-реакционному государству, нуждалось в непримиримой идеологии, ставившей все движение под знамя социально-революционной цели. Так как исторические условия навязывали поссибилистскую тактику, то классовая непримиримость пролетариата находила свое выражение в революционных формулах марксизма. Диалектически марксизм с полным успехом примирял противоречие между реформой и революцией. Но диалектика исторического развития — гораздо более тяжелая телега, чем диалектика теоретического мышления. Тот факт, что революционный по своим тенденциям класс, вынужден был в течение десятилетий приспособляться к полицейско-монархическому государству, опиравшемуся на могущественное капиталистическое развитие, — причем в этом приспособлении слагалась миллионная организация, и воспитывалась вся руководящая движением рабочая бюрократия,—этот факт не переставал существовать и не лишался своего могущественного значения от того только, что марксизм теоретически предвосхищал социально-революционный характер будущего развития. Только наивный идеализм мог отождествлять это теоретическое предвосхищение с политической действительностью немецкого рабочего движения.

Немецкие ревизионисты исходили из противоречия между реформистской партией и ее революционной теорией. Они не понимали, что это противоречие обусловлено временными, хотя бы и очень продолжительными условиями, и что оно может быть преодолено лишь с дальнейшим общественным развитием. Для них это было логическое противоречие. Ошибка ревизионистов была не в том, что они констатировали реформистский по существу характер партийной политики истекшей эпохи, а в том, что они хотели теоретически увековечить реформизм, как единственный метод пролетарской классовой борьбы. На этом пути ревизионизм вступал в противоречия с объективными тенденциями капиталистического развития, которые через обострение классовых противоречий ведут к социальной революции, как к единственному способу эмансипации пролетариата. Из теоретического спора с ревизионизмом марксизм вышел победителем по всей линии. Но теоретически разбитый ревизионизм продолжал жить,

питаясь всей практикой движения и ее психологией. Критическое опровержение ревизионизма, как теории, отнюдь не было равносильно тактическому и психологическому преодолению реформизма. Парламентарий, профессионалист, кооператор продолжали жить и действовать в атмосфере политического поссибилизма, практической специализации и национальной ограниченности. Даже на Бебеле, величайшем представителе этой эпохи, лежала ее тяжелая печать.

Особенно сильно дух поссибилизма должен был овладеть тем поколением передовых немецких рабочих, которое вступило в партию в 80-х годах, в эпоху бисмарковских исключительных законов и сгущенной реакции во всей Европе. Без апостольского духа первого поколения, связанного с Интернационалом; придавленное на первых своих шагах могуществом победоносной империи; вынужденное приспособляться к силкам и петлям закона против социалистов, это поколение насквозь пропиталось духом постепеновщины и органического недоверия к широким перспективам. Теперь это все люди 50—60-ти лет, и они именно стоят во главе профессиональных и политических организаций. Реформизм—это их политическая психология, если не их доктрина. Постепенное экономическое врастание в социализм — таково основное учение ревизионизма — оказалось самой плачевной утопией в виду фактов капиталистического развития. Но постепенное политическое врастание социал-демократий в механизм капиталистического государства оказалось— для целого поколения— трагической реальностью.

Русская революция (1905 г.) явилась первым большим событием, которое, через 35 лет после Парижской Коммуны, сотрясло застоявшуюся атмосферу Европы. Быстрый темп развития русского рабочего класса и неожиданная сила его концентрированного революционного действия произвели огромное впечатление во всем культурном мире и повсюду дали толчок обострению политических противоречий. В Англии русская революция ускорила процесс формирования самостоятельной рабочей партии. В Австрии она, благодаря исключительным обстоятельствам, привела ко всеобщему избирательному праву. Во Франции отголоском русской революции явился синдикализм, который, в несостоятельной тактической и теоретической форме, давал выражение пробудившимся революционным тенденциям француз-

ского пролетариата. Наконец, в Германии влияние революции выразилось в усилении молодого левого крыла партии, в сближении с ним правящего „центра“ и в изоляции ревизионизма. Острее встал вопрос прусского избирательного права, этого ключа к политическим позициям юнкерства. Принципиально был усыновлен партией революционный метод всеобщей стачки. Но внешнего сотрясения оказалось недостаточно, чтоб толкнуть партию на путь политического наступления. Согласно всей партийной традиции перелом в сторону радикализма нашел свое выражение в дискуссиях и принципиальных резолюциях. Дальнейшего развития он не получил.

6—7 лет тому назад революционный прибой сменился повсеместно политическим отливом. В России восторжествовала контр-революция и открыла период политического и организационного распада русского пролетариата. В Австрии быстро оборвалась нить завоеваний, рабочее страхование застряло в правительственных канцеляриях, национальная борьба возобновилась на арене всеобщего избирательного права с удвоенной силой, восстановила § 14[1]) во всех правах и привела социал-демократию к разложению и обессилению. В Англии рабочая партия после своего выделения из либерализма снова связала себя с ним теснейшей связью. Во Франции синдикалисты передвинулись на реформистские оппозиции, Густав Эрве в кратчайший период вывернул себя наизнанку. В германской социал-демократии ревизионисты подняли голову, ободренные тем, что история дала им столь яркий реванш. Южане произвели свои демонстративные голосования за бюджет. Марксисты от нападения вынуждены были перейти к обороне. Усилия левого крыла перетянуть партию на путь более активной политики оставались безрезультатными. Правящий центр все более сближался с правым крылом, изолируя радикалов. Оправившись после удара 1905 г., организационный консерватизм восторжествовал по всей линии. За отсутствием как революционных действий, так и реальных реформистских возможностей, вся энергия уходила в автоматическое организационное строительство: новые члены партии и профессиональных союзов, новые газеты, новые абоненты.

---

[1]) § 14 конституции предоставлял монархии и ее бюрократии широкое поле для вне-парламентского „творчества“.

Осужденная в течение десятилетий на политику поссибилистического выжидания, партия создала культ организации, как самоцели.

Никогда, может быть, дух организационной инерции не господствовал так неограниченно в немецкой социал-демократии, как в последние годы, непосредственно предшествовавшие великой катастрофе; и не может быть никакого сомнения в том, что вопрос о сохранении организации — касс, рабочих домов, типографий — играл очень важную роль в определении позиции фракции рейхстага по отношению к войне. Первый аргумент, какой я услышал от одного из руководящих немецких товарищей (Молькенбура), гласил: „если бы мы поступили иначе, мы обрекли бы на гибель свою организацию и печать". Каким красноречивым для этой психологии организационного поссибилизма является тот факт, что из 91 социал-демократической газеты ни одна не сочла возможным поднять голос протеста против насилия над Бельгией. Ни одна! После падения исключительных законов партия долго не решалась обзаводиться собственными типографиями, чтобы в случае решительных событий они не были конфискованы правительством. А теперь, построивши 65 собственных типографий, партийная иерархия опасается всякого решительного шага, чтобы не дать повода к конфискации. Еще красноречивее инцидент с „Форвертсом", который попросил позволения существовать дольше — на основе новой военно-полевой программы, отменяющей классовую борьбу впредь до нового распоряжения. Всякий друг немецкой социал-демократии испытывал чувство мучительной обиды, получив злосчастный номер центрального органа с унизительным предписанием „Главного Командования". Оставайся „Форвертс" под запретом, это был бы крупный политический факт, на который сама партия с гордостью ссылалась бы позже. Это был бы во всяком случае несравненно более почтенный факт, чем существование „Форвертса" с отпечатком генеральского сапога на лбу. Но выше всех соображений политики и партийного достоинства стали соображения предприятия, издательства, организации, — и в результате „Форвертс" существует, как двустороннее свидетельство беспредельной наглости командующего юнкерства, одинакового в Лувене и Берлине, и беспредельного поссибилизма немецкой социал-демократии.

Правое крыло занимало в данном случае более принципиальную позицию, вытекавшую из политических соображений. Эти

основные соображения немецкого реформизма очень ярко формулировал Вольфганг Гейне во время смехотворной дискуссии о том, убегать ли из рейхстага при криках „гох" императору или же плотнее усаживаться в креслах. „Создание республики в Германии не имеет сейчас и на много лет вперед никаких реальных шансов, и потому оно никак не может быть предметом нашей текущей политики"... Никогда не осуществляющиеся практические успехи могли бы, — думает Гейне, — быть достигнуты, однако, только при сотрудничестве с либеральной буржуазией. „По этой причине, а не по щепетильности указал я на то, что парламентское сотрудничество затрудняется демонстрациями, которые без нужды оскорбляют чувства (монархические) большинства палаты". Но если одно лишь нарушение монархического этикета способно разрушить надежду на реформаторское сотрудничество с либеральной буржуазией, то разрыв с буржуазной „нацией" в минуту „национальной" опасности надолго поставил бы крест не только над чаемыми реформами, но и над реформистскими чаяниями. То поведение, которое консервативным рутинерам партийного центра было продиктовано голой заботой об организационном самосохранении, для ревизионистов дополнялось еще политическими соображениями. Точка зрения ревизионистов оказалась во всяком случае более содержательной и в конце концов овладела полем. Почти вся партийная пресса прилежно доказывает сейчас то, над чем она прежде так жестоко издевалась: что патриотическое поведение рабочих должно после войны обеспечить им благосклонность имущих классов на пути реформ.

Таким образом под ударами великих событий германская социал-демократия почувствовала себя не как революционная сила, которая имеет перед собой задачи, далеко выходящие за пределы вопроса о передвижении государственных границ, и которая, ни на минуту не растворяясь в вихре национализма, ждет благоприятного момента, чтоб — в связи с другими частями Интернационала — властно вмешаться в ход событий, — нет, она ощутила себя прежде всего, как тяжеловесный организационный обоз, которому грозит неприятельская кавалерия. Она потому и подчинила все будущее Интернационала независящему от нее вопросу об охранении границ классового государства, что она сама себя ощущала прежде всего, как консервативное государство в государстве.

„Смотри на Бельгию!"—писал „Форвертс", возбуждая дух рабочих-солдат:—там рабочие дома превращены в лазареты, газеты закрыты, жизнь подавлена [1]). И потому держись до конца—„пока, наконец, победа не будет наша". Другими словами: разрушайте дальше, ужасайтесь затем сами делу ваших рук—„смотри на Бельгию!"—и в этом ужасе почерпайте мужество для новых разрушений!

Все сказанное выше относится в общем и целом не только к немецкой социал-демократии, но и ко всем старым частям Интернационала, проделавшим историю последнего полустолетия.

Сказанным, однако, не исчерпывается вопрос о причинах крушения Второго Интернационала. Остается еще не учтенным фактор, который лежит в основе всех переживаемых событий: *империализм*. Зависимость классового движения пролетариата, особенно его профессиональной борьбы, от объема и успешности империалистической политики государства есть вопрос, который, насколько мы знаем, еще не подвергался исследованию в социалистической печати. Этим исследованием не можем и мы заняться в рамках политического памфлета, каким является по существу настоящая брошюра. То, что мы можем сейчас по этому поводу сказать, будет по необходимости носить конспективный характер.

Пролетариат кровно заинтересован в развитии производительных сил. Основным типом экономического развития в предшествующую эпоху являлось национальное государство, созданное в Европе в революциях и войнах 1789—1870 годов. Всей своей сознательной политикой пролетариат содействовал развитию производительных сил на национальной основе. Он поддерживал буржуазию в ее борьбе с внешними врагами за национальное освобождение, в ее борьбе с монархией, феодалами и церковью—за режим политической демократии. По мере того, как буржуазия переходила на позиции порядка, то-есть реакции, пролетариат перенимал на себя недовершенную ею историческую работу. Проводя против буржуазии политику мира, культуры и демо-

[1]) Один корреспондент „Форвертса" сентиментально рассказывал, как он разыскивал в Народном Доме в Брюсселе бельгийских товарищей—и нашел там немецкий лазарет. Для чего понадобились корреспонденту „Форвертса" бельгийские товарищи? „Чтобы завоевать их для дела немецкого народа"—в тот момент, когда уже сам Брюссель был завоеван для „дела немецкого народа".

кратии, он содействовал увеличению емкости национального рынка, стало быть толкал вперед развитие производительных сил. В равной мере он был экономически заинтересован в демократизации и культурном подъеме всех других стран, как потребительниц или поставщиц по отношению к его собственной стране. В этом был важнейший залог интернациональной солидарности пролетариата не только в его конечной цели, но и в его повседневной политике. Борьба против пережитков феодального варварства, против непомерных требований милитаризма, против аграрных пошлин, против роста косвенного обложения составляла основное содержание рабочей политики и прямо и косвенно служила делу развития производительных сил. Именно поэтому подавляющее большинство профессионально-организованных рабочих в Германии шло в своей политике за социал-демократией: всякую задержку в развитии производительных сил непосредственнее всего ощущает профессиональная организация пролетариата.

По мере того, как капитализм переходил с национальной почвы на империалистически-мировую, национальная промышленность, а с нею вместе и экономическая борьба пролетариата попадали в непосредственную зависимость от таких условий международного рынка, которые создаются и обеспечиваются при помощи дредноутов и мерзеров. Другими словами: в противоречии с основными классовыми интересами пролетариата, взятыми в их полном историческом объеме, непосредственные профессиональные интересы отдельных слоев пролетариата, все более многочисленных, оказывались в прямой зависимости от успеха или неуспеха внешней политики государства.

Англия гораздо ранее поставила свое капиталистическое развитие на основу империалистического хищничества. Она экономически заинтересовала верхний слой пролетариата в своем владычестве над миром. Английский рабочий класс в отстаивании своих интересов ограничивался давлением на буржуазные партии, приобщавшие его к капиталистической эксплуатации отсталых стран. Он начал становиться на путь самостоятельной политики лишь по мере того, как Англия теряла свои позиции на мировом рынке, оттесняемая, между прочим, своей главной соперницей, Германией. Вместе с возрастанием мировой индустриальной роли Германии возрастала, однако, не только материальная, но и идей-

ная зависимость широких кругов пролетариата от империализма. 11 августа „Форвертс“ писал о том, что немецкие рабочие, „которые до сих пор считались политически-сознательными, и которым много лет (должно признаться, *с очень слабым успехом)* проповедывалась опасность империализма“, точно так же поносят нейтралитет Италии, как и крайние шовинисты. Это, как мы знаем, нисколько не помешало самому „Форвертсу“ снабжать немецких рабочих „национальными“ и „демократическими“ аргументами в защиту кровавой работы империализма,—у многих литераторов спины, так же гибки, как и перья. Но факт от этого не меняется: в сознании немецких рабочих не оказалось в момент решающего испытания непримиримой враждебности к политике империализма,—наоборот, они обнаружили чрезвычайную восприимчивость к его внушениям, прикрытым национальной и демократической фразеологией.

„Социалистический“ империализм обнаружился в немецкой социал-демократии не впервые. Достаточно напомнить тот факт, что на интернациональном конгрессе в Штуттгарте большинство немецкой делегации — главным образом профессионалисты — голосовало против марксистской резолюции о колониальной политике. Только в свете нынешних событий этот факт, произведший тогда сенсацию, получает все свое значение. В настоящее время профессиональная печать с большей сознательностью и деловой трезвенностью, чем политическая, связывает дело немецкого рабочего класса с делом гогенцоллернской армии. Отрицать империалистические тенденции в Интернационале и их огромную роль в поведении национальных социалистических партий значит закрывать глаза на факты. Эти факты очень тревожны. Но в них же кроется залог неизбежности революционного кризиса.

Пока капитализм оставался на национальной основе, пролетариат не мог не содействовать через посредство своей парламентской, коммунальной и пр. деятельности демократизации политических отношений и развитию производительных сил. Попытки анархистов противопоставить политической борьбе социал-демократии формально-революционную агитацию обрекли их на изоляцию и вымирание. Поскольку капиталистическое государство из национального становится мировым, т.-е. империалистическим, пролетариат не может развить оппозиции империализму на основе так называемой минимальной программы, направлявшей его по-

литику в условиях национального государства. На основе борьбы за тарифные договоры и социальное законодательство пролетариат бессилен развить ту энергию против империализма, какую он развивал против феодализма. Применяя на изменившихся капиталистических основах прежние методы своей классовой борьбы— с ее непрерывным приспособлением к движению рынка — он сам попадает—материально и идейно — в зависимость от империализма. Противопоставить этому последнему свою революционную силу пролетариат может лишь *под знаменем социализма, как непосредственной задачи.* Рабочий класс оказывается тем более бессильным против империализма, чем далее его могущественные организации остаются на почве старой поссибилистской тактики; рабочий класс станет всесильным против империализма, вступив на путь социально-революционной борьбы.

Крушение Второго Интернационала есть прежде всего крушение пережившей себя тактической системы. Методы национально-парламентской оппозиции остаются не только объективно-безрезультатными, но и теряют всякую субъективную притягательность для рабочих масс пред лицом того факта, что—за спиною парламентов—империализм вооруженной рукою ставит заработную плату и самое существование рабочего все в большую зависимость от своих успехов на мировом рынке. Что переход пролетариата от поссибилизма к революции может быть вызван не агитационными понуканиями, а исключительными историческими потрясениями, это было ясно всякому мыслящему социалисту. Но что этому неизбежному перелому тактики история предпошлет такое потрясающее крушение Интернационала, этого не предвидел никто. История работает с титанической беспощадностью. Что такое для нее Реймсский собор? И что такое несколько сотен или тысяч политических репутаций? И что такое для нее жизнь и смерть сотен тысяч и миллионов? Пролетариат слишком задержался в приготовительном классе, гораздо дольше, чем думали его великие наставники, — история взяла, наконец, в руки метлу, разметала Интернационал эпигонов и вывела засидевшиеся миллионы в поле, где кровью смывает с них последние иллюзии. Страшный эксперимент! От исхода его зависит, может быть, судьба европейской культуры.

7. Революционная эпоха.

В самом конце прошлого столетия в Германии шел горячий спор вокруг вопроса о влиянии индустриализации страны на ее военную силу. Реакционно-аграрные политики и писатели, как Зеринг, Карл Баллод, Георг Ганзен и др. доказывали, что быстрый рост городского населения за счет сельского подкапывается под самые основы военной мощи государства, и делали отсюда, разумеется, патриотические выводы в духе аграрного протекционизма. Луйо Брентано и его школа отстаивали прямо-противоположную точку зрения. Они доказывали, что индустриализация хозяйства создает не только новые финансовые и материально-технические рессурсы, но и воспитывает в лице пролетариата ту живую силу, которая способна привести все новые средства обороны и нападения в действие. Уже по отношению к опыту 1870—1871 г. г. Брентано приводит авторитетные отзывы, что „полки из уроженцев по преимуществу промышленной Вестфалии принадлежат к числу лучших“, и совершенно правильно объясняет этот факт более высокой способностью рабочего ориентироваться в обстановке и приспособляться к ней.

Сейчас нет уже надобности спрашивать, кто в этом споре оказался прав. Нынешняя война показывает, что именно Германия — страна, сделавшая наибольшие успехи на пути капитализма, оказалась способной развить наивысшую военную силу. Вместе с тем эта война по отношению ко всем вовлеченным в нее странам показывает, какую колоссальную и притом квалифицированную энергию развивает пролетариат в военном действии.

Это не пассивный сплошной „героизм“ крестьянской массы, спаяной фаталистической покорностью и суевериями религии, это индивидуализированный героизм, вырастающий из внутренней активности и сознательно становящийся под знамя идеи.

Идея, под знаменем которой стоит сейчас вооруженный пролетариат, есть идея воинствующего национализма, смертельно враждебная действительным интересам пролетариата.

Господствующие классы оказались достаточно могущественны, чтобы навязать пролетариату свою идею, — и пролетариат сознательно поставил свою интеллигентность, страсть, способность к

жертвам на службу делу своих классовых врагов. В этом факте запечатлено страшное поражение социализма. Но в нем же раскрываются и возможности его окончательной победы. Невозможно сомневаться в том, что класс, способный развернуть такую выдержку и самоотверженность в войне, которую он признал „справедливой", окажется тем более способным развернуть свои качества, когда дальнейший ход событий поставит его перед задачами, действительно достойными его исторической миссии.

Эпоха пробуждения, просвещения и организации пролетариата вскрыла в нем огромные источники революционной энергии, которые в повседневной борьбе не находили себе достаточного применения. Социал-демократия не только пробуждала передовые слои пролетариата, но сдерживала их революционную энергию, придавая по необходимости своей тактике *выжидательный* характер. Реакционно-затяжной характер эпохи не позволял ставить пролетариату такие задачи, которые требовали бы его всего, целиком — всей его самоотверженности, всего героизма. Такие требования предъявил сейчас пролетариату империализм.

Он достиг своей цели тем, что выдвинул пролетариат на позиции „национальной самообороны", причем для самих рабочих это не могло не означать обороны всего того, что они создали своими руками: не только колоссальных национальных богатств, но и их собственных классовых организаций, касс, прессы,— всего, чего рабочие достигли в неутомимой и кропотливой борьбе десятилетий. Империализм насильственно выбил общество из состояния неустойчивого равновесия и, взорвав шлюзы, воздвигнутые социал-демократией пред потоком революционной энергии пролетариата, направил этот поток по *своему* пути.

Этот колоссальный исторический эксперимент, одним ударом разбивший социалистическому Интернационалу хребет, таит, однако, в себе смертельную опасность для самого буржуазного общества. Из рабочих рук выбит молот, и место молота заняло ружье. Рабочий, по рукам и по ногам связанный автоматизмом капиталистического хозяйства, сразу выбрасывается из его недр и приучается выше житейских благ и выше самой жизни ставить коллективные цели. С ружьем, которое он сам создал, в руках, рабочий ставится в такое положение, при котором непосредственная политическая судьба государства зависит от него. Те, которые в обычное время угнетали и презирали его, теперь

льстят ему и заискивают пред ним. А в то же время он приходит в интимную близость с теми самыми пушками, которые — по Лассалю—составляют одну из важнейших частей конституции. Он переступает границы, участвует в насильственных реквизициях, при его участии города переходят из рук в руки. Происходят перемены, каких не бывало на глазах живущего теперь поколения. Если передовой рабочий и знал теоретически, что *сила есть мать права,* то политическое мышление его оставалось все же насквозь проникнуто духом поссибилизма, приспособления к буржуазной закономерности. Теперь он действенно учится презирать эту закономерность и насильственно нарушать ее. В его психологии статические моменты уступают место динамическим. Мерзеры вбивают в его голову мысль, что если препятствие нельзя обойти, его можно сокрушить. Почти все взрослое мужское население проводится чрез эту страшную своим реализмом школу войны, которая формирует новый человеческий тип. Над всеми нормами буржуазного общества — с его правом, моралью и религией — воздвигается теперь кулак железной необходимости. Not kennt kein Gebot! — сказал немецкий канцлер 4 августа. — Нужда не знает закона! — Монархи выходят на площадь и языком уличных торговок обвиняют друг друга во лжи; правительства нарушают торжественно признанные обязательства, национальная церковь приковывает своего бога, как каторжника, к национальной пушке.

Разве не ясно, что эта обстановка должна породить глубочайшие перемены в психологии рабочих масс, радикально излечив их от того гипноза легализма, который отражал собою эпоху политической неподвижности? Имущие классы, к ужасу своему, должны будут вскоре убедиться в этом. Пролетариат, прошедший школу войны, неизбежно почувствует при первом серьезном препятствии внутри собственной страны потребность заговорить языком силы. Нужда не знает закона! —ответит он тем, кто попытается остановить его заветами буржуазной легальности.

А нужда, та страшная материальная нужда, которая воцарится во время войны и после ее прекращения, способна будет толкнуть массы на нарушение многих заветов. Всеобщее экономическое истощение Европы непосредственнее и острее всего отразится на пролетариате. Материальные рессурсы государства будут войной истощены, и возможность удовлетворения требо-

ваний рабочих масс окажется крайне ограниченной. Это должно будет повести к глубочайшим политическим конфликтам, которые, расширяясь и углубляясь, могут принять характер социальной революции, ход и исход которой сейчас никому, разумеется, не дано предопределить.

Но, с другой стороны, война, с ее многомиллионными армиями и адскими орудиями истребления, может истощить не только материальные рессурсы общества, но и моральные силы самого пролетариата. Эта война не имеет определенной, политически-ограниченной цели, она ни для одного из участников не является в прямом смысле ни наступательной, ни оборонительной,—она для всех участников стала взаимоистребительной. Не встречая внутренних сопротивлений, она может длиться в течение нескольких лет, с переменными успехами на обеих сторонах, до полного истощения главных участников. Вся боевая энергия международного пролетариата, которую империализм вызвал сейчас наружу своим кровавым заклинанием, может целиком уйти на страшную работу взаимоистощения и взаимоистребления. В результате вся наша культура была бы отброшена назад на ряд десятилетий.

Мир, который вырос бы не из воли пробужденных народов, а из взаимного истощения участников, был бы расширенным на всю Европу повторением бухарестского мира, которым закончилась балканская война: при помощи новых заплат он сохранил бы все противоречия, антагонизмы и несообразности, которые привели к настоящей войне. Вместе со многим другим, социалистическая работа двух человеческих поколений бесследно утонула бы в реках крови.

Какая из этих перспектив более вероятна? Это нельзя теоретически предрешить. Исход зависит от активности живых сил общества и, в первую голову,—революционной социал-демократии.

„*Немедленное прекращение войны!*“—вот лозунг, под которым социал-демократия может снова собрать свои рассеянные ряды как в партиях отдельных стран, так и во всем Интернационале. Свою волю к миру пролетариат не может ставить в зависимость от стратегических соображений генеральных штабов, он должен, наоборот, со всей решительностью противопоставить этим соображениям свою волю к миру. То, что воюющие правительства называют борьбой за национальное самосохранение,

есть на самом деле взаимное истребление. Истинная национальная самооборона заключается теперь в борьбе за мир.

Это означает для нас не только борьбу за спасение материальных и культурных благ человечества от дальнейшего безрассудного истребления, но прежде всего борьбу за сохранение революционной энергии пролетариата.

Собрать ряды пролетариев в борьбе за мир — значит противопоставить неистовствующему империализму по всему фронту силы революционного социализма. Условия, на которых может быть заключен мир, — мир самих народов, а не сделка между дипломатами,—должны быть одинаковы для всего Интернационала.

Никаких аннексий!
Никаких контрибуций!
Право каждой нации на самоопределение!
Соединенные Штаты Европы—без монархий,
без постоянных армий,
без правящих феодальных каст,
без тайной дипломатии!

Агитация за мир, которая должна вестись одновременно, всеми средствами, которыми сейчас располагает социал-демократия, а также теми, которыми она при желании могла бы овладеть, не только освободит рабочих от гипноза национализма, но вызовет, кроме того, спасительную работу внутреннего очищения в теперешних официальных партиях пролетариата. Национал-ревизионисты и социал-патриоты во Втором Интернационале, эксплуатирующие исторически завоеванное влияние социализма на рабочие массы для национально-милитаристических целей, должны быть отброшены в лагерь классовых врагов пролетариата нашей непримиримой революционной агитацией за мир.

Революционной социал-демократии меньше всего приходится бояться того, что она останется изолированной. Война ведет самую страшную агитацию против самой себя. Каждый день будет приводить под наше знамя все новые массы, если оно будет [честным знаменем мира и демократии. Под лозунгом мира революционная социал-демократия вернее всего изолирует воинствующую реакцию в Европе и заставит ее перейти в наступление.

* *
*

У нас, революционных марксистов, нет никáких оснований отчаиваться. *Эпоха, в которую мы вступаем, будет нашей эпохой.* Марксизм не побежден. Наоборот: рев пушек во всех концах Европы возвещает не только крах исторических организаций пролетариата, но и теоретическую победу марксизма. Что остается теперь от надежд на „мирное" развитие, на притупление капиталистических противоречий, на планомерное врастание в социализм? Принципиальные реформисты, которые надеялись разрешить социальный вопрос путем тарифных договоров, потребительных обществ и парламентского сотрудничества социал-демократии с буржуазными партиями, теперь все свои надежды переносят на победу „национального" оружия. Они ожидают, что имущие классы охотнее пойдут навстречу нуждам пролетариата, доказавшего свой патриотизм. Эта надежда была бы совершенно тупоумной, если бы под ней не скрывалась другая, менее „идеалистическая" надежда — на то, что победа оружия создаст для национальной буржуазии более широкую империалистическую базу обогащения, за счет буржуазии других стран, и позволит ей делиться частью своей добычи с национальным пролетариатом—за счет пролетариата других стран. *Социалистический реформизм фактически превратился в социалистический империализм.* На наших глазах произошла сокрушительная ликвидация надежд на мирный рост благосостояния пролетариата; выход из реформистского тупика реформисты принуждены, наперекор своей доктрине, искать в силе—но не в революционной силе народов против правящих классов, а в военной силе своих правящих классов против других народов.

Немецкая буржуазия после 1848 г. отказалась разрешать свои вопросы методами революции. Она поручила своим феодалам разрешать вопросы буржуазного развития методами войны. Общественный процесс последнего полустолетия, исчерпав национальную основу капиталистического развития, поставил немецкий пролетариат перед проблемой революции. Уклоняясь от революции, реформисты вынуждены воспроизвести на себе историческое падение буржуазного либерализма: они поручают своим правящим классам, т.-е. все тем же феодалам, разрешать пролетарский вопрос методами войны. Но на этом историческая аналогия кончается. Создание национальных государств действительно разрешило буржуазный вопрос для целой эпохи; а длинный ряд

колониальных войн после 1871 г. „дополнял“ это решение, расширяя арену развития капиталистических сил. Эпоха *колониальных* войн, ведшихся национальными государствами, привела к нынешней войне национальных государств — из-за *колоний*. После того как отсталые части света оказались поделенными между капиталистическими государствами, этим последним не остается ничего другого, как вырывать колонии друг у друга. „Пусть наконец перестанут говорить,—заявляет уже слышанный нами Георг Ирмер,—что немецкий народ слишком поздно вступил в мировую борьбу из-за мирового хозяйства и мирового могущества, что мир уже поделен. Разве во все эпохи истории земля не переделялась каждый раз заново?“ Но новый передел колоний между капиталистическими странами не расширяет базы капиталистического развития, а только перекраивает ее: выигрыш на одной стороне означает такую же утрату на другой. Временное притупление классовых противоречий в Германии могло бы быть, следовательно, достигнуто в результате этой войны только путем крайнего обострения классовой борьбы во Франции и в Англии— и наоборот.

К этому присоединяется еще один фактор решающего значения: *капиталистическое пробуждение самих колоний, которому настоящая война даст могущественный толчок*. Дезорганизация мирового хозяйства означает революцию колониального хозяйства, смысл которой состоит в том, что колонии утрачивают свой колониальный характер. Каков бы ни был, следовательно, военный исход настоящей свалки, империалистическая база под европейским капитализмом не расширится в результате ее, а сузится. Война не только не „разрешает“ рабочего вопроса на империалистическом фундаменте, наоборот, она обостряет этот вопрос, ставя капиталистический мир перед двумя возможностями: *перманентная война*, из-за сужающегося империалистического фундамента, или—*революция пролетариата*.

Если война переросла через голову Второго Интернационала, то уже ближайшие последствия ее перерастут через голову всего буржуазного мира. Мы, революционные социалисты, не хотели войны. *Но мы и не пугаемся ее.* Мы не впадаем в отчаяние перед тем фактом, что война разбила Интернационал, старую идейно-организационную форму, изношенную историей. Революционная эпоха создаст из неисчерпаемых источников пролетар-

ского социализма новую организационную форму, отвечающую величию новых задач. К этой работе мы приступили сейчас, под бешеный лай мерзеров, треск старых соборов и патриотический вой капиталистических шакалов. В этой адской музыке смерти мы сохраняем ясную мысль, незатемненный взор и чувствуем себя единственной творческой силой будущего. Нас уже сейчас много, гораздо больше, чем кажется. Завтра нас будет несравненно больше, чем сегодня. После завтра под наше знамя встанут миллионы, которым и теперь, через 67 лет после выхода „Коммунистического Манифеста", нечего терять, кроме своих цепей.

IV. Война в политике.

Переезд во Францию.—Париж.—Вивиани.—Жоффр.—Бриан.—Клемансо.

19 ноября (1914 г.) я переехал границу Франции. Сестры Красного Креста подходили к дверям вагонов с кружками для сборов. У всех было такое настроение, что война закончится никак не позже весны, хотя никто не мог бы сказать, почему: просто человечество еще не успело привыкнуть к войне, как к нормальному состоянию.

Париж был печален, отели стояли пустыми, еще далеко не все вернулись из числа тех, кто бежал в августе из Парижа; улицы по вечерам погружались во тьму, кафэ запирались к 8 часам вечера. „Чем объясняется эта последняя мера?“ спрашивал я у сведущих людей.—„Очень просто: генерал Гальени, губернатор Парижа, не хочет, чтобы публика скоплялась. В такую эпоху кафэ легко могут стать по вечерам очагом критики и недовольства для рабочего населения, которое занято в течение дня“.

Всюду было много женщин в черном. В первую эпоху еще свежего торжественно-патриотического настроения траур носили не только матери и жены, но и наиболее отдаленные родственницы. Дети всюду играли в войну, и многих матери одевали в военную форму. Выздоравливающие раненые со свежими крестами на груди бродили по улицам. С ними почтительно и как-то заискивающе заговаривали патриотические и довольно крепкие старички с ленточками Почетного Легиона в петлице. Их много ходит по Парижу, этих несгибаемых сторонников „войны до конца“, которые в 1870 г. были слишком молоды для участия в войне, а теперь уж слишком стары...

Временами налетали цеппелины. Помню, раз в декабре (1914) я возвращался ночью по полутемным улицам домой. С одной стороны, потом с другой раздались трубные звуки, до последней степени тревожные... Забегали темные силуэты, и немногие уличные фонари, прикрытые сверху щитами, стали

потухать один за другим. Через несколько минут воцарилась на улице абсолютная тьма — и ни одной человеческой души. Я все еще не понимал, в чем дело, хотя чувствовал, что творится что-то неладное... Раздался глухой гром, потом другой — ближе, потом третий—опять дальше... Стало ясно, что стреляют: снизу или сверху? То-есть пушки ли палят, пугая невидимые цеппелины, или же воздушные корсары бросают вниз разрывные снаряды?

Потом оказалось, что и то и другое. Долго бродил я так по темным улицам. Через полчаса приблизительно забегали по небу лучи прожектора с Эйфелевой башни... В отеле у себя я застал необычную картину: все жильцы сидели на ступенях винтовой лестницы при стеариновых свечах и читали, разговаривали или играли в карты. Зажигать в комнатах электричество было строго запрещено. Из окна пятого этажа смутно чувствовался притаившийся внизу город.

Раза два еще раздавались отдаленные взрывы. Прожекторы обыскивали небо беспрерывно. Уже под утро прозвучали снова трубные звуки, на этот раз бурные и жизнерадостные: враг бежал, можно снова зажигать свет, и те немногие, что забрались в подвалы, могут безнаказанно вернуться в свои этажи. На другое утро газеты сообщили, в каких частях города разрушены дома, и сколько было при этом человеческих жертв.

Во главе французского правительства стоял в начале войны достаточно безличный фразер Вивиани, бывший социалист и ученик Жореса. Вообще, французская буржуазия охотно доверяет ныне вчерашним социалистам наиболее ответственные посты. Французские радикалы, главная партия республики, отличаются в большинстве своем слишком узким и провинциально-мелкобуржуазным кругозором, чтобы руководить в трудных условиях делами французской биржи. Адвокат, который прошел социалистическую школу и знает, на каком языке надо говорить с рабочими массами, гораздо сподручнее для нынешней сложной политики,—разумеется, при условии, если этот адвокат готов за подходящую цену продать капиталу свою так называемую совесть. Другой бывший социалист, Бриан, некогда апостол всеобщей стачки, занимал в министерстве Вивиани пост министра юстиции. Бриан с нескрываемой иронией относился к своему премьеру, критиковал в кулуарах парламента реакционные повадки Вивиани и вообще не спеша подготовлял падение своего друга и шефа...

Авторитет Жоффра стоял в это время — после марнской битвы, остановившей наступление немцев—на самой высшей точке; вся пресса говорила о нем не иначе, как коленопреклоненно и с бонапартистским презрением писала о республиканском парламенте, как о ни на что не пригодном собрании болтунов. В реакционном подполье шла деятельная подготовка государственного переворота. С главным органом Франции, „Temps", велись на этот счет переговоры, сведения о которых переходили из уст в уста. Словом, бонапартистский переворот висел, казалось, в воздухе. Но... для того, чтобы сделать рагу из зайца, нужно — по французской пословице—иметь зайца... А его-то именно и не было... Для бонапартистского переворота не хватало Бонапарта.

Во всяком случае, „папаша Жоффр" меньше всего подходил для этой роли. Его осторожность, выжидательный характер, отсутствие всякого размаха мысли делают его прямой противоположностью величайшему гению французской военной традиции, Наполеону. Жоффр в области стратегии как нельзя точнее передает характер той консервативной и ограниченной французской мелкой буржуазии, которая боится всякого „рискованного" шага. После битвы на Марне (заслугу ее многие приписывают не Жоффру, а Гальени) военный авторитет генералиссимуса шел постепенно— сперва медленно, а затем все скорее—на убыль. Никакого другого „орла" ему на смену французская армия не выдвигала. Новых побед и новой славы не было. Шансы военного переворота естественно падали.

Вообще „орлов" в политической жизни Франции сейчас не видать. Наоборот: никогда, может быть, посредственность не царила в третьей республике так неограниченно, как в это трагическое время. Самый большой человек, какого смогла выдвинуть французская буржуазия на руководящий пост, это Аристид Бриан. Без какой бы то ни было руководящей „государственной" идеи, без самых необходимых политических и нравственных правил, великий мастер закулисных комбинаций, торговец полумертвыми душами французского парламента, сеятель подкупа и разврата, чаровательница с манерами политической кокотки, Аристид Бриан по всей своей фигуре является наиболее ярким издевательством над „великой", „национальной", „освободительной" войной.

Самым опасным противником Бриана остается старый низвергатель министров, „тигр" французского радикализма, семи-

десятипятилетний Клемансо... Главной силой его публицистического таланта является злость. Клемансо слишком хорошо знает все закулисные пружины французской политики, чтобы питать на ее счет какие бы то ни было идеалистические иллюзии. Он слишком зол, чтобы оставлять нетронутыми эти иллюзии у других. Больше, чем кто бы то ни было, Клемансо сделал за время бойни для сокрушения дутых авторитетов национальной войны: президента республики Пуанкаре, главнокомандующего Жоффра и главы министерства Бриана. Но и сам Клемансо, обломок якобинизма в эпоху диктатуры финансового капитала, лишен какого бы то ни было творческого плана, он требует удесятеренной энергии для доведения войны до конца.

После того как были написаны предшествующие строки, падение Бриана стало давно совершившимся фактом. Клемансо был сперва обойден. Во главе министерства поставлен старик Рибо, слегка „полевевший" консерватор без определенной физиономии в вопросах войны. Министерство Рибо было бесцветно-выжидательным министерством. Рибо сменил Пенлеве, ученый физик, политический диллетант, главный рессурс которого состоял в неизрасходованной репутации. На смену Пенлеве пришел, наконец, Клемансо. Его министерство возникло, как выражение политического отчаяния. Оно стало, правда впоследствии, министерством победы. Но... история еще не сказала последнего слова.

Империализм и национальная идея.

Для мещанских идеологов в настоящей войне борются два „начала": принцип национального права и принцип насилия, Добро и Зло, Ормузд и Ариман. Перед нами, материалистами, война выступает в своей империалистической сущности, в основном стремлении всех капиталистических государств к расширению и захвату. Где линия капиталистической экспансии совпадает с линией национального объединения, там империалистский Ариман охотно опирается на национального Ормузда, нисколько не переставая от этого быть самим собой.

Сербский министр-президент отвечал на-днях в скупщине на им же заказанную интерпелляцию по поводу итальянских

видов на Далмацию, идущих вразрез с национальной идеей велико-сербского объединения. Пашич выразил свою условную дипломатическую надежду на то, что новая Италия, воссозданная под знаменем национальной идеи, не захочет наносить удар национальной идее младшей славянской сестры, тем более, — прибавил бывший бакунист, заправляющий ныне судьбами Сербии, — что итальянская „социальная наука" целиком построена на фундаменте национального принципа. По весьма незамысловатым причинам Пашич воздержался от расследования вопроса о том, какую именно национальную идею проводила итальянская наука в союзе с итальянской артиллерией в итало-турецкой войне за Триполитанию. Один его намек на это немедленно пробудил бы воспоминание о том, как сами сербы по трупам албанских племен устремлялись к Адриатике, а главное, вызвал бы призрак Македонии, где сербская обработка „сырого" болгарского материала и сейчас совершается не иначе, как мерами военного террора.

Болгарская национальность и ее идея, дополнявшаяся, в свою очередь, устремлением в сторону отнюдь не болгарской Фракии, явилась во второй балканской войне разменной монетой во взаимных счетах трех союзников: Румынии, Сербии и Греции. В эпоху захвата румынской армией чисто-болгарского четырехугольника в Добрудже, румынская пресса задыхалась от энтузиазма по поводу „освободительной" войны. Силистрия изображалась на всех открытках в виде женщины в трауре с ядром на ногах, нетерпеливо ждущей румына-освободителя. Людям, которые вблизи наблюдали тогда балканские события, должно было казаться, что воспроизведение такого рода грубой и глупой ярмарочной фальши на обще-европейской сцене невозможно, — если не по моральным мотивам, то по причине более высокого литературного вкуса Западной Европы. Оказалось, однако, что литературный вкус есть первая жертва, которую буржуазная нация приносит во время войны на алтарь своих классовых интересов...

Требующая Трентина и Триеста, во имя национальной идеи, Италия протягивает руку к Далмации, грозя попрать национальную идею юго-славянства. Франция требует во имя национальной идеи возвращения Эльзас-Лотарингии, которая была захвачена Германией, ведшей в 1870 г. войну также под знаменем национального единства, и в то же время французские патриоты

требуют левого берега Рейна и, как основательно опасаются патриоты сербские, склонны славянской Далмацией расплатиться с латинской сестрой за ее великодушную помощь.

Претензии на рейнские провинции, как и план расчленения Германии, слишком очевидно противоречат тому национально-освободительному принципу, в силу которого Эрве собирается, при помощи все той же пушки „75“, отдавать Шлезвиг—Дании, восстановлять Польшу, Трансильванию сочетать с Румынией, а рассеянных евреев собрать под сенью палестинских кущ. — Противоречие несомненное, — соглашается умеренный французский империалист, историк Брио. „Но не нужно выдвигать вперед, как бесспорную аксиому, принцип национальностей, который причинил уже нам столько вреда в пользу Германии и Италии“. Несравненно решительнее и точнее высказывается немецкий империалист Артур Дикс, когда говорит, что руководящим началом XX века является империалистическая идея, как национальная господствовала в XIX столетии.

Империализм представляет капиталистически-хищное выражение *прогрессивной* тенденции экономического развития: построить человеческое хозяйство в мировых размерах, освободив его от стесняющих оков нации и государства. Голая национальная идея, противостоящая империализму, не только бессильна, но и *реакционна*: она тащит человеческое хозяйство назад, в пеленки национальной ограниченности. Ее плачевная политическая миссия, обусловленная ее бессилием — создавать идеологическое прикрытие для работы мясников империализма.

Разрушая самые основы хозяйства, нынешняя империалистическая война, которую освещают и дополняют духовное убожество или шарлатанство национальной идеи, является самым убедительным выражением того тупика, в какой зашло развитие буржуазного общества. Только социализм, который должен экономически нейтрализовать нацию, объединив человечество в солидарном сотрудничестве; который освобождает мировое хозяйство от национальных тисков, освобождая тем самым национальную культуру от тисков экономической конкуренции наций, — только социализм дает выход из противоречия, вскрывшегося перед нами, как страшная угроза всей человеческой культуре.

„Наше Слово“, 6 мая 1915 г.

На Балканах.

I.

Свалка европейских военных сил, без решающего перевеса в ту или другую сторону, находит свое отражение на Балканах в виде небывалого даже для этого видавшего виды полуострова хаоса вожделений, планов, замыслов и интриг.

В то время, как и в великих капиталистических державах, буржуазные партии, как бы резко они ни противостояли друг другу во внутренних делах, считают делом классовой чести согласие и преемственность в вопросах международной политики,— с маленькими, изолированными и всегда зависимыми балканскими государствами дело обстоит как раз наоборот. Тамошние буржуазные партии почти совершенно не отличаются друг от друга во внутренней политике. Необходимость выбираться из своей экономической и, прежде всего, военной отсталости под прессом европейского капитала, навязывает всем балканским партиям у власти одну и ту же незамысловатую политику: займы, повышение налогов, постройка железных дорог, развитие милитаризма, повышение налогов, займы. Зато во внешней политике правящие партии на Балканах резко разделяются на две группы — в зависимости от того, с какой из двух главных соперниц на Балканах, Россией или Австрией, или двух главных европейских группировок, они готовы в большей или меньшей степени соединить свою судьбу.

Обманутая в 1879 г. Россией Румыния шла до войны преимущественно в орбите Австрии и Германии. Придавленная Австро-Венгрией Сербия тяготела к достаточно удаленной от нее и потому менее опасной России. Наконец, равно удаленная от России и Австрии Болгария вела политику лавирования между ними обеими, выдвигая поочередно то руссофильские, то австрофильские партии на правительственный пост. Война оставила в действии прежние силы притягивания и отталкивания, но подкопала и те жалкие элементы устойчивости, которые еще можно было нащупать в балканской политике в эпоху вооруженного мира среди великих держав. Вопрос о выборе „международного“ пути принимает сейчас в каждой из Балканских стран форму

вопроса, какой из политических атаманов захватит в этих условиях неопределенности и азарта политическую власть.

Оттого европейские кабинеты сейчас так интересуются — и отнюдь не платонически только проявляют этот свой интерес — каждым лишним голосом за Венизелоса — внутренней борьбой, которую румынские консерваторы ведут против румынских либералов, и вопросом о том, попадет ли Геннадиев в министры-президенты или на каторгу. Неизбежный г. Эрве грозит болгарам окончательно разочароваться в них, если они новообращенному другу четверного согласия нашьют бубновый туз на спину, а г. Клемансо слагает время от времени оды в честь „великого европейца" Таке Ионеску, стоящего во главе партии социальных отбросов и полуголодных кандидатов в государственные хищники.

Вмешательство Италии в войну склонило в Болгарии весы в пользу союзников — в соответствии росту шансов на победу четверного согласия. Не говоря уж о старых руссофильских партиях, с самого начала войны толкающих Болгарию ко вмешательству, и в части традиционных руссофобов, стамбуловцев, обнаружилась тенденция вступить в переговоры с четверным согласием. Бывший вождь стамбуловцев, упомянутый Геннадиев, в 24 часа превратился из агента Австрии в друга России: надо полагать, что ему были предъявлены достаточно убедительные аргументы. По плану, казавшемуся уже близким к осуществлению, Болгария— l'Etat du déstin — должна была открыть России путь в Константинополь и за это получить Адрианополь и часть Македонии. Но сдача Пржемысля и Лемберга сильно остудила „четверной" энтузиазм и снова упрочила шансы палочника-Радославова, правительство которого намерено сохранять нейтралитет — ровно до того момента, когда разгром Сербии даст ему возможность с минимальным риском вступить в Македонию. Во всяком случае, надежды на присоединение Болгарии к союзникам должны в данный момент считаться потерпевшими полное крушение.

Русские поражения, далее, не только сделали проблематическим ожидавшееся вмешательство Румынии, но и позволили Австрии предъявить бухарестскому правительству требование дать в месячный срок ответ, с какою из двух группировок она намерена держаться. Месячный срок может, впрочем, оказаться слишком кратким для „великих европейцев" Румынии, чтобы

выяснить, кто окажется победителем и с кем поэтому можно итти наверняка, или с кем *нельзя* не итти.

В то время как русские неудачи совершенно парализовали в Болгарии и Румынии эффект итальянского вмешательства, военные результаты которого сказываются к тому же крайне медленно, само это вмешательство создало чрезвычайные затруднения на западной половине Балканского полуострова. Опасаясь, что Италия, завладев Истрией и Далмацией, наложит на сербов свою руку, Сербия и Черногория, почти совершенно прекратив военные операции против Австрии, направили свои силы против Албании: для того ли, чтоб непосредственно вознаградить себя за ее счет, или для того, чтоб иметь возможность обменять ее на Далмацию — во всяком случае в полном противоречии с общими планами своих „великих" союзников, по крайней мере, западных.

В этой адской игре, где сшибаются лбами все национальные программы, классовые эгоизмы, династические интересы и происки клик, снова подвергается испытанию и выдерживает его программа единственной партии будущего, балканской социал-демократии—программа, опирающаяся не на быстро преходящие комбинации дипломатических и военных сил, а на тенденции всего экономического развития.

II.

Трудно представить себе, на самом деле, картину более безобразную, чем трусливо-похотливая политика балканских правительств, которые заглядывают в глаза великим державам, со страхом быть обманутыми и с намерением обмануть, и подозрительно озираются друг на друга, неспособные на прочную коалицию, но всегда готовые на предательство. Более безобразной является, пожалуй, только балканская политика великих держав, которые покупают и выменивают союзников, как цыгане на ярмарке лошадей.

Клемансо с чрезвычайным презрением говорит о балканских народах, которые „сами не знают, чего хотят". Это и верно и неверно. Балканские народы больше всего хотят, несомненно, чтоб г. Клемансо, его друзья, а также и его враги оставили их в покое. Но они действительно не знают, как этого достигнуть. Чем больше,

однако, мировая война вскрывает всю невозможность балканской государственной неурядицы, тем больше она должна расчищать путь для единственной программы национального и государственного сожительства балканских народов.

На вопрос, может ли Болгария связать свою судьбу с четверным согласием, теоретический орган болгарской социал-демократии „Ново Време", отвечает отрицательно. Главная задача России — Константинополь и проливы. Англия и Франция заинтересованы сейчас — не политически, а стратегически — в том, чтоб в кратчайший срок открыть России выход в Средиземное море: иначе зимою, когда снова закроется Архангельский порт, Россия будет совершенно отрезана от своих западных союзников. Руками болгар Россия возьмет Константинополь с примыкающей к нему областью, а для защиты этой последней ей завтра понадобится Адрианополь, ключ к Константинополю. Россия, в качестве хозяйки на черноморском побережье и в Мраморном море, — так рассуждает болгарский с.-д. орган, — означает неминуемую гибель национальной независимости Болгарии и Румынии. Торжество четверного согласия означает, с другой стороны, упрочение Италии на побережье Адриатики, где она займет место Австрии. Балканские государства, разъедаемые соперничеством, окажутся так безнадежно стиснутыми между Россией и Италией, что им придется с завистью вспоминать о старой до-освободительной эпохе.

Не менее отрицательный ответ дает, разумеется, болгарская с.-д. и на вопрос о союзе с центральными империями. Их победа означала бы фактическое замещение слабой Турции могущественной Германией и поглощение Сербии Австро-Венгрией. Болгария, ныне отделенная от великих держав, окажется сдавленной их тисками. Самостоятельному существованию балканских народов придет конец.

Именно здесь, на Балканах, где наиболее обнаженный характер имеет велико-и мало-державная политика, где национальные и империалистические проблемы сплелись в чудовищный клубок, здесь, в наиболее обнаженном виде, выступают и противоречия политики социал-национализма. Какой из ее двух принципов ни взять: защиту ли отечества или поиски наименьшего международного зла — положение получается одинаково безвыходным. Как защищать здесь отечество: с Россией, которая пожрет? С Германией, которая проглотит? Путем ли трусливого неустойчивого

нейтралитета, из которого события и аппетиты правящих могут выбить каждый день? Какую из возможных линий правительственной политики поддерживать социал-демократии? Именно потому, что все вопросы мировой политики стоят перед балканской социал-демократией в таком обнаженном виде, для каждой из секций балканского Интернационала лозунг „защиты отечества" уже на заре их существования был отстранен и заменен лозунгом преодоления ограниченности и завистливой изолированности этих тесных и немощных отечеств — путем введения их в более широкую и жизнеспособную общность, балканскую республиканскую федерацию.

Борясь против вмешательства Болгарии и Румынии в войну на стороне той или другой комбинации, болгарская и румынская секции балканского интернационала отнюдь не стоят, вместе с тем, за косную правительственную политику „нейтралитета", выжидательного бессилия. Вместе с мужественной сербской партией они отстаивают принципы революционной политики, ведущей к союзу всех балканских народов.

Пусть сейчас, в кровавом чаду, эта программа сохраняет преимущественно пропагандистский характер — в революционную эпоху она может тем скорее облечься в плоть и кровь, чем быстрее сейчас изнашиваются все другие программы и иллюзии и чем глубже социал-демократия закрепляет авторитет своего политического и нравственного мужества в сознании балканских народных масс.

„Н. С.", 18 — 20 июля 1915 г.

Военные тайны и политические мистерии.

Если война есть продолжение политики, — только другими средствами,—то внутренняя политика европейских стран является сейчас только отражением судеб войны. Когда началось катастрофическое отступление русских армий из Галиции, не только на бюрократическом экране Петрограда замелькали „либеральные" китайские тени, но и в кулуарах французского парламента обнаружились тревожные движения, предвещавшие министерский кризис. Немцы тогда впервые с такою убедительностью обнаружили

свой огромный перевес в области снабжения армии боевыми припасами. Впереди стала вырисовываться вероятность второй зимней кампании, по поводу которой у широких масс населения имеются свои очень определенные чувства. Ответственность за затяжку войны возлагалась на тех, которые не подготовили достаточного количества пушек и снарядов: в России скандальная отставка Сухомлинова открыла серию министерских перемещений, во Франции парламентская и газетная критика, отражавшая общее чувство жути перед новой зимовкой в траншеях, сосредоточилась на Мильеране; ожидали, что министерский кризис начнется именно с него. Но до кризиса не дошло. Социалистическая партия, относительно которой могли быть опасения, что именно она даст политическое выражение тревоге народных масс по поводу зимней кампании, оказалась тогда наиболее правительственной партией парламента. На партийной конференции 14 июля оппозиция в партии дала себя, как известно, связать по рукам и по ногам теми самыми соображениями, которыми социалистическая партия в целом связала себя в парламенте и в стране. Призрак министерского кризиса был устранен посредством расчленения военного министерства на отдельные под-министерства, во главе которых были поставлены „ответственные" политические деятели. Так как больше всего тревоги вызвал недостаток боевых припасов, то во главе министерства амуниции поставлен был социалист Альбер Тома. Отныне социалистическая партия брала на себя ответственность не только за общую политику министерства, „контроль" над которой осуществлялся через Гэда и Самба, но и за военно-техническое обслуживание армии. Этого нового политического равновесия хватило на несколько месяцев. Конец ему положили два факта: французское наступление в Шампани и вмешательство Болгарии в войну.

Битва в Шампани была успешна, но именно ее относительная успешность ярко обнаружила правду о положении на западном фронте. Несмотря на долгую и тщательную подготовку и обилие снарядов — их выбросили за эти дни несколько миллионов, — несмотря на давно невиданный на этом фронте прыжок в два-три и четыре километра, немецкая линия осталась непрорванной... [1]).

[1]) Это показывает, с другой стороны, что и у немцев нет никаких шансов прорвать французский фронт—в сторону Калэ или Парижа.

Зимняя кампания, о которой думали раньше, как о страшной возможности, стала теперь для сознания народных масс незыблемой реальностью.

Одновременно пришел неожиданный и тем более жестокий удар из Софии. Французские газеты по этому поводу ругали цензуру, которая-де скрывала от населения правду о положении дел на Балканах. Не чувствуя никакого призвания защищать так называемую „военную" цензуру, мы должны, однако, сказать, что ей приходилось не так уж много скрывать: в механику „национального объединения" входит, между прочим, и круговое обязательство партий и прессы закрывать глаза на опасности, отказываться от критики и поддерживать иллюзии. Наиболее полно эти обязательства выполняла социалистическая партия.

Военные неудачи союзников на разных фронтах сводятся к одной и той же первооснове: к капиталистическому перевесу Германии. Дипломатические успехи этой последней имеют в конце-концов ту же причину: производительность крупповских заводов и провозоспособность немецких железных дорог возмещают с избытком „недостаток психологии" у германских дипломатов, о котором так много говорила союзная печать. Остальное делала необузданность аппетитов царской дипломатии. Об этом вопросе французская печать писала много в последние дни. Ультимативные претензии России на Константинополь и проливы, после того, как перед этими претензиями капитулировали Англия и Франция, создали для союзной дипломатии безнадежное положение на Балканах. „Мы держали себя по отношению к русской дипломатии, как мальчишки", — жалуется Эрве, который первым во французской прессе потребовал турецкой столицы для русского царя. В жертву „общественному мнению" был принесен на этот раз министр иностранных дел г. Делькассе, наиболее ярко воплощающий „русское" начало в международной политике республики. Но отставка министра не меняет положения. Успех в Шампани остался без продолжения. Болгария выдвинула полумиллионную армию на стороне Австрии и Германии. Греция отказалась поддерживать Сербию и дала своему министерству германофильский уклон. Румыния дальше от вмешательства, чем когда бы то ни было. 300.000 австро-германских солдат вступают в Сербию.

Французская пресса забила тревогу. Даже „Humanité" вышла из полудремоты, в которую ее погружает „национальное едине-

ние", избавляющее от необходимости критически шевелить мозгами.—„Что предполагают делать союзники? Что это за англо-французский десант в Салониках? Каковы его размеры? Не будет ли он стерт в порошок между германскими и болгарскими жерновами? Почему молчит Россия? Италия? Есть ли вообще у союзных правительств на Балканах какой-либо военный план и соразмерены ли с ним военные силы? Не идем ли мы навстречу новой катастрофе?"

Министр-президент дал „объяснения", которые, по ядовитому замечанию Клемансо, опровергают убеждение древних, будто природа боится пустоты. Несколько общих мест и—ссылка на „военные тайны" и „тайны союзников".

Тщетно Ренодель, от имени социалистов, требовал для тайн—тайного заседания парламента. В этом было отказано. Тайны должны храниться за министерскими замками. Разве для социалистов недостаточно, что они „контролируют" политику правительства через трех министров? От имени министерства, в том числе Гэда, Самба и Тома, министр-президент потребовал отклонения предложения социалистов. Это было исполнено против 190 голосов. В ответ на критику и вопросы, Вивиани потребовал от палаты доверия—без объяснений и условий. Те, которые критиковали, не могли не видеть, что на месте Вивиани они поступили бы так же, т.-е. охраняли бы от республиканского контроля русские, английские, итальянские и собственные военные и дипломатические тайны: капиталистический милитаризм выше обрядностей народного суверенитета. И—без доверия в душе—они решили, по словам реакционного „Eclair", голосовать правительству „слепое доверие".

Но на этом политическая мистерия не кончается. В парламенте нашлось полтораста „левых" депутатов, в том числе большинство социалистической фракции, которые, воздержавшись при голосовании, отказали в доверии министерству. Девять депутатов, в том числе шесть социалистов (Раффен-Дюжанс, Майерас, Жобер и др.), голосовали против [1]). Ренодель заявил, что его друзья

---

[1]) Полтора десятка социалистических преторианцев голосовали за доверие, в том числе, разумеется, Самба, Гэд, Тома и несколько видных гэдистов (Бракк и др.). Таким образом, социалистическая фракция при этом голосовании разбилась на три части.

не могут слепо санкционировать авантюру, от которой, может быть, зависит судьба Франции. Уже по лидеру этой оппозиции совершенно ясно, что она лишена принципиальной социалистической основы. Но самая потребность увеличить хоть слегка дистанцию между собой и министерством—хотя бы на общей почве „национальной обороны"—представляет собою новый факт, который, как намекнул сам Ренодель, вызван давлением снизу. И можно не сомневаться, что это давление было очень значительно, если сдвинуло с места людей, как Ренодель.

Итак, подавляющее большинство социалистической фракции отказало в доверии министерству, в котором заседают Гэд, Самба и Тома. Что же: социалистические министры вышли в отставку? Ничего подобного. Министры, как и фракция, стоят на точке зрения национального единения и „борьбы до конца". В этих условиях, как разъяснила на-днях радикальная газета, заложники пролетариата необходимы в министерстве. Если б там заседал Ренодель, он бы тоже требовал отклонения предложения социалистов о тайном заседании. И если б Самба сидел на скамьях социалистической фракции, он вынужден был бы отказать сейчас в доверии министерству с участием Реноделя. Это — не принципиальное противоречие, а лишь разделение труда в мануфактуре „национального единения".

Но это разделение труда, как мы видели, не добровольно, и у него есть своя опасная логика. Уже несколько социалистов открыто голосовали против министерства с участием Гэда, Самба и Тома. Правда, и эти еще не нащупали никакой принципиальной почвы под ногами, но они наносят тем не менее жестокий удар официальной позиции, которая ведет свое летосчисление от 4 августа. Их действие пробуждает потребность в другой позиции. Волна, под давлением которой действовала фракция, не ослабеет, наоборот—будет усиливаться с каждым днем. Она перекатится через голову Реноделей и поднимет на гребне своем других людей.

„Н. С.", 17 октября 1915 г.

Галльени.

В министерстве войны главное место естественно занимает министр войны: до сих пор это был Мильеран, сейчас — генерал Галльени.

Нового военного министра не раз называли в связи с вопросом о главном командовании французской армии. Галльени является бесспорно одним из самых образованных генералов республики. Пресса не раз воздавала хвалы его талантам организатора и администратора. Свою военную школу генерал Галльени проходил в Африке и Азии, как и большинство французских и английских офицеров старшего поколения.

После утраты двух провинций по Франкфуртскому миру Франция очень деятельно начала искать утешения в национальном трауре на пути колониальных захватов. Под тропиками для каждого молодого офицера открывался кратчайший путь к успехам. В конце 70-х годов Галльени действовал в Земле Единения и в Сенегалии и приобщал долину Нигера к благам капиталистической культуры. В 1886 году Галльени пришлось умиротворять Седан. Он разбивает непокорного владыку Махмаду, голову которого гонцы доставляют одному из офицеров французского отряда. В результате комбинации „поощрений" с беспощадными военными мерами, Галльени присоединил здесь более 900.000 кв. километров территорий с 2.600.000 населения. Будущий военный министр является фактическим создателем Суданской империи Франции. Он применял так называемую систему „масляного пятна", фактически созданную англичанами: из укрепленного центра отряды экспедиции направлялись по радиусам, завладевали новыми областями и поселениями, укреплялись, привлекали одних, терроризовали других, создавали импровизированную администрацию и двигались по радиусам дальше.

Особенно крупную роль сыграл Галльени в качестве умиротворителя Мадагаскара, — на территории, превосходящей своими размерами Францию. Его биограф рассказывает о нем, в связи с этой экспедицией, анекдот, не лишенный сейчас интереса злободневности. Министр колоний вручил Галльени, как начальнику мадагаскарской экспедиции, письменные инструкции. „Я надеюсь,

ваше превосходительство, никогда не заглядывать в эти бумаги", сказал ему с почтительной иронией Галльени. Опешившему министру пришлось ответить: „и отлично сделаете". Действительно. Галльени не только казнил двух мятежных министров Мадагаскара, но и, наперекор опасениям правительственных „пекэнов" (штатских, шпаков) Парижа, объявил низложенной королеву и сослал ее в Землю Единения.

„Echo de Paris" сообщает сегодня, что некоторые парламентские группы делали Бриану представления на счет неудобства постановки во главе военных сил республики не ответственного политического деятеля, а военного, генерала. Действительно, с самого начала кризиса имя генерала Галльени не называлось, насколько мы знаем, в разных министерских комбинациях. Только в „Action Française" мы встретили три дня тому назад пожелание, чтобы во главе военной организации Франции был поставлен энергичный генерал. В свою очередь Гюстав Эрве, ныне уже приплясывающий за новой колесницей с сознанием того плутовато-государственного превосходства, которое составляет его подлинную натуру, издевается над опасениями демократических элементов на счет судеб республики. По его разъяснениям никаких опасностей ничему и ниоткуда не грозит, и французские граждане могут спать совершенно спокойно. Что и требовалось доказать.

„Н. С.", 30 октября 1915 года.

Сущность кризиса.

Причина французского политического кризиса, как мы уже подчеркивали, обща с политическим кризисом в России и с министерскими затруднениями в Англии: это военное и дипломатическое положение союзников. Но тут дело идет только о непосредственных причинах кризиса. В каждой стране этот кризис находит, однако, свое особое выражение, в соответствии с политическими и социальными условиями страны. В нынешнем министерском или, как говорят иные газеты, правительственном кризисе Франции нашло свое выражение то основное противоречие, в каком оказалось не только министерство Вивиани, первое и второе

с начала войны, но и весь вообще французский радикализм в нынешнюю империалистическую эпоху.

Радикальные группировки, получившие после дела Дрейфуса господствующее положение во французской политической жизни, опираются на городскую и сельскую мелкую буржуазию. Между тем империалистические интересы, являющиеся решающим фактором в области мировой политики великих держав, монархических, как и республиканских, имеют своими носителями капиталистические верхи нации. Во Франции это прежде всего финансовая аристократия. Правда, банки мобилизовали здесь многочисленную рать мелких держателей всяких чужестранных бумаг. Но мелкий буржуа, даже стригущий купоны „мировых" бумаг, остается мелким буржуа. Он охотно берет высокий процент, но боится риску, с недоверием относится к мировым предприятиям, которые пахнут дымом и кровью и, прежде всего, дорого стоят.

Мелко-буржуазное большинство, городское и сельское, французского населения посылает в Париж радикальный парламент. Но экономическая зависимость мелкой буржуазии от крупного капитала находит в международной политике свое выражение в полной зависимости радикализма от империалистических финансовых верхов нации. Численно радикалы имеют в парламенте неоспоримое большинство: они могут назначить и сместить любое министерство. Но фактически провинциально-ограниченный мелкобуржуазный радикализм совершенно беспомощен пред лицом международных вопросов, в сферу которых Франция вовлечена, как великая капиталистическая держава.

Внешняя политика являлась в последние десятилетия политикой не изолированных государств, а могущественных коалиций,— это еще больше сужало возможность воздействия радикализма на эту заповедную область отношений: министерство иностранных дел имело своей задачей поддерживать союзные отношения в их неприкосновенности, а на парламент падала задача перелагать вытекающие отсюда обязательства на страну. „Jnformation" очень уместно напомнила, что Делькассэ всегда и во всех министерствах стоял особняком. Он не только не проявлял чрезмерной общительности по отношению к радикальному большинству парламента, но и своим товарищам по министерству сообщал лишь то, что не находил нужным скрывать. Министерства, принимая международные обязательства, вынуждены были мириться с

политикой Делькассэ, а численно всемогущий, но фактически беспомощный французский радикализм вынужден был мириться с политикой своих министерств.

Это коренное противоречие как нельзя более ярко обнаружилось уже на второй день после открытия военных операций. Радикально-социалистическое министерство Вивиани больше всего сторонилось надоедливого контроля радикально-социалистического парламентского большинства и искало опоры в „солидных" капиталистических верхах и в административно-военном аппарате. Следы должна была заметать цензура. Крупная капиталистическая буржуазия охотно мирилась в такую острую эпоху с министерством „левой" концентрации: война возлагает такую чудовищную ношу на массы, что иметь в министерстве представителей мелкобуржуазной и пролетарской толщи населения представляется как нельзя более целесообразным. Но „своих слов" в политике войны мелко-буржуазного радикализма не было и быть не могло. Министерство целиком приняло обязательства, вытекавшие из положения мировой империалистической державы. Радикальная пресса либо исчезла, либо совершенно обесцветилась. Зато министерство пользовалось неограниченной поддержкой органов консервативного или открыто-реакционного характера.

Но „война истощения" (guerre d'usure) истощила прежде всего эту политическую комбинацию. Война слишком затянулась, а со вступлением Болгарии получила слишком неблагоприятный оборот. В левое крыло парламента проникло снизу смутное недовольство, которое немедленно же внесло элементы распада в само министерство. Но раз недовольство левых питается из глубоких источников, в последнем счете из затяжного характера войны, — а войну продолжать надо „до конца", — то приходится искать такой правительственной комбинации, которая и не давала бы формальных гарантий „национального единения" в виде социалистических министров, но зато обеспечивала бы полную свободу действий за теми, которые знают, чего хотят, и готовы итти к цели — через все препятствия. В этом и состоит сущность кризиса.

„Н. С.", 30 октября 1915 года.

Без программы, без перспектив, без контроля.

То, чего сперва так боялись, на что под конец возлагали такие большие надежды, совершилось: новое правительство „национальной обороны", укомплектованное за парламентскими кулисами, выработало свою декларацию и огласило ее с парламентской трибуны. 515 депутатов выразили доверие новому министерству, — только один своенравный парламентарий остался недоволен более чем уклончивым отношением нового правительства к цензуре и голосовал *против* доверия — как бы для того, чтобы тем ярче подчеркнуть победу Бриана и возрождение „национального единства", обнаружившего за последние недели фатальную трещину.

Что собственно произошло, в этом так называемое „общественное мнение" совершенно не отдает себе отчета. Вивиани и Бриан любезно поменялись местами, попрежнему связанные общей ответственностью и общей „программой", очертания которой менее всего ясны им самим. В самом начале кризиса выпал из министерского автомобиля г. Делькассе, за которого, однако, Вивиани взял в свое время полную ответственность пред парламентом, как теперь Бриан перенял полную ответственность за Вивиани. Мильерана, наиболее реакционного и властного из министров, который неизменно выдвигал свою солидарность с Жоффром, как Вивиани ни заверял в своей солидарности с Мильераном, выбросили во время реорганизации министерства на мостовую; но преемственность лучше всего утвердили тем, что место Милльерана отвели генералу Галльени. Третья республика — режим плутократии, прикрытый радикальной и социалистической фразой — до такой степени израсходовала в реакционно-безыдейных парламентских интригах свой запас государственных людей и политических репутаций, что когда понадобилось предъявить максимум классовой воли, она могла только автоматически перетасовывать старые парламентские карты, предъявляя нации все тех же трефовых королей и червонных валетов. Почему Бриан — Вивиани лучше выражают волю нации, чем Вивиани — Бриан, и в каком смысле эта подновленная комбинация может оплодотворить ход военных операций, этого ни за что не понять ни виноделу из-под Бордо, ни парижскому лавочнику. Но ни тот

С. А. ЛОЗОВСКИЙ

ни другой не *делают* „большой“ политики: они *претерпевают* ее. Еще меньше ее делает сейчас французский рабочий: он поставляет для нее свои мышцы и свою кровь.

Тем не менее новая комбинация старых элементов имеет свой политический смысл: после периода критики, поисков, ожиданий и надежд все группы парламента торжественно заявляют „нации“, что ничего лучшего придумать невозможно. После того, как парламент, отражая на свой лад тревогу и недовольство народных масс, поколебался в своем доверии к министерству двух бывших социалистов, эти последние привлекли политических „старожилов“ из всех групп парламента, в качестве поручителей за себя: и радикалы Комб и Буржуа, и реакционер Мелин, и монархист Кошен, и даже девяностолетний Фрейсне призваны свидетельствовать, что для продолжения войны, для новой зимней кампании, необходимо, наряду с повышением солдатского жалованья от одного су до пяти в день, продолжение все той же политики национального единства, то-есть официальных легенд сверху, слепого доверия снизу. Без программы, без перспектив.

Новая комбинация имеет и еще один смысл: если в министерстве Вивиани, наряду с социалистическим министром общественных работ Самба, отведено было место, без портфеля, Жюль Геду, как „эмиссару революционного пролетариата при правительстве национальной обороны“, — так гласил красный вымысел, — то в министерстве Бриана эта декоративная исключительность уничтожена, и Жюль Гед, наряду с другими советниками-старцами, призван выполнять роль одного из шести понятых, подписывающих протоколы „национальной обороны“.

Тщетно пытался Ренодель спасти видимость „левой“ ориентировки, приглашая парламент и правительство подтвердить правильность социалистического истолкования войны, как чисто освободительной и потому исключающей аннексии. Казалось бы, при нынешнем положении на военных театрах французскому парламенту ничего не стоило разрешить Реноделю размахивать знаменем территориального бескорыстия. Но нет. „А Сирия? Вы забыли про Сирию!“ неистово кричали ему с разных скамей. Тщетно злосчастный социалистический лидер, прижимая локти к груди, клялся в верности программе „до конца“; тщетно мямлил он, что его не так поняли, — вся палата заглушала негодующими

возгласами его жалобные разъяснения. То, что должно было быть демонстрацией *против* аннексий, превратилось в многозначительную демонстрацию — *за* Сирию. И когда сладкоречивый Бриан просил о снисхождении к социалистам, как к младшим сынам республиканского единства, ответом ему было недовольное ворчание на скамьях всех буржуазных партий. Они утратили перспективы, но сохранили аппетиты.

„Ни одного ясного слова, ни одного формального обязательства, ни одного действия: слова, слова, слова," — так резюмирует газета Клемансо декларацию нового министерства. Эта характеристика бьет гораздо дальше своей непосредственной цели: стань у власти Клемансо, он только в ином порядке расставил бы те же самые слова. События давно уже переросли через головы правящих. Германское правительство, благодаря своему неоспоримому техническому и организационному перевесу, кажется твердо стоящим у руля. Но это одна видимость. Властные прусские феодалы действуют сейчас под таким же гнетом создавшегося положения, как и нерешительные французские адвокаты из мещан. Ни у тех, ни у других нет выбора. Траншеи, пушки, броненосцы, многомиллионные массы под ружьем, мобилизованные миллиарды — вот факторы, которые автоматически толкают вперед исторические события по пути, в конце которого все яснее для всех обозначается тупик. Правящие делают жесты, властные или растерянные, произносят слова, наглые или заискивающие, но они уже давно утратили всякий контроль над ходом событий... История призывает другие силы взять этот контроль в свои руки.

„Н. С.", 6 ноября 1915 г.

„Есть еще цензура в Париже!"

Когда берлинский судья разрешил тяжбу между Фридрихом Вторым и мельником в пользу мельника, король воскликнул: „Есть еще судьи в Берлине!". И когда цензура вычеркнула у нас вчера два больших документа, мы воскликнули: „Есть еще цензура в Париже!".

Собственно говоря, мы и до вчерашнего дня в этом не так уж крепко сомневались. Правда, цензура стала в общем мило-

стивее. Так, нам позволяют совершенно открыто писать, что покойный царь Александр III не придерживался республиканских убеждений, что русские чиновники, если верить „Новому Времени", все еще берут взятки — и не только борзыми щенками, и что русские евреи не являются самыми счастливыми людьми на земном шаре. Не мудрено, если г. Бриан торжественно заявил в парламенте, что во Франции нет цензуры, а есть всего-навсего „специальный режим" для прессы. Правда, в известном часу в нашей типографии раздается ежедневный вопрос: „готовы ли гранки для цензуры?". Но это очевидное злоупотребление терминологией. Правильнее было бы, — напоминали мы друг другу, — спрашивать: „Готовы ли гранки для Специального Режима?". Когда гранки возвращаются, мы с любопытством ищем в них синих пометок г. Режима: там выкинуто слово, там строка, а там смотришь и пять. И хоть иной раз и жалко изгнанного слова — хорошие бывают на свете слова! — но все же говоришь себе: „как-никак, режим много лучше цензуры", и переходишь к порядку дня.

Но вчера нам опять напомнили, что люди смертны, что Кай человек, и что стало быть Кай тоже смертен — при специальном режиме точно так же, как и при цензуре. Синий карандаш прошелся по семи гранкам, не оставив в живых ни единой фразы. Специальный Режим снял накладные бакенбарды и провозгласил: „Не узнаете-с? А ведь это я-с, все та же Настасья-с [1])". Таким образом мы убедились — и наши читатели вместе с нами, — что есть еще цензура в Париже!..

„Н. С.", 20 февр. 1916 г.

От „истощения" — к „движению".

Как бы ни закончилась стратегически та адская бойня, которая происходит сейчас под стенами Вердена, она врежется событием огромной важности в политическую жизнь обоих народов...

Дальнейшая война „на истощение" стала материальной и психической невозможностью по сю и по ту сторону границы. Перед правящими классами, которые лучше, чем мы, знают, на

[1]) Цензуру французы величают „Святой Анастасией".

какой почве они стоят, которые точнее нас осведомлены о мыслях и чувствах солдата, о размерах оставшихся „сбережений“ у крестьянина и о состоянии государственных финансов, — перед правящими классами встала неотложная необходимость от борьбы на истощение, разъедающей оба государственные организма, как саркома, перейти к азарту „движения“. По ту, как и по сю сторону границы.

Верденская атака открыта немцами, и французская пресса глубокомысленно „объясняет“ этот шаг честолюбием того молодого болвана, который носит звание германского кронпринца. Как если бы военные события не переросли уже давно через головы всех правящих болванов!

Кронпринцу понадобилось „движение“. Но разве ему одному? Разве не под лозунгом „движения“ шла та полуглухая политическая борьба — под дырявым брезентом священного единения, — которая до последней степени обострилась во Франции как раз накануне верденской атаки?

Клемансо, толкаемый бесом критики и сохранивший долю профессиональной прозорливости низвергателя министерств, требовал, чтоб ему указали, где собственно и в чем правительство республики видит выход из полуторагодового тупика траншейной войны? Министерство неизменно отвечало, что ведение военных операций есть дело главнокомандующего. „Если вы не отвечаете за непосредственное ведение операций, — возражал Клемансо, — то вы ответственны за выбор тех, которые ведут операции“. Диалог между Клемансо и министерством, имевший впрочем чаще всего форму монолога, длится уже много месяцев подряд, — и если в первое время Клемансо только раздражал и тех, к кому обращался, и тех, кого хотел привлечь на свою сторону, то чем дальше, тем больше его критика становилась явным, хотя и поверхностным отражением логики самого положения и потому била дальше, чем хотел и хочет сам Клемансо. „Почему война истощения приведет нас к победе? Чтоб изгнать немцев, нужно движение. Но почему его нет?“

Мелкая буржуазия, которую представляет французский радикализм — это воплощение идейной беспомощности и политической безответственности в обстановке и в пропорциях мировой войны, — мелкая буржуазия повторяла тот же вопрос: Quand cela finira? Когда это кончится? Почему нет движения? И вопро-

сительно смотрела наверх. Но оттуда отвечали исполненным таинственности жестом в сторону Генерального Штаба и почтительным заявлением о своей штатской некомпетентности.

Мысль радикализма, живущая историческими воспоминаниями и формальными аналогиями, — вместо того, чтоб отдать себе отчет в технических и социальных условиях и возможностях нынешней войны,— обратилась за поучениями и спасительными рецептами к временам великой революции. Тени эпохи Конвента— Комитет Общественного Спасения, молодые импровизированные генералы между лавровым венком и гильотиной, препоясанные шарфом комиссары Конвента при армиях—были вызваны газетными заклинателями, в качестве символов французской военной традиции, приобщение к которой должно обеспечить победу. Наряду с рутинерами из отставных полковников и генералов, пересказывающими каждодневно в газетах своими словами сообщения штаба, на сцену выступили радикальные профессора истории всех университетов Франции.

Незачем говорить, что мысль официального французского социализма ни на один сантиметр не возвышалась над этими наивными и жалкими архаизмами [1]). Ренодель перенял от Вальяна „идею" Комитета Общественного Спасения. Чтоб добиться „движения" на фронте, нужна-де высшая концентрация государственной власти или „революционная" диктатура, сжимающая весь народный суверенитет в один Комитет Спасения. Скептик-Клемансо подхватил „идею" не без кривой усмешки; во всяком случае он соскоблил с нее дешевую фольгу „революционного" идеализма. В этой „идее" — в истолковании Реноделя, как и в обработке Клемансо — беспомощность радикализма возводит себя в перл создания. Если спасение действительно в концентрации власти, почему органом ее не становится министерство? Оказывается, потому, что из рядов парламента вышедшее министерство автономно — от радикального парламента. Оно становится узлом пересечения могущественных дипломатических и милитаристических связей и союзных обязательств и, обособляясь от парламента, погруженного в национальный провинциализм, обессиливает себя тем самым пред военным аппаратом. Министерство перестраивается и обновляется за кулисами, как и генеральный штаб, а

[1]) Архаизмы — устарелые понятия, идеи и слова.

радикальный парламент, требующий „движения“ и контроля, беспомощно капитулирует каждый раз, когда министерство ставит ему в упор вопрос о доверии. „Комитет Общественного Спасения“ означает в этих условиях — стремление министерству, отражающему инерцию и автоматизм правящих верхов, противопоставить министерство, отражающее не идеи, не планы, а тревогу управляемых.

Но если неустойчивое положение над-парламентского и подштабного министерства питает в радикально-социалистическом лагере планы якобинской диктатуры, то направо то же положение порождает вкус к цезаризму. Капюс в „Figaro“ печатает письма Императора к „моему генералу Серайлю“ и к „моему первому министру Бриану“ (капюсовский Император с полным основанием сохраняет при себе своего Бриана), — и из этих писем, написанных самым лучшим академическим стилем, ясно, как дважды два, что для спасения Франции не хватает только Цезаря.

Комитет Общественного Спасения или Цезарь — не забудем, впрочем, что Цезарь вырос из Комитета Общественного Спасения! — но беспомощная пассивность критикующего парламента при министерстве „отказывающемся быть правительством“, стала окончательно невыносимой, как и отражаемая ею беспросветная неподвижность на фронте. Движения! — и в это время прозвучала тяжелая пушка под Верденом, как эхо глубокой тревоги по *ту* сторону траншей. *Там* тоже не могут дольше стоять на месте, там тоже ищут „движения“.

На девятнадцатом месяце взаимоистребления война предстала пред народами — под Верденом — в своем наиболее концентрированном, поистине адском, виде. Из тысяч пушечных жерл говорит не только голос последней жестокости, но и испуг правящих перед тупиком.

Как ни велико военное значение верденских боев, но политический их смысл несравненно крупнее. Чу! Под Верденом выковывается *наш* завтрашний день. В Берлине и в других местах — они хотели „движения“, — они будут иметь его.

„Наше Слово“, 5 марта 1916 г.

Не полная, но симметрия.

Наша эпоха есть эпоха массового производства героизма—стоит только посмотреть приказы по полкам, корпусам и пр. за один день. Но при таком количестве героев, как мало людей просто мужественных—мы имеем в виду область политики—или хотя бы только способных критически отнестись к тому, что происходит перед их глазами и перекатывается через их головы! Уже по этому одному депутат Аккамбрей заслуживает симпатии: у него есть свое мнение, и он его смеет отстаивать против официозного воя и патриотического грохота пюпитров парламентского большинства.

Женевская газета („Journal de Genève"), состоящая в распоряжении союзной дипломатии и проявляющая реакционное тупоумие во всем, что выходит за пределы выполняемых ею поручений, возмущалась, вслед за всей французской прессой, поведением Аккамбрея, но в то же время неосторожно сравнивала его с Либкнехтом, которого, как известно, вся французская пресса на свой лад „хвалит". Некоторой симметрии отрицать нельзя, но Аккамбрей не Либкнехт. Радикал-социалист, то-есть буржуазный демократ, бывший офицер, Аккамбрей стоит на той же принципиальной почве, что и вся палата. Его кругозор чрезвычайно ограничен. Критика Аккамбрея не переходит за черту материально-технических и непосредственно-политических предпосылок военной победы. Но Аккамбрей не способен поддаваться гипнозу подержаных формул официозной риторики и удовлетворяться все теми же обещаниями объединенных действий союзников: для этого его политическая ограниченность слишком честна, а в сгущенной атмосфере условности, недоговоренности и безответственной самоуверенности ограниченная честность дает преимущества проницательности. Дезавуированный формально своей парламентской группой, Аккамбрей единолично голосует против новых кредитов правительству, которому он не доверяет. Он прежде всего не доверяет верховному командованию: единственным критерием полководца является, по его мнению, успех,—отсутствие успеха компрометирует полководца. Верховный контроль над военными действиями, оценка того, чего можно и чего нельзя достигнуть, распределение всех сил и средств должно

находиться—через посредство военного министра — в руках правительства, как средоточия „национальной воли". Но этого, по Аккамбрею, нет. Военная зона, которой подчинено все остальное, стала самодовлеющим царством. Вокруг Генерального Штаба сложилось свое министерство, несравненно более могущественное, чем то, во главе которого стоит г. Бриан. В результате г. Аккамбрей констатирует такое соотношение республиканских властей: на самом верху—бесконтрольный генеральный штаб; под ним—бесконтрольное министерство; еще ниже—парламент, освобожденный от контроля общественного мнения, которое поддерживается цензурой в состоянии неведения. В чем причины создавшегося положения и каков выход из него, об этом Аккамбрей ничего не сказал,—и не только потому, что Аккамбрей не Либкнехт,—у него нет ни политического метода, ни исторического критерия: он просто пришедший в отчаяние патриотический республиканец.

Не имея никаких оснований защищать г. Бриана от критики г. Аккамбрея, мы должны все же сказать, что причины создавшегося положения гораздо могущественнее воли стоящей у власти группы адвокатов. Политика мировых интересов и претензий—империализм—предполагает устойчивую систему международных договоров, военных планов и тайных дипломатических соглашений, систему, которую *действительно правящие* классы не могут не застраховать от неустойчивости" парламентаризма с его мелкобуржуазным большинством. Война только обнажила полностью то, что существовало и раньше: фактическую независимость правительства республики от парламента в центральном вопросе жизни народа и страны, в вопросе войны и мира. Не отказываясь от мировых интересов и союзных обязательств, от политики империализма, парламент только и может, что выдвинуть из своей среды министерство, которое—независимо от своего партийного или персонального состава—будет дальше тянуть лямку великодержавной преемственности—за спиною народа. И когда министр финансов г. Рибо в одном из последних заседаний парламента произнес таинственную, но отнюдь не случайную, фразу о предвидимом „конце войны", он говорил с тех высот, откуда раньше или позже конец войны надвинется на суверенную нацию так же таинственно, как надвинулось ее начало.

По своим методам и целям империализм несовместим с действительной демократией. Но это значит не то, что республикан-

ской Франции чужд империализм, а лишь то, что *империализм лишает механику демократии реального содержания, целиком подчиняя ее своим целям.* Последствием и выражением этого является независимость министерства от парламента.

Но на этом дело не останавливается. Орудием империализма является милитаризм. Если нынешняя армия имеет „общенародный" характер—в том смысле, что втягивает в себя лучшие силы всего народа,—то механизм милитаризма должен во время войны естественно вытеснять механизм парламентаризма и возвышающегося над ним министерства. В Германии этот факт маскируется кастовой сплоченностью юнкерства, военного и штатского, увенчивающегося Гогенцоллерном. В республиканской Франции штатские министры из адвокатов, олимпийски возвышающиеся над беспомощным в мировой политике парламентом, сами принимают почтительную позу профанов, как только сталкиваются лицом к лицу с военной зоной.

Выкинув за борт Мильерана, который хоронился за спину Генерального Штаба, и пригласив Галльени в военные министры, Бриан надеялся обогатить свое министерство дополнительным авторитетом, извлеченным из арсеналов самого же милитаризма. То, что сообщил в палате Аккамбрей, как и то, что известно без него, меньше всего свидетельствует об успехе усилий генерала Галльени сосредоточить верховный контроль над операциями в руках министерства. Выступление Аккамбрея как нельзя более выразительно совпало с отставкой Галльени. Ему на смену вызван был с фронта генерал Рок, насчет которого все солидарны, что его личность исключает возможность каких бы то ни было трений с Генеральным Штабом: Рок—младший товарищ Жоффра, и, как сообщают газеты, „генералы—на ты".

Патриотическое отчаяние Аккамбрея должно только возрасти при наблюдении этой слепой логики вещей и отношений, от которой его критика отскакивает, как и от лбов парламентского большинства. Единственное утешение он мог бы почерпнуть в картине автоматического нагромождения внутренних кризисов—по ту сторону Вогез. Если Аккамбрей, как сказано, не Либкнехт, то с тем большим успехом Либкнехт выполняет роль острия того клина, который все глубже вгоняется в организм национального единства. И одновременно с заболевшим генералом Галльени вышел в отставку германский морской министр Тирпиц, который

искал выхода из положения в расширении и обострении кризиса...

О тождестве не может быть и речи, и симметрия не полна. Но ее совершенно достаточно, чтобы даже Аккамбрея излечить от отчаяния,—если б только он мог обозревать события с более высокого обсервационного пункта, чем парламентское кресло французского радикала.

„Наше Слово", 24 марта 1916 г.

По ту сторону Вогез.

Испанский журналист рассказывает, что Зюдекум устал от войны. И действительно, война оказалась гораздо продолжительнее, чем ожидали Зюдекумы в августе—сентябре 1914 года. Тогда лозунгом войны — для черни — была объявлена борьба против царизма. Но уже в первые недели лозунг „против Англии!" занял первое место—по крайней мере, в литературе тех классов, интересам которых служит война. Никто, конечно, не предлагал снять антицаристское знамя: все понимали, что оно крайне облегчает работу социал-патриотического развращения пролетариата; но уже тогда, в первый период, в среде посвященных имелись разногласия, против кого *действительно* нужно направить главные удары. Эти разногласия определялись различиями империалистических устремлений в среде капиталистических классов и противоречиями в оценках возможных последствий и результатов войны. Разногласия не успели вырасти до степени политических антагонизмов, как нашли уже свое временное примирение в самом ходе военных операций. Зомбарт и те группы, идеи которых он выражал, могли считать, что „по существу" индустриальная Германия и земледельческая Россия дополняют друг друга, как мужское и женское начало, тогда как антагонизм с Англией требует борьбы не на жизнь, а на смерть; но и консерваторы и национал-либералы, в большинстве своем считавшие желательным сепаратный мир с Россией, именно под углом зрения такого мира благословляли спасительную работу Гинденбурга на восточном фронте, ожидая, что она в кратчайший срок развяжет им руки против Запада. С другой стороны, та часть связанных с Англией и Соединенными Штатами, преимущественно финансово-капиталистических

кругов, которая проявляла склонность видеть главного врага — не в царизме, разумеется, а в завтрашней индустриализированной и потому военно-несокрушимой России и считала долгом предусмотрительности притти, в результате нынешней войны, к тому или иному соглашению с Англией, именно под этим углом зрения не могла не стремиться к решающим успехам на западном фронте. Империалистические противоречия, под которыми при более детальном анализе можно несомненно нащупать различие сфер приложения отдельных частей капитала, вспыхивали на разных этапах войны, но каждый раз снова преодолевались динамикой военных операций, восстанавливавшей круговую поруку всех фронтов: через Варшаву можно давить на Париж и Лондон, как через Ниш и Верден—на Петроград. Но чем более раздвигалось поле военных действий, тем яснее становилось, что экономический и политический (т.-е. империалистический) контроль над военными операциями становится все менее реальным, что политические цели и лозунги войны вынуждены, как тени, следовать за самодовлеющими передвижениями и столкновениями человеческих масс. Милитаризм, который должен был, по смыслу вещей, играть роль послушного и верного инструмента империалистических интересов, стал—логикой тех же самых вещей—почти совершенно „автономным", продолжая автоматически пожирать все силы и средства нации. Каждое новое возрастание общей линии фронтов, вызываемое почти исключительно военными успехами немцев, порождало вместе с патриотическим восторгом политическую оторопь в сердцах правящих клик, ибо все более растворяло „исторические" задачи войны в неопределенности военных и продовольственных возможностей. Вот почему на двадцатом месяце войны столь близкая к правящим сферам „Koelnische Volkszeitung" видит себя вынужденной воскликнуть: „Нужно дать немецкому народу идеал войны... Человек, который ему даст этот идеал, будет назван историей *великим*"...

Совершенно естественно, если это хроническое накопление успехов и ими же порождаемых трудностей должно было, вместе с ростом тревоги, вызывать обострение империалистических противоречий и оценок отдельных капиталистических и правительственных клик. Вот объективная основа того кризиса, который чрезвычайно обострился в самом лагере правящих и нашел недавно свое частное, но не случайное выражение в отставке адми-

рала Тирпица, воплощавшего в тесном правительственном кругу самые крайние антибританско-империалистические претензии. На языке придворно-бюрократических интриг это означает „победу“ канцлера Бетман-Гольвега, политика которого сводится к выжидательному эмпирическому приспособлению к меняющейся военной ситуации. Если влиятельный кельнский орган тоскует по государственном человеке с „идеалом“, то Бетман, отражая своей политикой то, что есть после 20 месяцев бойни, представляет собою воплощенное отрицание „идеала“, т.-е. определенного империалистического плана.

Внутренний кризис в среде правящих углубляется ростом недовольства в среде управляемых,—разумеется только для того, чтобы уступить место единству эксплуататоров, в тот момент, когда недовольство эксплуатируемых превратится в революционное наступление...

Но сейчас атмосфера нервности и неуверенности царит в имперском рейхстаге и в прусском ландтаге. Уставшие от войны Зюдекумы трусливо и подобострастно жмутся к канцлеру, в империалистическом поссибилизме которого они усматривают линию наименьшего сопротивления—для правящих и для себя,—и в последнем заседании рейхстага социал-патриоты снова спасли своего „анти-аннексионного“ Бетмана. Наоборот, для левого крыла, политически питающегося непрерывно нарастающими настроениями рабочих масс, тревога и неуверенность правящих создают как нельзя более благоприятную обстановку. В стенах ландтага, этой твердыни немецкого юнкерства, Карл Либкнехт — как телеграфирует сам Гавас — „призвал сражающихся в траншеях направить свое оружие против общих врагов, милитаризма и капитализма“. Рабочие Эссена, города Круппа, откуда рассылаются на все фронты адскне машины истребления, присоединяются—через своих представителей—к оппозиции. Если сегодня на голос Либкнехта откликаются те, которые делают пушки и снаряды, завтра отзовутся те, которые приводят их в движение. Тогда развязка всех нагроможденных противоречий пойдет вперед семимильными шагами, и рабочие массы Германии—не одной Германии—найдут *идеал* для своей собственной войны.

Либкнехт и его друзья могут во всяком случае не сомневаться, что каждый революционный голос пробуждает в нынешних условиях двустороннее эхо...

„Наше Слово“, 25 марта 1916 г.

„Милосердия!“

Ирландское восстание раздавлено. Те, кого считали нужным расстрелять в первую очередь, расстреляны. Остальные ждут решения своей личной участи после того, как участь восстания решена. Торжество правящей Англии так полно, что премьер Асквит счел возможным заявить с парламентской трибуны о намерении правительства проявить „разумное милосердие“ по отношению к пленным ирландским революционерам. При этом Асквит сослался на благие плоды милосердия, проявленного генералом Бота по отношению к участникам южно-африканского восстания. Асквит воздержался от ссылки на благие плоды великобританского милосердия по отношению к самому генералу Бота, который за двенадцать лет до нынешней войны стоял во главе буров, истекавших кровью в борьбе с великобританским империализмом, а в начале войны уже сам успешно подавлял восстание своих сограждан и соплеменников. Таким образом, Асквит оставался целиком в русле традиций великобританского империализма, когда работу специалистов „порядка“ в Дублине и в других местах увенчал провозглашением принципов „целесообразной“ гуманности—в тех пределах, разумеется, в каких она... целесообразна.

До сих пор, следовательно, все в порядке,—и наше отношение к заявлению Асквита, далеко выходящее за пределы тех чувств и мыслей, которые разрешаются к употреблению во французской республике в 1916 г., не может возбуждать никаких сомнений в голове наших читателей.

Но на этом дело не остановилось. Есть раздавленное восстание — разрушенные здания, человеческие трупы, мужчины и женщины в кандалах. Есть торжествующая власть, делающая жест „человеколюбия“. Но в этой картине, вставленной историей в оправу мировой войны—или в этой „сцене на сцене“—не хватало еще одной фигуры: французского социал-патриота, знаменосца „освободительной“ войны и принципов национальной „свободы“, комментирующего официальную гуманность правительства Дублина.

Чтобы заполнить этот пробел и чтобы нанести на картину последний штрих, характеризующий эпоху в ее официальном

государственном, патриотическом выражении, г. Ренодель выступил со статьей „Clémence“ („Милосердие“), на страницах своей „Humanité“, которая до сих пор ни слова не проронила об ирландском восстании.

О конечно, он, Ренодель, знает, что в прошлом были факты, которые омрачали отношения между Ирландией и Англией. Он допускает, что эти факты не могли в наиболее непримиримых ирландских сердцах не оставить горечи до сего дня. Но ирландцы выбрали для своего выступления наиболее пагубный момент. Он, Ренодель, ни на минуту не сомневался, что английское правительство сделает все необходимое для того, чтобы оказаться хозяином положения,—и он не ошибся. Но именно потому, „Англия, которая борется вместе со своими союзниками за право народов, может и должна обнаружить великодушие“. И вот почему, будучи одновременно другом Англии и Ирландии,— той Англии, которая подавила, и той Ирландии, которая подавлена,—он, Ренодель, может только приветствовать великодушный жест Асквита.

Казалось бы, довольно. Казалось бы, политический и нравственный цинизм социалиста, рядящегося в покровы проповедника милосердия перед лицом остервенелых палачей,— казалось бы, социал-патриотический цинизм нашел свои физические пределы. Но нет,—Реноделю нужно еще внести национально-французский момент, чтобы объяснить и мотивировать свое государственно-мудрое ходатайство за раздавленных и чтоб оправдать его перед официальной Францией. „Разумеется,—пишет он,—в стране, которая плачет при стихах Корнеля, при благородном прощении Августом Цинны, в этой стране не будут удивляться, если мы посоветуем проявить милосердие“.

Таким образом духовные наследники и политические преемники Тьера и генерала Галиффе успокоены. Разве не они, плакавшие при чтении Расина, проявляли милосердие по отношению к борцам парижской коммуны! Вот где действительное увенчание духовного примирения между преемниками Галиффе и выродженцами того движения, в историю которого записана Коммуна.

„Наше Слово“, 11 мая 1916 г.

К Дублинским итогам.

Сэр Роджер Кэземент, бывший видный колониальный чиновник Великобритании, революционный ирландский националист по убеждениям, посредник между Германией и ирландским восстанием, приговорен к смертной казни... „Я предпочитаю сидеть на скамье обвиняемых, чем быть на месте обвинителя“, — воскликнул он перед тем, как был прочитан приговор, гласящий, согласно старой смиренной формуле, что Кэземент должен быть „повешен за шею, пока не умрет“, причем бог приглашается сжалиться над его душою. Будет ли казнь приведена в исполнение? Этот вопрос должен был причинить Асквиту и Ллойд Джорджу несколько тревожных часов. Казнить Кэземента значит сделать еще более трудным положение оппортунистически-национальной чисто-парламентской ирландской партии, руководимой Редмондом и готовой на крови дублинских повстанцев скрепить новый компромисс с правительством Соединенного Королевства. Помиловать Кэземента, после уже совершонных многочисленных казней, значит открыто „проявить снисхождение к высокопоставленному изменнику“. На этой струне наигрывают с чисто-хулиганской кровожадностью свои демагогические мелодии великобританские социал-империалисты типа Гайндмана. Но как бы ни разрешилась личная судьба Кэземента, приговор над ним подводит заключительную черту под драматическим эпизодом ирландского восстания.

Поскольку дело шло о чисто военных операциях повстанцев, правительство, как мы знаем, оказалось сравнительно легко господином положения. Обще-национального движения, каким оно вырисовывалось в головах националистов-мечтателей, совершенно не вышло. Ирландская деревня не поднялась. Ирландская буржуазия, как и верхний, более влиятельный слой ирландской интеллигенции, осталась в стороне. Дрались и умирали городские рабочие вместе с революционными энтузиастами из мелко-буржуазной интеллигенции. Для национальной революции историческая почва исчезла даже в отсталой Ирландии. Поскольку ирландские движения в прошлом столетии принимали народный характер, они неизменно питались социальной враждебностью бесправного, истощенного фермера-паупера ко все-

могущему английскому лендлорду. Но если для этого последнего Ирландия была только объектом аграрно-разбойничьей эксплуатации, то для великобританского империализма она являлась необходимым залогом владычества на морях. В написанной накануне войны брошюре Кэземент, спекулируя на Германию, доказывает, что независимость Ирландии означает „свободу морей“ и смертельный удар морскому владычеству Англии. Это верно постольку, поскольку „независимая“ Ирландия могла бы существовать, лишь как форпост враждебного Англии империалистического государства и как его военно-морская база против английского господства над морскими путями. Гладстон впервые поставил с полной отчетливостью военно-империалистические соображения Великобритании над интересами англо-ирландских лендлордов и положил начало широкому аграрному законодательству, которое при посредстве государства передало ирландским фермерам земли лендлордов, очень щедро, разумеется, вознаградив этих последних. Во всяком случае после аграрных реформ 1881—1903 г.г. фермеры превращаются в консервативных мелких собственников, взоры которых зеленое знамя национальной независимости уже не способно более оторвать от их парцелл. Избыточная ирландская интеллигенция массами вливается, в качестве адвокатов, журналистов, торговых служащих и проч., в города Великобритании и таким образом практически пропадает в большинстве своем для „национального дела“. Самостоятельная же ирландская торгово-промышленная буржуазия, поскольку она формируется за последние десятилетия, сразу занимает боевую позицию против молодого ирландского пролетариата и этим отбрасывается от национально-революционной борьбы в лагерь общеимперского поссибилизма, ирландского „угодовства“. Молодой ирландский рабочий класс, складываясь в атмосфере, насыщенной героическими воспоминаниями национальных восстаний, и сталкиваясь с эгоистически-ограниченным, имперски-высокомерным английским трэд-юнионизмом, естественно качается между национализмом и синдикализмом, всегда готовый связать вместе эти две концепции в своем революционном сознании. Он увлекает с собою интеллигентскую молодежь и отдельных национальных энтузиастов, которые, в свою очередь, обеспечили в его движении перевес зеленого знамени над красным. Таким образом „национальная революция“ и в Ирландии свелась фактически к восстанию рабочих,

и явно изолированное положение Кэземента в движении только резче подчеркивает этот факт.

В жалкой и постыдной статье Плеханов указывал недавно на „вредный“ для дела свободы характер ирландского восстания и радовался тому, что ирландский народ „к чести“ для себя понял это и не поддержал революционных безумцев. Только при полном патриотическом размягчении всех суставов можно изображать дело так, будто ирландские крестьяне под углом зрения международного положения отклонили участие в революции и тем спасли „честь“ Ирландии. На самом деле ими руководил лишь тупой фермерский эгоизм и полное безразличие ко всему, что выходит за пределы их земельных участков. Именно поэтому и только этим они обеспечили столь быструю победу лондонского правительства над героическими защитниками дублинских баррикад.

Эксперимент национального ирландского восстания, в котором Кэземент с несомненным личным мужеством представлял пережившие себя надежды и приемы прошлого, закончен. Но историческая роль ирландского пролетириата только начинается. Уже в это восстание—под архаическим знаменем—он внес свое классовое возмущение против милитаризма и империализма. Это возмущение отныне не заглохнет. Наоборот, оно найдет отголосок во всей Великобритании. Шотландские солдаты громили баррикады Дублина. А в самой Шотландии углекопы сплачивались вокруг красного знамени, поднятого Маклином и его друзьями.

Палачество Ллойд-Джорджа будет сурово отомщено теми самыми рабочими, которых ныне Гендерсоны стремятся приковать к кровавой колеснице империализма.

„Наше Слово“, 4 июля 1916. г.

Недомогание.

Парламент занят вопросом о закрытом заседании (comité secret). Смысл этого тайного заседания в том, чтоб, дав депутатам возможность свободно „объясниться по поводу создавшегося положения, устранить, таким образом, скопившееся „недомогание“ (malaise).

Закрытое заседание уже не раз отвергалось министерством, наиболее правительственными группами самого парламента и „верной“ прессой, как угрожающее кризисом. Но отвергнутое, оно возвращалось снова. Сейчас же жизнь Франции, в том числе и ее политика, вращается вокруг Вердена, как вокруг оси. И требование закрытого заседания выдвинуто с новой—и на этот раз, повидимому, победоносной силой именно в связи с вопросом о Вердене.

10-го мая появилась таинственная статья в „Matin“, сообщавшая, как видно из разрешенной цензурой статьи Эрве („Victoire“, 12 мая), будто в первые дни верденских боев главнокомандующий отдал приказ войскам отступить на левый берег Мааса, после чего генерал Кастельно отдал, будто бы, контр-приказ: *не отступать!* и тем спас Верден. Статья, разумеется, произвела сенсацию и вызвала категорическое официальное опровержение, прошедшее почему-то через министерство внутренних дел. Полемика прессы по этому поводу превратилась в состязание с цензурой, причем газеты, худо ли, хорошо ли, орудовали аргументами, а цензура—ножницами и даже веревкой: несколько газет были удавлены, правда, лишь на четыре дня. В дело вмешался услужливый Эрве, который, как известно, опаснее врага; он немедленно разъяснил, что сенсационная статья была пущена в ход чрезмерно старательными почитателями Кастельно, разумеется, „без его ведома“; что было бы чистейшей фантазией открывать здесь ход со стороны начальника штаба против главнокомандующего; что отношения Кастельно и Жоффра не оставляют желать ничего лучшего, несмотря на то, что они неодинаково смотрят на святую троицу и непорочное зачатие.

Одновременно, по инициативе Реноделя, состоялось экстренное заседание военной комиссии палаты, которое вынесло, после объяснений военного министра и Бриана, постановление о необходимости „упорядочения“ цензуры и о посылке специальных комиссаров на верденский фронт.

Клемансо, председатель военной комиссии сената, совершил, тем временем, большую поездку по фронту и привез оттуда „несокрушимые“ доказательства той мысли, которую он, в борьбе с цензурой, развивает вот уже больше года: французская армия выше всякого сравнения, но необходимо дать ей отвечающее ее качествам верховное командование. Одно из тех доказательств,

какими, в виде замысловатых намеков, орудует Клемансо, проникло в печать уже до его поездки, в связи с именем депутата Абель Ферри: речь идет о том состоянии неподготовленности, в каком находились укрепления северной стороны Вердена накануне немецкого наступления...

Первый день после-пасхальной сессии палаты депутатов вышел в этих условиях очень тревожным. Премьер при первых намеках на щекотливые интерпеляции поторопился поднять перчатку и произнес боевую речь в защиту того не очень нового тезиса, что между министерством и парламентом должно существовать полное единение, особенно теперь, что министерство не может жить без полного доверия к нему и пр. Успех г. Бриана был чисто арифметический. Клемансо счел возможным в отчете об этом заседании писать, что дни министерства сочтены, а старого Тигра можно считать в этом вопросе достаточно компетентным. Во всяком случае, вопрос о закрытом заседании парламента именно после открытия сессии стал со всей остротой. Необходимые для возбуждения инициативы двадцать подписей выросли к 26 мая до 168, так что вопрос может оказаться решенным по существу прежде, чем будет поставлен на голосование в парламенте. Правительство, по словам прессы, относится к тайному заседанию отрицательно, или, по крайней мере, недоброжелательно. Этому можно без труда поверить. Но если верить, с другой стороны, „Rappel", можно ждать со стороны г. Бриана перемены фронта. На это намекают кисло-сладкие рассуждения „Temps" и особенно тот факт, что метеорологическая сорока из „Victoire" решительно повернулась в сторону тайного заседания; Эрве намечает для него и порядок дня: вопрос о тяжких ошибках под Верденом от 21—26 февраля; вопрос о причинах неподвижности союзных армий и некоторые другие накопившиеся недоразумения. Но Эрве предостерегает: не позволяйте себе опьяняться воспоминаниями эпохи Конвента. И это его предостережение с таким ярким цинизмом дает отставку социал-патриотическим иллюзиям и революционной фразеологии первого периода войны, что нужно привести цитату целиком: „Конвент опирался на революционные страсти; война против Европы была, собственно говоря, гражданской войной—против всех аристократий и заговора всех автократий; и „Марсельеза" в сочетании с „Карманьолой" была в то время песней гражданской войны. Ныне же мы живем в эпоху священ-

ного единения, которое представляет собою полную противоположность революционным страстям..."

Именно поэтому Эрве рекомендует не бить министерской посуды. Какой новый принцип может противопоставить парламент „принципу" г. Бриана? И во всяком случае, „наша исполнительная власть" включает в свой состав людей, которые имеют, по крайней мере, столько же авторитета, как и те, которые претендуют их сменить".

Приходится поэтому подождать, какими таким мерами парламент рассеет политическое „недомогание" двадцать второго месяца войны...

„Наше Слово", 27 мая 1916 г.

Ключ к позиции.

Бетман-Гольвег жаловался во время последней сессии рейхстага на то, что враждебные правительства не хотят отдать себе отчет в „военной карте", как она сложилась в течение 22-х месяцев войны. И он угрожал им, что всякая новая перемена этой военной карты будет происходить только в ущерб державам Согласия. У самого Бетмана есть достаточно оснований стремиться к миру—не меньше, чем у его врагов. Именно поэтому имперский канцлер, нимало не отказываясь от „разумных" аннексий, с такой неожиданной в эпоху „гражданского мира" яростью выступил против крайних германских аннексионистов и вызвал этим великий энтузиазм в лагере достаточно потрепанных событиями немецких социал-патриотов. Силен германский милитаризм, но аппетиты германских империалистов несравненно сильнее! Что касается аппетитов по сю сторону фронта, то, скрываясь ныне за оборонительными формулами, они ждут только первого серьезного успеха, чтобы показать себя в полном объеме.

Мы уже писали здесь о том, как из многомесячной стратегии застоя политически выросла для всех участников необходимость движения. За последние месяцы мы были свидетелями этих „движений", которые развернулись только для того, чтобы оправдать пословицу: „plus ça change, plus ça reste la même chose" (чем больше меняется, тем больше остается тем же). На успехи турок против англичан в Месопотамии были ответом русские ус-

пехи в Армении. Трапезунд против Кут-Эль-Амары! Австрийское наступление на итальянском фронте, сведшее на-нет годовые усилия и жертвы итальянской армии, вынуждено было приостановиться прежде, чем успело внести серьезные перемены в общую картину войны. Для параллелизма открылось успешное русское наступление по галицийскому фронту; оптимисты могут верить в его дальнейшее победоносное развитие,—мы к ним не принадлежим.—Имелось или не имелось полное равновесие потерь в морском сражении у Ютландии, но ясно, что оно ничего по существу не меняет в соотношении сил германского и англо-французского флотов. Наконец, непрерывные бои под Верденом остаются наиболее чудовищным выражением стратегической и политической безвыходности. Plus ça change, plus ça reste la même chose. В сознании страшного тупика, в который зашла война, правящие группы и партии Европы за последние месяцы снова сосредоточили свои взоры на Америке. Вмешательство Соединенных Штатов должно было, по замыслу одних, дать их группировке непосредственный перевес военной силы, или, как надеялись другие, ускорить заключение мира на основах, отвечающих действительной „карте войны". Но Вильсон не дал ни того, ни другого. Американский капитал устроился сейчас слишком хорошо, чтоб у его правительства могли быть основания для слишком торопливого и рискованного вмешательства в европейские события. Рузвельт, тяжеловесный американский Тартарен, поднял знамя немедленного вмешательства в войну на стороне держав Согласия, и был жестоко наказан республиканской партией за свой авантюристский „идеализм": молчаливый и осторожный верховный судья Юз почти без усилий уложил своего соперника на обе лопатки. Юз—не германофил и не франкофил, он не за войну и не за мир, он находит, что и так хорошо. Европа разоряется, Америка обогащается. Будет ли переизбран Вильсон, или же на смену ему придет Юз, положение не изменится: до тех пор пока американская буржуазия будет иметь возможность греть руки у европейского костра, она не переменит своей позы. „Ключ к позиции" и Америки? Но она пока-что считает, что самой выгодной для нее позицией является поддержание кровавого европейского тупика.

„Наше Слово" 15 июня 1916 г.

Вокруг национального принципа.

По поводу происходившего недавно в Лозанне конгресса мелких и угнетенных национальностей во французскую прессу не проникло почти никаких вестей. Если принять во внимание, что союзники борются именно за „принципы национальностей"— об этом г. Сазонов снова напомнил американцам, дабы не забывали, то на первый взгляд такое невнимание к лозаннскому конгрессу могло бы показаться непонятным. Но на самом деле... на самом деле оно слишком понятно.

Тех, однако, которые захотели бы упорствовать в непонимании или невнимании, следует сейчас ткнуть носом в свежий номер газеты „Éclair". Эта странная газета, сочетающая заботу о невесомейших догматах католицизма с обслуживанием прогрессивных стремлений французской промышленности,—и то и другое не платонически,—дает время от времени место сообщениям и статьям, которые поражают, главным образом, тем, что из них торчит угол подлинной правды.

Прежде всего, оказалось— какая неожиданность для проживающего неподалеку от Лозанны Плеханова!—обнаружилось, что на конгрессе угнетенных народов „среди 23 национальностей были представители почти всех инородцев (allogènes) России: финны, литовцы, латыши, поляки, украинцы, грузины и т. д. (автор, очевидно, из союзной тактичности обрывает перечень). Были также представители ирландцев, албанцев, египтян, тунисцев. Был даже представитель евреев, рассматриваемых, как национальность, г. Аберсон". Выходит так, что в границах освободительницы-Антанты как раз и проживает большинство угнетенных национальностей.

По поводу принятых на конгрессе резолюций, признающих за каждой национальностью право на самоопределение, „Éclair" чистосердечно замечает: „Трудность практического осуществления этой программы состоит в том, что каждый охотно признает освобождение инородцев у своего врага, но не своих собственных и не у своих союзников. В лагере союзников, например, требуют освобождения не-немецких народностей, подчиненных Германии и Австрии, или не-турецких народностей, подчиненных

Турции, но хотели бы предоставить России возможность по собственному усмотрению располагать своими инородцами".

В той атмосфере обязательной лжи, какою мы дышим два года, даже эти, не бог весть какие новые или смелые мысли, пропечатанные в „большой" французской газете, действуют в некотором роде освежающе на душу. И подумать только, что находятся русские *социалисты*, русские *революционеры*, русские *эмигранты*, которые перед лицом конгресса в Лозанне, куда киргиз прибыл жаловаться на царский гнет, продолжают подпевать г. Сазонову насчет освободительных задач, преследуемых в этой войне Россией. Никто не требует от этих людей интернационализма; но если б они были просто честными *демократами-патриотами*, они должны были бы сгореть со стыда!

* * *

Правда, у них для отвода стыдливости имеется всегда в запасе ссылка на союзников. Россия, конечно, деспотическая страна, но с помощью „западных демократий" она—через победу—совершит все те внутренние и внешние чудеса, к каким Германия должна притти—через поражение.

Как же обстоит дело с союзниками? Оставим сейчас в покое Дальний Восток, где Россия в союзе с Японией собирается в ближайшие десятилетия осуществлять „принцип национальностей" на спине Китая. Время ли думать о полумиллиарде китайцев, когда Плеханов с Куропаткиным призваны освобождать Шлезвиг-Голштинию! Ограничимся „западными демократиями". Но и здесь не будем поднимать ирландского вопроса, ибо, как известно, великодушная Англия осуществляет сейчас в Дублине гом-руль. Правда, О'Коннели и другие повешенные и расстрелянные повстанцы не смогут воспользоваться ирландским парламентом, так как ими самими сейчас пользуется подземный парламент червей. Но—оставим Ирландию. Оставим вообще Великобританию. Как обстоит дело с Францией?

„Для колониальных держав, как Франция или Англия—говорит „Éclair"—вопрос о „туземцах", который также разбирался в Лозанне, представляет особенный интерес".

Резолюция лозаннской конференции не хочет признавать разделения рас на „низшие" и „высшие", а в этом и состоит фи-

лософия колониального господства, поскольку последнее вообще нуждается в философии. „Éclair“ по этому поводу призывает колониальные „демократии“ к справедливости и... осторожности, тут же отмечая „с удовлетворением“ внесенный депутатом Доази—в дни лозаннского конгресса—законопроект, силою которого алжирцам должно быть предоставлено „серьезное“ представительство в тех учреждениях, которые обсуждают их интересы. Это бесспорно очень утешительно. Но дело в том, что одновременно—то-есть почти во время заседаний лозаннского конгресса—на Дальнем Востоке происходили во французском Индо-Китае события значительно менее благоприятные с точки зрения „национального принципа“. В Аннаме, состоящем с 1884 года под фрацузским „протекторатом“, то-есть являющимся на самом деле французской колонией, произошло форменное восстание под знаменем национальной независимости. Французской прессе разрешили писать об этом лишь через несколько недель после события, но патриотическая и благомыслящая пресса не воспользовалась разрешением. Разумеется, „Humanité“,—этот орган ханжества, лицемерия и лжи,—не заикнулась ни словом о событии, кровным образом связанном с судьбою $5^1/_2$ миллионов аннамитов. И если мы имеем сейчас „цензурную возможность“ сообщить читателям хоть скудные данные об аннамском восстании, то опять-таки благодаря тому же реакционному органу „Éclair“.

Молодой император Аннама Дуй-Тан, являющийся по существу лишь туземно-монархическим орнаментом на фронтоне колониального господства республики, вошел в сношения с национально-революционной организацией своих „подданных“, бежал, по соглашению с ними, из своего дворца в село, откуда обратился к народу с революционным воззванием, провозглашающим независимость Аннама. Но власти третьей республики оказались на высоте. Мятежник был пойман, привезен обратно в „свою“ столицу Гюэ, низложен и заперт в крепость, где он сейчас имеет достаточно долгий досуг не только для того, чтобы выучить наизусть „Декларацию прав“, но и для того, чтобы прочитать полный комплект „Humanité“ за время войны (если, конечно, низложенному императору будет разрешено в тюрьме чтение газет).

„В этих далеких странах—берем для образца цитату из „Revue Hebdomadaire“, чтоб показать дистанцию между действительностью и казенной идеологией—в этих далеких странах народная

душа трепещет за одно с душою французского народа; на этом Дальнем Востоке, который казался (!) почти враждебным нам, мы видим трогательную картину того, как тысячи бонз возносят молитвы Будде за победу нашего оружия" и пр. и пр. Это писалось осенью прошлого года... И через месяц, примерно, когда дальне-восточный „император", устраивавший недавно сборы в день пушки „75"—об этом тоже недавно писалось с умилением—будет доедать свой тридцатый арестантский паек, а во Франции о восстании позабудут и те немногие, которые узнали о нем,—патриотические и социал-патриотические перья снова станут писать умиленно о „трепете" аннамитской души. Мало того. Каждый раз, когда Реноделю на улицах Парижа будут попадаться на глаза привезенные сюда индо-китайские солдаты, он напомнит рабочим Франции, что Республика приобщает и меньших аннамитских братьев к великой борьбе за принцип национальностей.

„Наше Слово", 13-го июля 1916 г.

„Судьба идей".

Итоговая статья нашей газеты „Два Года" („Наше Слово" № 179) уже одним видом своим иллюстрирует положение, какое сложилось после двух лет войны. По тем немногим фразам, которые капризный дух цензуры оставил нетронутыми, читатели могли видеть, что в статье речь шла, во-первых, о военных итогах двух лет, во-вторых, о внутреннем положении в воюющих странах. И вывод, притти к которому не могла запретить читателям цензура, гласит, что о *военных* итогах двух лет нельзя говорить с минимальной свободой—именно в виду *„внутреннего* положения в воюющих странах".

Гораздо свободнее, как оказывается, можно говорить об *идейных* итогах войны или, точнее, о судьбе тех идей, иероглифы которых украшали в первую эпоху военные знамена. По крайней мере реакционная, в частности монархическая пресса Франции пользуется на этот счет достаточной свободой.

Г. Жак Бэнвиль, молодой дипломат из роялистской „Action Française", которому, по сообщению этой газеты, давалась несколько месяцев тому назад какая-то неофициально-дипломати-

ская миссия в Россию, подвергает поучительной перекличке „идейные" лозунги войны.

„В эту вторую годовщину мы можем констатировать, что опыт произвел отбор в среде идей. Некоторое количество среди них он отбросил, и они умерли естественной смертью. Так, еще шесть месяцев тому назад г. Ллойд-Джордж говорил: „Эта война для нас — война демократии". Конечно, если отвлечься от Николая II, Георга V, Альберта I, Виктора-Эммануила III и еще нескольких коронованных голов, то эту мысль можно поддерживать. Но здравый смысл народов и суд истории готовы ответить: „Если демократия таким образом делает войну, никто не принесет ей своих поздравлений, ибо, имея за себя коалицию из трех великих держав и из более чем трехсот миллионов человек, она не сумела еще разбить коалицию, состоящую только из двух первоклассных государств и не более 150 миллионов человеческих существ".

„Все меньше и меньше говорят, — продолжает наш автор, — об этой „войне демократии". Понемногу она исчезает из словаря, и это несомненный прогресс... Вместе со многими другими вещами, демократия, понимаемая как руководящий принцип этой войны, которую она вынуждена претерпеть, оказалась поглощенной минотавром". Незачем подробнее напоминать о том, как это чудовище пожирало одну демократическую гарантию за другой: сейчас оно растирает стальными зубами последние остатки права убежища. „Мы видели, равным образом, — продолжает Бэнвиль, — как выходили из употребления другие формулы, которыми раньше злоупотребляли по обеим сторонам канала. Возьмем для примера часто повторявшееся выражение: вести войну с прусским милитаризмом, — что это должно было означать? „Unsinn" (бессмыслица) отвечали немцы, которые не были неправы. Но зато мы очень хорошо знаем, что такое Пруссия. Мы можем очень точно определить, а если судьба оружия позволит, то и разрушить прусское государство и германскую империю... Разрушить прусский милитаризм это значит пытаться птице насыпать соли на хвост, — союзники могут долго гоняться за этой целью". Иное дело — расчленение Германии. Эта задача может, разумеется, оказаться в данное время недостижимой по соотношению военных сил, но это по крайней мере реальная, а не фантастическая задача...

„Третья глава в этих итогах, — продолжает Бэнвиль, — принцип национальностей, отступает на задний план. Политика относилась уже и раньше к нему с недоверием, политическое красноречие теперь отворачивается от него. Все заметили опасность этого обоюдоострого оружия, пагубного наследия другого века"...

Бэнвиль не останавливается и на этом. „Пришлось, — говорит он, — отказаться и еще от одной идеи, от очень опасного заблуждения, также родом из другого века, той идеи, которая воодушевляла людей 1792 г., стала иллюзией XIX столетия, вплоть до сурового пробуждения 1870 г., которая снова появилась на мгновение в начале войны 1914 г., чтобы сейчас же пасть под ударами действительности. Никто не верит более в идею войны для пропаганды. Никто не воображает более, что враг примет из наших рук дар бессмертных принципов. Это тоже отживший „революционный романтизм" (выражение г. Бриана). Даже немецкие социалисты наиболее радикальной тенденции, — говорит Бэнвиль, — как „Leipziger Volkszeitung" ответили, что они не хотят свободы, принесенной на конце штыков. Нужно и по этой мечте возложить на себя траур".

Критическая позиция, какую занимает роялистский публицист, вооружает его несомненной проницательностью, — в тех пределах, по крайней мере, в каких это совместимо с политическими интересами его партии. Ко второй годовщине войны никто из официозно-республиканских социал-патриотических политиков не вспомнил о „судьбе идей". Эти последние выполнили свою роль: для одних они были орудием обмана, для других — средством успокоения собственной совести в наиболее критический период. Но теперь дело сделано, позиции заняты, и приходится нести на спине ношу последствий. Иллюзорные идеи не нужны более, — и те, которые их сеяли, пытаются теперь отделаться от них молча. Но реакция, не только роялистская — не хочет и не допустит этого. Ей важно показать, что там, где были идеи, осталось пустое место, которое должно быть заполнено религией, авторитетом, традицией.

Нельзя бороться с реакцией, противопоставляя ей пустое место или выветрившееся вольтерьянское зубоскальство, как „Bonnet Rouge", Сикст-Кенены и пр. и пр. Вожделениям черной реакции, как и питающему ее идейному пустому месту правящих

должны быть противопоставлены те идеи, которые снова подтверждены всем опытом двух лет, — идеи революционного социализма.

„Наше Слово“ 6 августа 1916 г.

Вандервельде, „Наше Слово“ и „Vorwärts“.

В парижском издании Алексинского—Плеханова мы находим перепечатанным из „Vorwärts'a“ опровержение нашей заметки относительно маленькой неудачи Вандервельде на фронте. Как помнят наши читатели, дело состояло в следующем. Во время одной из поездок красноречивого бельгийского интенданта на фронт, бельгийский солдат-социалист в фамильярном тоне напомнил ему о тех речах, которые Вандервельде произносил до войны, и тем помешал ему произнести одну из входящих в его новые обязанности jusqu'au bout'истских речей. По поводу этой заметки, обошедшей значительную часть социалистической прессы, „Vorwärts“ (по сообщению „Призыва“) заявил недавно, что ему сообщили из Амстердама, что воспроизведенное „Vorwärts'ом“ сообщение парижского „Нашего Слова“ лишено всякого основания. „Мы сожалеем, — пишет „Vorwärts“, — что введены в заблуждение сообщением этого обычно хорошо осведомленного издания“ [1]).

Мы, с своей стороны, думаем, что редакция „Vorwärts'a“ слишком легко приняла за чистую монету амстердамское опровержение.

От кого оно исходит? Об этом нам ничего не говорят. Кому и каким образом в Амстердаме удалось убедиться, что „ничего подобного не было“? Для этого, рассуждая логически, существовало два пути: 1) опросить всех бельгийских солдат, 2) справиться у самого г. Вандервельде. Так как первый путь практически вряд ли осуществим, то остается предположить, что сам г. Вандервельде поручил какому-либо голландскому посреднику опровергнуть в „Vorwärts'е“ сообщение „Нашего Слова“, под

[1]) „Призыв“ переводит: „листка“. В оригинале, которого мы не видели, очевидно сказано Blatt, что значит газета, издание. „Призыву“ нужно подставить „листок“ по тем же мотивам, по которым Гурлянд называл оппозиционную прессу не иначе, как „левыми листками“.

условием не называть при этом бельгийского министра, ибо этот последний не может, разумеется, иметь никаких „сношений“ с германской прессой. Если бы даже Вандервельде не был в этом эпизоде заинтересованным лицом; если б мы даже верили, что министрам вообще, бельгийским в частности, никогда не приходится прибегать к таким опровержениям, которые, легко говоря, нуждаются в проверке, то и тогда совершенно анонимный характер приведенного выше официозного опровержения, где сам Вандервельде открыто не ангажируется, не мог бы не вызвать подозрительности и недоверия.

Что касается нас, то мы почерпнули наше сообщение из уст присутствовавшего при рассказанной у нас сцене бельгийского солдата, который, в качестве уволенного в краткосрочный отпуск, провел несколько дней в Париже. Этот солдат, убежденный социал-патриот, лично известен нескольким французским товарищам в качестве лица, заслуживающего полного доверия. И так как он, будучи политическим единомышленником Вандервельде, нимало не заинтересован был в измышлении неприятных для г. министра анекдотов, то мы считаем себя вправе верить его простому фактическому рассказу, а не анонимно-официозному опровержению.

Мы могли бы этим ограничиться, если бы г. Вандервельде не дал нам еще дополнительного аргумента. Во вчерашнем номере „Le Petit Parisien“, наиболее распространенной французской газеты, рассчитанной на всех, питающих органическое отвращение к критической мысли, напечатана статья г. Вандервельде о его новой поездке на французский фронт. Бельгийский министр, которого редакция называет „notre éminent collaborateur“ (наш выдающийся сотрудник), нравоучительно ставит в пример англичанам и бельгийцам „удивительных солдат Франции, скромных и веселых, довольных малым, удовлетворяющихся, когда они хоть с некоторой регулярностью получают хлеб, вино и мясо“... И г. Вандервельде прибавляет, что ему хотелось сказать каждому из них: „Мерси, солдаты Франции, вы, которые сражаетесь рядом с нами (à nos (?) côtés) — насколько мы знаем, г. Вандервельде пока что не сражается?—вы, которые силою вашего доверия спасаете“ и пр. и пр. в том же тоне казенно-лирического снобизма... Теперь представьте себе, что г. Вандервельде, в качестве шефа бельгийского интендантства, в том же стиле рекомендует бельгийским

солдатам быть подобно французским, скромными, и довольствоваться тем количеством хлеба, вина и мяса, какое поставляют им интенданты короля Альберта. Мудрено ли, если среди его подневольных слушателей найдется социалист, который предложит бывшему председателю Интернационала для ораторских прогулок подальше выбрать переулок?...

„Наше Слово", 22 августа 1916 г.

„Солидные аргументы".

„Осведомленный" (Le Renseigné) из„ Libre Parole" продолжает выражать свое крайнее недовольство политикой союзников в Греции. Полу-восстание в Салониках, о котором так шумно оповестила Францию печать, как о национальном пробуждении эллинов, „обнаруживается—по словам реакционной газеты—все более и более, как совершенно ничтожное событие, как чисто местная интрига, против которой, однако, законные власти оказываются совершенно обезоруженными. Не зашли ли (союзники), в самом деле, так далеко, что просили войска, оставшиеся верными правительству, сдать оружие!" „И к чему это все?"—недоумевает г. Осведомленный: „разве был пример, чтобы Греция отказывалась когда-нибудь от выполнения требования, предъявленного в „надлежащем тоне" и дополненного „солидными доводами"—в виде флота в 30 боевых единиц! Газета решительно отказывается признать гениальность г. Бриана, который развел пары своих „солидных аргументов" на полгода позже, чем следовало.

„Призыв" также оспаривает исключительные заслуги французской дипломатии по части убеждения Румынии и Греции в преимуществах союзной справедливости над австро-германской: главная задача в балканских успехах принадлежит, по мнению компетентного в своем роде органа, не дипломатам с Quai d'Orsay, а московским рабочим и самарским трудовым крестьянам, которые новой лавиной своих трупов дали могущественный толчок дальнейшему национальному пробуждению румынских и греческих рабочих и крестьян. „Есть еще справедливость на земле!" пишет русская социал-патриотическая газета, наблюдая маневр союзного флота в Пирее.

Г. Ренодель также усматривает сквозь густые испарения, исходящие от балканских событий, неуклонное шествие международного права. Американский президент Вильсон крайне своевременно произнес речь, достойную „демократа, который—через все трудности—стремится к осуществлению воли к миру“ („Humanité“). Правда, что нужно поскорее „продать“ Соединенным Штатам Антильские острова—иначе пацифист и демократ Вильсон займет их военной силой. Но, ведь, совершенно ясно, что чем больше территорий милитаризм подчинит северо-американскому пацифизму, тем непреодолимее будут успехи этого последнего.

Имея за себя, с одной стороны „солидные аргументы“ в Пирее, с другой — непреклонную пацифистскую волю в Вашингтоне, Ренодель, насколько можно судить, не видит сейчас никаких оснований настаивать на выполнении резолюции последнего Национального Совета, требующей от правительства громогласного объявления „целей войны“: при столь безупречных средствах цели не могут не быть безупречными. Ренодель предоставляет поэтому со спокойной совестью заботу о „целях войны“ своему младшему брату, Жану Лонге, пацифистское беспокойство которого, свободное, впрочем, от нетерпения, также входит необходимой составной частью в процесс торжества международной справедливости.

Но над Жаном Лонге—для равновесия—бодрствует главный редактор „Figaro“, г. Капюс. Этот бывший водевилист в течение десятилетий не отходил от замочной щели парижских спален,—занятие, которое развило в нем необходимый реалистический глазомер для уразумения истинной природы международных отношений. Клемансо настойчиво называет Капюса другом г.г. Пуанкаре и Бриана. Мы об этом ничего не знаем. Но если Капюсу дороги его друзья (которым он тоже обходится не дешево), то не менее дорога ему, как сейчас увидим, истина. „Тщетные прения о целях войны — свидетельствует Капюс — совершенно прекратились как в Англии и Франции, так и в самой Германии“. Иначе и быть не могло. „Отныне очевидно, — продолжает он,— что война остановится не частичными волями, не решением какого-либо правительства, не каким-либо вмешательством, но исключительно, когда она завершит дело, окончательные очертания которого ускользают от нас... Вчера—продолжает Капюс—

вмешалась Румыния со своими национальными требованиями, завтра вмешается, может быть, Греция". Друг сильных мира сего далек от мысли мещанской улицы, будто вмешательство новых стран, которые вводят в игру не только новые силы, но и новые аппетиты, упрощает и сокращает войну. Наоборот. „Мы тогда только начнем ясно различать в этом хаосе, пишет он, когда одна из враждебных групп будет находиться всецело во власти (à la merci) другой. Тогда глубокие тенденции войны 1914 года выступят с бьющей силой наружу, и условия мира истекут отсюда совершенно естественно",—и вполне независимо от чертежей Лонге. В предчувствии этой ситуации, нетерпеливый радикально-аннексионистский „Rappel" свидетельствует о непрерывном росте движения „общественного мнения" в пользу завладения левым берегом Рейна, где Ренодель сможет водрузить знамя права и пацифизма. Но это пока что музыка будущего. То, что есть сейчас—по характеристике Капюса—это расширяющийся и усложняющийся „хаос", справиться с которым бессильны сами правящие. В безбрежном хаосе, при молчании народов, развивают свою автоматическую силу машины истребления—единственные „солидные аргументы" с той и с другой стороны.

„Наше Слово" 7 сентября 1916.

В атмосфере неустойчивости и растления.

Смена Фалькенгейна Гинденбургом на посту начальника генерального штаба, т.-е. действительного главнокомандующего всех германских армий,—Вильгельм II, фиктивный носитель этого звания, упражняет свой стратегический гений, главным образом, на произнесении пред немецкими пасторами благочестиво-солдафонских речей,—смена Фалькенгейна Гинденбургом есть один из многих симптомов не вчера начавшейся утраты равновесия по ту сторону Вогез. Немецкая пресса истолковывает эту смену на разные лады: органы крайнего империализма, главную цель войны видящие в низвержении мировой империалистической диктатуры Великобритании, опасаются, что Гинденбург окончательно перенесет центр тяжести военных операций на Восток. Наоборот, те элементы, которые считают необходимым ограничиться на сей раз более скромными задачами, как и те, которые все еще экс-

платируют лозунг „борьбы с царизмом“, приветствуют смену, усматривая в ней победу своего героя Бетман-Гольвега над „экстремистом“ Фалькенгейном. Каковы планы самого Гинденбурга—никто не знает. Заявляя себя „неполитиком“, Гинденбург по возможности уклоняется от объяснений по поводу, так называемых, „целей войны“. Весьма вероятно, что этому наиболее выдающемуся мясных дел реалисту двухлетний опыт военных операций достаточно ясно показал тщету великих планов, которые быстро истощаются в этой войне на истощение.

Руководящие круги немецкой социал-демократии, давно выбитые из равновесия движением низов, пустили в массовый оборот „петицию о мире“, которая, под видом давления на правительство, имела своей задачей оказать поддержку „умеренному“ Бетману против крайних аннексионистов. Но даже эта благонамереннейшая манифестация, вся целиком идущая под знаменем „национальной обороны“, показалась опасной правящим верхам—и власти сплошь да рядом запрещают собирание подписей. Что в самом деле, если полу-политическое, полу-интриганское петиционное предприятие, долженствовавшее сыграть роль вспомогательного фактора в борьбе полубогов гогенцоллернского Олимпа, даст непредвиденный толчок Ахерону рабочих масс?

Страх пред этим последним есть, несомненно, наиболее устойчивый момент во внутренней политике Германии. Аресты революционных социалистов идут непрерывно. Роза Люксембург и Франц Меринг—в тюрьме. Карлу Либкнехту военный суд повысил первоначальное наказание до четырех лет. Этот новый приговор, который, по замыслу его авторов, должен был, очевидно, стать демонстрацией уверенной в себе силы, на самом деле произвел впечатление растерянного озорства. Тем не менее—а может быть именно потому—он с успехом выполнил свою роль, твердо закрепив на экране народного сознания фигуру революционного борца.

С того времени, как тюремщики Гогенцоллерна, текущие расходы которых патриотически покрываются Шейдеманами и Эбертами, заперли Либкнехта на замок, сервильные души штатных социалистов стран Согласия решили, что настал час использовать имя Либкнехта для борьбы против его идей—на почве Франции. В течение месяцев французская пресса, почерпая свою информацию из лужи „Humanité“, рассказывает, что Либкнехт

возлагал ответственность за войну исключительно на правительство Гогенцоллерна; что, считая страны Согласия находящимися в состоянии законной самообороны, он своей революционной оппозицией только дополнял освободительную работу Реноделей, Плехановых, Гайндманов и прочих Муссолини. Так лгут они на скованного, как на мертвого.

Но если сам Либкнехт в каменном мешке, то его заявления и действия остались, как исповедание его политической веры. „Мне трудно писать эти строки—восклицает Либкнехт в письме к английским социалистам (декабрь 1914 г.)—в такой момент, когда лучезарная надежда прежних дней, Интернационал, лежит разбитым на земле, в момент, когда многочисленные социалисты воюющих стран—*ибо Германия не исключение*—в этой наиболее хищной из всех завоевательных войн добровольно впрягли себя в колесницу милитаризма... Но в то же время, продолжает Либкнехт, я счастлив и горд, посылая мой привет вам (Независимой Рабочей Партии), которые, вместе с нашими русскими и сербскими товарищами, спасли честь социализма среди безумия нынешней бойни... Все такого рода фразы, пишет он далее, как „национальная оборона“ и „освобождение народов“, при помощи которых империализм украшает свои орудия смерти, не что иное, как мишура и обман. Всякая социалистическая партия имеет своего врага, общего врага Интернационала, в своей собственной стране“. Разве это не ясно? Сам Либкнехт боролся с врагом прежде всего в своей собственной стране. Либкнехт наш, а не ваш. Во всей своей последующей деятельности он стоял целиком на почве Циммервальда, примыкая к революционной группе „Интернационала“ (Люксембург—Меринг). И подумать только, что приведенное выше заявление Либкнехта печаталось в свое время в... „Humanité“! Но, ведь, память у людей коротка: отчего бы пленника Гогенцоллернов не превратить в союзника Романовых? Подлые души! Братание „Humanité“ и „Призыва“ с Либкнехтом войдет в историю этой проклятой эпохи, как самый яркий пример социал-патриотического растления.

„Наше Слово“ 8 сентября 1916 г.

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ.

Сбиваемый с толку честный европеец.

Шарль Моррас, ведущий изо дня в день агитацию в пользу монархического переворота с такой свободой, которой французские интернационалисты могут только завидовать, совершенно неистощим в изобретении все новых и новых аргументов в пользу монархии. Взять, например, Россию. Французские республиканцы вынуждены, как не без скрытой ядовитости замечает Моррас, отнести Николая II к счастливым исключениям, ибо они не могут не признать, что это „честный человек, настоящий и прямой европеец, хотя и монарх“... Но почему же у этого „счастливого исключения“ все валится из рук? У Морраса есть и на это ответ: „Правительства Николая, как и Альберта и Георга, захвачены демократией или демократическим духом в слишком сильной степени“.

Теперь все понятно: нашего „честного европейца“ сбивают с толку демократические идеи Горемыкина и Хвостова. Если б не Моррас, ни в жизнь бы не догадаться!

Расширение власти Альберта Тома.

Товарищ военного министра Альберт Тома, виднейший член социалистической партии, заведывал до сих пор артиллерией и амуницией. Ныне особым декретом ему же подчинено производство пороха, а также оставшаяся до сих пор независимой от него амуниция для саперов и аэронавтики. Все это явно свидетельствует о лихорадочном росте влияния французского социализма!

„Будем думать!..“

В одной из последних тетрадей „Les hommes du jour“ Жорж Пиош (тот самый литератор, который так тепло приветствовал Мергейма и Бурдерона) пишет о женщинах и войне. „Будем думать—восклицает Пиош—о вас, Клара Цеткин и Роза

Люксембург, которые всей своей великодушной слабостью восстали против войны и брошены в прусскую темницу; и....“ После этого „и“—цензурное пятно. О ком еще приглашал нас думать Жорж Пиош? Разве еще какая-нибудь женщина брошена в темницу [1])?

Уму непостижимо.

„La Bataille Syndicaliste“ сообщала на-днях, что известный голландский социалист Ван-Коль вывез из своего недавнего пребывания в России в своем роде достойное внимания сведение: у жены бывшего военного министра Сухомлинова состоял в любовниках немецкий шпион, который, соединяя полезное с приятным, располагал не только спальней министра, но и его рабочим кабинетом.

И чего только смотрел Алексинский? Уму непостижимо!

Слово за „Призывом“!

Мы уже сообщали на-днях о гениальном плане высадки в Варне попов с киевскими иконами. Это была, как помнят наши читатели, несравненная идея Густава Эрве. Но Клемансо разошелся со своим недавним подголоском не только насчет целесообразности салоникской экспедиции, но и на счет характера будущей русской высадки на болгарское побережье. О попах и об иконах Клемансо не говорит ни слова, зато он категорически требует, чтобы во главе десанта стал сам царь, и сегодня опять предсказывает полную дезорганизацию болгарской армии, как только она столкнется грудь к груди с нашим венценосцем.

Вопрос по нашему мнению очень серьезный: попы с иконами или Николай II? Мы считаем совершенно недопустимым дальнейшее молчание по этому поводу „Призыва“. Его голос должен быть услышан в этот критический час!

„Наше Слово“, 26—27 октября 1915 года.

---

[1]) С разрешения цензора, мы можем сейчас рассеять недоумение т. Альфы: кроме Р. Люксембург и К. Цеткин, арестована была за агитацию против войны французская социалистка, т. Сомоно, сейчас уже освобожденная.

Редакция.

Ах, вот оно что!

Приводимая редакцией „Нашего Слова“ цитата из письма г. Белоруссова бросает некий сноп света на это довольно-таки „темное“ дело. Раньше мы знали только, что парижский корреспондент „Русских Ведомостей“ намерен лишить художников огня и воды, как пораженцев и дезертиров. Хотя ни в какой теории живописи, скульптуры или музыки не сказано, что художественный талант не отделим от мелодии „Гром победы, раздавайся!“, тем не менее, говорили мы себе, весьма возможно, что, по либеральной теории г. Белоруссова, русский художник лишь в том случае заслуживает поддержки, если он сочувствует русским подвигам в Тегеране и Лемберге и не сочувствует немецким подвигам в Вильне и Варшаве. Как хорошо, сказали мы себе, что Ромэн Роллан не русский художник и что участь его не зависит от г. Белоруссова! Но относительно Ромэн Роллана дело, по крайней мере, ясно: этот человек вслух и на всю Европу, на весь мир сказал, что презирает немцеедов, как Берне некогда облил презрением тогдашних немецких французоедов. Если б Ромэн Роллану пришлось пострадать от французских Белоруссовых, так по крайней мере известно было бы *за что*: поэт не скрыл свой светильник интернациональных чувств под спудом, а поставил его на горе, дабы светил всем людям.

Но за что же, спрашивали мы, должны страдать русские художники в Париже? Разве они, вместе с Ролланом, заявили, что дух художества свободен и потому веет, где хочет, не останавливаясь перед пограничными шлагбаумами? Разве они протестовали против грубой и глупой травли на немецкое искусство? Нет, мы о таких выступлениях ничего не слышали. Русские художники в Париже оставались все время тише воды, ниже травы. За что же, спрашивали мы, воздвигнуто против них гонение? По какому признаку, недоумевали мы, они сопричислены к „пораженцам“? Цитата, сообщенная „Нашим Словом“, дает почти достаточный ответ на эти вопросы. Г. Белоруссов говорит не о русской, а о „русской“ колонии в Париже. Так вот оно что! Патриотический взор бывшего левого человека

смущен обилием инородцев, преимущественно евреев, в художественной колонии Парижа. И хоть эти инородцы молчат, но г. Белоруссов помнит (в качестве бывшего левого человека) о том, как правящая Россия расправляется с инородцами, и он умозаключает, что люди, которых гонят, преследуют, унижают, не склонны бывают, если это не жалкие рабы, к чрезмерному „патриотическому" энтузиазму. И он пишет в Москву: не поддерживайте этих художников,—среди них много инородцев, стало быть „врагов России"!

Выглядит ли фигура г. Белоруссова в этом новом освещении привлекательнее, мы не знаем. Но она, во всяком случае, выглядит определеннее.

„Наше Слово" 19 ноября 1915 года.

79. Rue de Grenelle.

В течение последней кампании против русской эмиграции небезызвестный роялист г. Леон Додэ дважды выступал в своей газете „Action Française" с разъяснением того, какие именно бумаги надлежит требовать у русских эмигрантов:

„Единственно законным удостоверением личности должен почитаться документ русского консульства, 79, Rue de Grenelle, в Париже, с гербовой маркой, документ, указывающий разряд, к какому принадлежит предъявитель, и подлежит ли он мобилизации".

К этому разъяснению Додэ дважды присовокуплял, что он почерпнул его из „авторитетного источника", и первый раз закончил так: „Власти предупреждены!".

Очень отрадно видеть, что г. Додэ так твердо знает адрес русского консульства. Следует предположить, что в русском консульстве имеется визитная карточка г. Додэ, и что там твердо знают адрес главного редактора „Action Française", заведующего делами будущего французского короля в нынешней французской республике.

„Народная Мысль".

В Петрограде выходит с ноября журнальчик патриотических любомудров и богословов народнического толка. В качестве „ближайших" сотрудников знакомые все лица: Авксентьев, Бунаков, Воронов, депутат Дзюбинский и др. Редакционная статья начинает с акафиста, „цельной и гармонической личности", клянется Герценом, Чернышевским, Лавровым и Михайловским и приходит на второй страничке к тому, что „русская демократия обязана принять самое деятельное и активное участие в обороне страны". Все это изложено языком недоучившегося семинариста. Вот для образца фраза из программной статьи, которую Тяпкин-Ляпкин и Кифа Мокиевич писали совместно: „*Переходя* к нашим очередным задачам в связи с переживаемым политическим моментом, *наш журнал* считает крайне необходимым ясно определить свою позицию в вопросе о войне". Все остальное в том же приблизительно духе, так что, по слухам, в России создается — в дополнение к организации защиты отечества — организация защиты отечественного синтаксиса от редакции „Народной Мысли".

В заключение патриотические народники посылают трогательное приветствие по адресу социал-патриотов „Нашего Дела". Но это приветствие должно быть воспроизведено дословно: „Выступая с журналом в столь трудный и критический момент нашей (?) жизни, редакция „Народной Мысли" чувствует живую потребность послать товарищеский привет своему собрату — редакции „Нашего Дела" с искренним пожеланием полного успеха в достижении ее (?) конечных идеалов". Безграмотно, но зато от чистого сердца.

Разумеется, и В. Бурцев тут как тут. „Дорогие товарищи! Вы меня истинно обрадовали известием о вашем органе. Он теперь необходим!" Кончается письмо Бурцева надеждой на то, что „мы могли бы совместно поставить очень громко (!) всю борьбу за наше понимание задач, стоящих перед Россией". Декабрьская книжка ничего не прибавляет, кроме двух десятков страниц теоретической бестолочи к „громкому" вкладу ноябрьской. Успехов в синтаксисе тоже незаметно.

„Наше Слово", 8 февраля 1916 г.

Плеханов о Хвостове.

Мы уже знаем, что Хвостов одобряет Плеханова. Но Плеханова этим не купишь: не хочет одобрить Хвостова, да и только. Дело в том, что Хвостов сказал по адресу обывательской России: „Работайте шрапнели, изготовляйте снаряды, но от наставлений правительство увольте". Плеханов остался недоволен: „Так много, так страшно много бюрократического цинизма в словах г. Хвостова!" („Призыв", № 19)". „Это двистительно", как говорит мужик у Толстого: цинизма у Хвостова порядочно-таки; тут Плеханов что называется не в бровь, а в глаз, — удивительно подметил, несмотря на дальность расстояния... Далее, однако, выходит уже не так метко. Плеханов рассказывает, что Хвостов и вся реакция страшно обрадуются, если рабочие заставят Гвоздевых уйти из военно-промышленных комитетов. Как так? Да разве не Хвостов рекомендовал распространять плехановский манифест? Да разве не Хвостов помог гвоздевцам сломить волю петроградских рабочих и затем еще похвалялся этим? Нет, тут что-то... тае... тае... выходит не ладно. Не ладно, но не лишено целесообразности. После совместно одержанных побед, Плеханов теперь осторожно отмежевывается от своего союзника, размазывая „жалкие слова" по поводу его, хвостовского, цинизма. Молчаливо принимать административную поддержку Хвостова для побед над интернационалистами — одно, а морально солидаризироваться с ним — другое. В последнем нет никакой надобности. Этого не делает и Гучков, ибо от этого обеим сторонам был бы один вред. „Врозь итти, вместе бить!" этот стратегический принцип Плеханов перенес и в новый свой период, когда он помогает реакции бить революцию.

„Наше Слово", 11 февраля 1916 г.

Сервантес и Свифт.

Исполнившееся в апреле 300-летие со дня смерти Сервантеса породило немалое число газетных статей об авторе Дон-Кихота в обоих воюющих лагерях. Можно было бы усмотреть в этом силу культурно-исторических запросов человечества, если бы... можно было. На самом деле отношение к Сервантесу обнаружено приблизительно такое же, как и к „высоким" памятникам искусства: их ныне оценивают, как известно, под тем углом зрения, пригодны ли они в качестве наблюдательного пункта или— для прицела.

Творец Дон-Кихота, умерший триста лет тому назад, был мобилизован газетчиками в качестве агитатора за интересы центральных империй или Согласия. Если христиане по сю и по ту сторону надевают каски на голову Христа, какое же может быть основание у историков литературы щадить Сервантеса? Но дело не ограничилось историками литературы. Германский министр иностранных дел провел бессонную ночь над похождениями рыцаря из Ламанчи и, призвав на другой день испанского корреспондента, сообщил ему свое авторитетное мнение о высоких художественных качествах этого произведения. Немецкий юнкер-дипломат, как видим, отнюдь не игнорирует значения субъективного фактора в истории и потому, наряду с другими более материальными средствами обольщения, считает нелишним пощекотать национальное самолюбие „гордого испанца". Узнав об этом литературно-дипломатическом интервью, французская пресса позеленела от зависти. Ведь среди „преклонных" министров без портфеля, не обремененных работой, имеются и такие, которые достаточно еще сохранили твердой памяти для интервью о Сервантесе...

Поистине, нашему времени не хватает Ионатана Свифта, мизантропического сатирика человеческой низости. Господам дипломатам, да и не только им одним, было бы весьма ко времени освежить в своей памяти творения автора Гулливера. Для этого имеется достаточный хронологический повод, так как в ближайшем году исполняется 250 лет со дня рождения Свифта. Любознательные дипломаты и министры без портфеля припомнят при

этом, что Свифт, борец за права Ирландии, родился и умер в Дублине. Это даст им повод навести через своих журналистов небезынтересные справки насчет того, вполне ли уцелели под артиллерийским обстрелом Ллойд-Джорджа те дома, в которых жил Ионатан Свифт. Мы не решаемся предсказывать, какое влияние окажут эти исследования на дальнейшую судьбу гомруля, но мы зато не сомневаемся, что мизантропический дух Свифта найдет в них полное удовлетворение. Faites vos jeux, messieurs! Продолжайте вашу игру, почтенные!

„Закон механики".

Балканская война — ее тоже называли „освободительной" — началась, как и полагается, с установления цензуры: пушечные жерла, как известно, лишь с того момента получают способность провозглашать начала свободы, когда людские глотки заткнуты достаточно плотно. Софийский комендант — Болгария тогда вела войну „цивилизации против варварства" — постукивал плетью по своему письменному столу и приговаривал по адресу редактора „Работнического Вестника": „Я у тебя этим пропишу газету на спине"...

Комендант был заведомый вор, чуть ли не со взломом, но это нисколько не мешало ему охранять освободительную войну от социалистической критики и вообще от всякого движения человеческих мозгов. И при виде того, как пресса и „общественное мнение" почтительно склонялись пред цензурной плетью, немудрено было заразиться недоверием к крестьянской демократии. После того мы, конечно, многому научились...

(выкинуто цензурой 20 строк).

Если кто-либо во французской прессе ведет, по крайней мере на свой лад, борьбу против „зажимателей рта" (les silentiaires), так это Клемансо. Считая себя с полным основанием членом той корпорации, которая призвана зажимать рты другим, он испытывает припадки бешеного негодования, когда один из тех чиновников, которые завтра будут ему подчинены, вычеркивает его статью (NB: вычеркнуть статью гораздо легче, чем написать ее). Таким образом, в бешенстве Клемансо нет ничего

принципиального. Когда Вивиани закрыл „Голос", выполнявший все предписания его собственной цензуры, Клемансо, поставленный в известность об этом чисто-ташкентском беззаконии, не пошевелил и бровью: он меньше всего склонен причинять огорчения тем, в угоду которым был закрыт „Голос". Более того: он ни разу не поднял в сенате вопроса о цензуре и ее издевательствах над ним самим, не желая парламентским выступлением создать в будущем затруднения самому себе. Нельзя, однако, отрицать, что „скованный человек" Клемансо [1]), то-есть человек, неистово борющийся за право сковывать других, бросает иногда в лицо сегодняшним хозяевам положения очень поучительные политические предсказания. „Общественная мысль работает медленно, — жалуется Клемансо, — мужчины в бою, старцы и женщины склоняются к убежищам пассивности... Однако, мы доберемся до конца этой жестокой войны выносливости не раньше, чем пройдем через испытания, которые до последней степени обострят нашу восприимчивость. Как предвидеть те формы, в которые выльется реакция на все наши страдания? Когда наши герои возвратятся, истекая кровью после гигантских боев, их первой потребностью не будет ли знать и судить? Матери, жены, сыновья подведут счет своим мертвецам и своим калекам. Это будет часом суда совести, тогда зажимателям рта останется только попрятаться. К тому времени кое-что произойдет в траншеях. Накопление мыслей, слишком долго сдерживавшихся, потребует открытых объяснений при свете дня. Закон механики учит, что противодействие соответствует по силе действию".

Клемансо, разумеется, рискует просчитаться, спекулируя на то, что „закон механики" будет иметь главной своей задачей — передать в его руки власть. Но он, по крайней мере, предвидит катастрофический перелом в настроениях народных масс, и в этом состоит его серьезнейшее преимущество пред многими политическими филистерами.

---

[1]) Свою газету „Свободный человек" Клемансо переименовал в „Скованный человек" из протеста против цензуры, которая в тот период служила не ему, а против него.

Две величины, порознь равные третьей...

В одной из своих статей в „Призыве“ Плеханов разжаловал Гримма в „господа“, за непризнанье защиты отечества, и одновременно возвел Густава Эрве в „товарищи“ за мужественный отказ от старых предрассудков анти-патриотизма. Так оно, конечно, и есть: во Франции товарищем Плеханову приходится Эрве, в Италии — Муссолини, в Англии — Гайндман, бежавший из им самим созданной партии. Оставалось только неясным, кто же является товарищем Плеханова в Германии? Не может же в самом деле быть, чтобы во всей немецкой социал-демократии не нашлось ни одного человека, которого Плеханов мог бы уравнять в правах товарищеского состояния с Эрве или Муссолини. Правда, сподвижник Гайндмана Адольф Смит считает, что Интернационал нужно вообще ограничить „свободными странами“, исключив из него социалистов гогенцоллернской Германии: но хорошо ему „истинному англичанину“, как он себя рекомендует во Франции, устанавливать такого рода ценз: на то ему и оставлен от предков парламентаризм. Предки же Плеханова, вместо того, чтобы заботиться о свободе, „такали-такали, да и протакали“. Можно бы, конечно, попытаться установить такое понятие свободы, которое, включая Ташкент, исключало бы Берлин, но это задача трудная и, по правде сказать, неблагодарная. Если же не исключать „не свободных“ стран, то нужно решить, кого именно пригласить из Германии, в качестве партнера Плеханову, Муссолини, Смиту и Эрве, для построения Интернационала? На этот вопрос дает как нельзя более точный ответ сам Эрве. В апрельской серии статей, посвященной кризису французского социализма, он ответственность за войну возлагает на... классовую борьбу, а спасение видит в развитии истинно-национального социализма в Германии и во Франции. „Единственная возможность — пишет Эрве — какая имелась для избежания этой ужасной войны, заключалась в том, что германская социал-демократия должна была стать национальной немецкой социалистической партией — такою, какою хочет ее теперь сделать, с помощью немецкого социалистического большинства, Зюдекум, который в тысячу раз умнее и реалистичнее, чем Гаазе, — причем эта националь-

ная социалистическая партия должна была объединиться с левыми буржуазными партиями, чтобы, с их помощью, установить в Германии парламентский режим"... („Victoire", № 93). Таким образом, Эрве довольно счастливо пришел к самопознанию и открыто удостоверил, что его единомышленником в Германии является Зюдекум. А так как Плеханов в свою очередь удостоверил, что Эрве ныне как раз созрел ему в товарищи, то — две величины, порознь равные третьей, равны между собой — приходится заключить, что немецким единомышленником Плеханова является никто иной, как Зюдекум. Читатели знают, что мы и раньше об этом догадывались. Но ныне наша догадка получила, так сказать, математическое подтверждение.

„Наше Слово", 16 мая 1916 г.

Почему не назвали Плеханова?

Некоторые внимательные читатели — существуют на свете и такие — подметили, что в перечислении объединенных республиканизмов „Призыва", — авксентьевского, бунаковского, любимовского и иных — мы опустили Плеханова. Это не спроста! — решили вышеупомянутые проницательные читатели. Плеханов не иголка, не заметить его „Наше Слово" не могло, — значит, обошло его имя по какой-то своей причине. После того, как эта логическая посылка была завоевана, до окончательного вывода оставалось рукой подать. Авксентьев, Бунаков и Аргунов компрометируют народничество, Плеханов же скандализирует марксизм. А так как „Наше Слово" марксистская газета, то... дальше уже все как на ладони. Правда, в перечне „республиканцев", ставших на дыбы при вести о поездке г. Тома к г. Романову, назван Любимов, — тоже „марксист", но под указанным углом зрения безвредный, ибо если он что компрометирует, то только самого себя. Но вот Плеханов не назван. И не назван Алексинский. На этом месте наш сметливый обыватель (а дело идет именно о нем) чувствует себя прямо-таки именинником: поймал „Наше Слово" на укрывательстве Плеханова!

— Но ведь это же чистый вздор, — воскликнет, пожалуй, другой читатель, которому природа отказала видеть на сажень под землей. — Когда же это „Наше Слово" потакало марксист-

ским социал-патриотам? Когда и в чем оно укрывало Плеханова? Да не наоборот ли: не выволакивало ли оно на свет божий его шаги и заявления?

— Так-то так...—возразит наш проницательный обыватель,— да вот про Авксентьева все же в заметке прямо сказано, что он пороха не выдумает, а о Плеханове — ни звука. Это не спроста...

Но тут мы должны вмешаться в диалог. Совершенно верно, что мы назвали одних и не назвали других не спроста, — только мотивы у нас были — как бы сказать? — и попроще и потоньше тех, какие открыл мудрствующий обыватель.

Что касается Алексинского, то тут больших комментариев не требуется: по соображениям литературно-санитарного характера мы стараемся как можно реже называть это имя. Иное дело— Плеханов. Когда мы писали о том заранее обдуманном республиканском переполохе, который демонстративно вынесла на свои столбцы объединенная редакция „Призыва", для нас было ясно, что в этом маневре Талейранов-Ляпкиных Плеханов решительно не причем. Духовный патрон „Призыва" любит срамиться, но *на свой лад.* Он не склонен подделывать угрызения республиканской совести, его „амплуа" — патриотическая неуклонность. Он открыто требует голосования кредитов Сухомлиновым и Хвостовым, — Авксентьевы стесняются. Значит Плеханова поездкой Тома не проймешь. Подобно отцу-эконому, который пред лицом ревизора проглотил найденного в булке таракана, приговаривая: „это — изюмина", Плеханов храбро проглотил поездку Тома и разве что слегка откашляется для произнесения приличного случаю каламбура, который впрочем, по исследовании, окажется подержанным.

Вот как обстоит дело... Политическая критика, как и многое иное в нашей сложной жизни, требует различения. И если необходимо во множественности открывать единообразие, то в самом единообразии нужно уметь наблюдать множественность. Так-то, г. мудрствующий обыватель!

„Наше Слово", 21 мая 1916 г.

Новый цензурный режим.

Можно ли говорить во Франции о том, что война вызывает „опьянение национализмом"? Это писалось в ряде газет десятки и сотни раз. Мы сами повторяли это — г. цензор припомнит без труда — достаточно часто и настойчиво. Можно ли сказать, что Всеобщая Конфедерация Труда испытывает „опьянение национализмом"? Мы это писали опять-таки десятки раз. Теперь нам внезапно запрещают говорить об этом. Что случилось? „Temps", достаточно казалось бы благонамеренный, пишет о необходимости возобновления политической борьбы — в частности борьбы против роялизма, ведущего во время войны неутомимую агитацию „за фантомы прошлого". Можно ли в виду этого сказать, что борьба „Bonnet Rouge" с „Action Française" есть предвестник боев новой республиканской „концентрации" против роялистской реакции? Казалось бы, можно. Но вчера нам запретили это сказать. Что это значит? Что случилось, г. цензор!

„Наше Слово", 14 сентября 1916 г.

Х. Г. РАКОВСКИЙ

V. Русские отголоски.

Грегус по демократическому списку.

Так как русская цензура стесняет русский либерализм в выражении чувств патриотического подъема по поводу освободительной миссии русской армии, то г. Милюков очень счастливо воспользовался интервьюером, чтоб довести до сведения европейского общественного мнения свои надежды и ожидания.

Настоящая война имеет своей задачей „уничтожение милитаризма“ и „упрочение принципов демократии“. Это мы слышали не раз и притом с разных сторон. Но полную уверенность в военном торжестве демократии получаешь только тогда, когда в защиту ее поднимается, как на этот раз, голос из утробы русского патриотизма. Старая парламентарная Англия располагает, в конце концов, как снова показывают события, слишком незначительными военными рессурсами, чтобы совершить освободительный поход по европейскому континенту. Вряд ли также можно отваживаться взваливать на республиканскую Францию, с ее 40-миллионным населением, задачу перестройки и перекройки Европы. Тем более утешительно услышать от г. Милюкова подтверждение той мысли, что царская Россия, с ее неисчерпаемым человеческим материалом — несмотря, увы, на все финансовые затруднения — взялась вплотную за „уничтожение милитаризма“ и „упрочение принципов демократии“. Та война, которою на русской стороне руководит великий князь Николай Николаевич, есть в сущности *„колоссальная революция* — против милитаризма за национальность, против империализма — за демократию“. Не совсем ясно, кому собственно принадлежит эта программа: г. Милюкову или великому князю? Если также и великому князю, то почему собственно Милюкову приходится об этой программе сообщать... на итальянском языке? Если пока-что только Милюкову, то какими путями предполагается на службу ей поставить русскую армию и русскую дипломатию? На этот счет г. Милюков выражается невнятно. „После этого страшного кровавого урагана — говорит он — народы имеют твердое право на мир и на освобо-

ждение от невыносимого бремени вооружений". Мы, правда, не думаем, что „право" на мир и свободу от милитаризма должно быть укреплено за народами посредством „кровавого урагана". Но вопрос сейчас не в этом, а в том, какие реальные силы призваны осуществить платоническое право на мир? Победившие демократии — говорит либеральный политик — должны принудить разоружиться не только страны, участвовавшие в войне, но и нейтральные". Это почти похоже на ответ, нужно только развернуть его содержание. „Победившие демократии" — это, стало быть, Франция и Англия. Но как быть с победившей автократией? Ясно: она должна быть принуждена разоружиться. Кадетский лидер призывает — иначе этого не поймешь — Францию и Англию — насильственно разоружить царизм. Вот какую революционную программу развивает русский либерал... на итальянском языке!

Какими путями „победившие демократии" выполнят эту задачу по отношению к победившей автократии, это опять-таки не совсем ясно. Голыми руками они царизм не возьмут. Выполнение программы г. Милюкова предполагает, в сущности, войну Франции и Англии против России — в целях обеспечения „права на мир". Не ошибаемся ли мы, однако, коренным образом в нашем истолковании мыслей г. Милюкова? Не включает ли г. Милюков в число победивших демократий также и царскую Россию — по тому же самому методу, по которому некогда предтеча русского официозного демократизма, Собакевич, включал Елизавет Воробья в список душ мужского пола? И не является ли эта собакевичская традиция основной предпосылкой всех либерально-патриотических спекуляций г. Милюкова на итальянском, как и на русском языках? Августейший Елизавет Воробей не мало должен был бы смеяться по этому поводу себе в бороду, если бы жестокая природа не отняла у него, в числе многих других даров, и дар иронии.

Г. Милюков как будто и сам почувствовал, что выходит как-то не кругло, а, может быть, его навел на эту мысль интервьюер Магрини. Кадетский лидер увидел себя вынужденным от перспектив международного пацифизма и международной демократии перейти к недостаткам внутреннего механизма. „Накануне войны — признает г. Милюков — русский народ был преисполнен недовольства, которое выражалось с большой энергией... На улицах происходили беспорядки, вызванные громадными

стачками". Устранены ли причины этого недовольства? Милюков не решается это утверждать. Зато он утверждает — и с известным основанием — нечто другое: *„Все недовольство России, которое накопилось против бюрократии, — нашло общий выход против Германии:* открылся как бы большой сток". Другими словами, Милюков признает, что война сослужила огромную службу делу реакции, позволив нашей постоянной внутренней опасности укрыться за внешнюю опасность и направив народное недовольство по ложному пути. Короче сказать, воинствующая реакция обманула народ. Правда, не весь народ. Мы знаем о поведении социал-демократических депутатов и трудовиков, о нелегальных прокламациях, ответе Вендервельде, аресте социал-демократической конференции. Наконец, и наш „Голос" не случайно возник, он отражает собою настроения и взгляды известной части народа. С кем же г. Милюков: с теми, которые обманывают, или с теми, которые разоблачают обман? Он с теми, которые хотят быть обмануты, чтоб сохранить за собой возможность помогать обманывать. Ведь в этом и вообще состоит скромное историческое амплуа русского либерализма!

Во исполнение своей миссии лидер русского либерализма уверяет итальянцев, что „по окончании войны русское правительство вынуждено будет склониться к необходимым демократическим реформам". Почему собственно? „Союзник Франции и Англии, русская нация ведет войну в защиту демократических принципов. Как же может быть, чтобы эти принципы не одержали победы внутри страны?" Совершенно правильно: правительство, ведущее войну во имя интересов демократии, прежде всего обеспечило бы этим принципам торжество в собственной стране. Но именно поэтому нелепой и постыдной ложью является утверждение, будто царизм способен вести войну во имя „демократических принципов". Что завоевание Галиции, Персии, Армении, Константинополя и проливов послужит развитию русского капитализма, сомнения нет. Но на этих основах процветет не демократия, а воинствующий империализм, который железным веером развернет свои задачи на Балканах, в передней и южной Азии и на Дальнем Востоке.

Даже итальянского интервьюера, повидимому, не вполне удовлетворил подписанный г. Милюковым демократический чек на неопределенное будущее. Он поинтересовался, как обстоят

дела сейчас. Что слышно насчет Польши, Финляндии, Кавказа и евреев? Но тут либеральный лидер сразу увял. „Можно думать", что Польша получит обещанную автономию. „Мы", во всяком случае, будем „хлопотать" за автономию Финляндии, где пока что вводятся бобриковские мероприятия, в свое время испугавшие даже Плеве. „Может быть", и Кавказ можно охватить автономией. Евреи? „К сожалению, среди солдат в Польше ведется усиленная анти-семитская пропаганда. Евреи обвиняются в шпионстве". И это весь задаток под демократию?

Нет, не весь. У г. Милюкова есть козырная карта. „Наибольшая победа, которую мы одержали над немцами, это уничтожение пьянства". Причем тут немцы? — спрашиваем себя в полном недоумении. Не намек ли на графа фон Витте, отца винной монополии и шефа придворной германофильской партии? Ничуть не бывало. Было бы неправильно искать в этой фразе намеков, как и вообще мысли. Одной из задач войны является, ведь, как мы уже знаем, направить недовольство, которое накопилось против бюрократии, по новому „стоку" — против Германии. Русский либерализм и взял на себя миссию одной из „сточных" канав. При этом приходится попутно выкидывать, как стеснительный балласт, даже те пятикопеечные истины, которые развивались самими либералами на антиалкогольных съездах: что голыми запретами ничего не достигнешь; что необходимо поднятие культурного уровня масс; что нужен простор для народной самодеятельности и пр. и пр. Если обо всем этом промолчать, то итальянец, пожалуй, не догадается, что русский мастеровой пьет сейчас денатурированный спирт и политуру.

Мы еще не исчерпали всего интервью, а между тем давно уже испытываем неловкость за тот политический уровень, на котором приходится удерживать читателя. Это проклятое время будет ошельмовано будущим историком не только как эпоха зверства и дикости, но и как эпоха глупости и лицемерия. Обе эти черты не случайны, в них отражается потрясающее несоответствие между войной и всей созданной человечеством культурой. Захваченные врасплох рецидивом самого отвратительного варварства, отдельные лица, партии и целые нации глупо или лицемерно приспособляют еще не позабытые ими понятия и терминологию сложной культуры к фактам кровавого грабежа и массового душегубства. Русский либерализм тут не исключение,

только положение его труднее. Так как историческая природа царизма проявляется в этой войне с несравненною яркостью в Лемберге, как и в „Петрограде", то русскому либерализму в его апологетической работе приходится расходовать непомерные количества обеих идеологических „субстанций": лицемерия и глупости.

— Вы видите, говорит г. Милюков европейскому общественному мнению: вот это наш общественный рижский Грегус. Раньше он у нас числился по застеночному ведомству и казенными свечами поджаривал пятки пойманным демократам. А теперь мы его перевели в Лемберг, и те же казенные свечи в его руках призваны играть роль факелов демократии. Народы имеют право на мир и свободу от милитаризма. И то и другое им даст Грегус, душегубствующий по демократическому списку.

„Голос", 10 декабря 1914 г.

Петроградские роялисты и французская республика.

Русский морской генеральный штаб установил недавно в своем „Морском сборнике", что во Франции „нет теперь правительства". Более того: „министры являются игрушками в руках палаты депутатов". Но хуже всего, что сама палата „не может похвастать незапятнанной репутацией". На. . . . . .

На этом, однако, не заканчивается политический парадокс, которого не придумал бы никакой сатирик, разве только что он обладал бы соединенными силами Салтыкова и Поль-Луи Курье. Наш морской генеральный штаб не просто обличает „выродившийся парламентаризм" Франции, но и авторитетно указывает союзной республике новые пути: она должна вернуться к „богу" и переменить „самую форму правления": „смехотворных тиранов" парламентаризма — так именно и выражается официоз русского морского министерства — должен заменить не смехотворный тиран монархии.

Мы совершенно не считаем себя призванными обелять буржуазную республику, тем более, что она имеет достаточный штат защитников помимо нас. Мы не хотим также ни в коем случае отказывать русскому морскому министерству в праве, — если у него есть для этого свободное время, — вести агитацию за замену

г. Пуанкаре герцогом Орлеанским. Тем более не входим мы в обсуждение вопроса, насколько уместен тот высокомерно-ноздревский тон, в каком орган русского морского штаба говорит о выборном представительстве французской нации. Но мы хотели бы спросить: можно ли сейчас на французской почве вести агитацию за республику в России — с той свободой, с какой в России ведется агитация за монархию во Франции? Опыт русской печати в Париже эпохи войны говорит нам: нет, нельзя!

Но и это еще не все. На-днях цензура вычеркнула в нашей газете передовую статью.

Нам запретили на-днях напечатать некролог, правда, не слишком почтительный, графу Витте. А в это самое время в России пишется убийственный некролог — не умершему французскому министру, а французскому парламентаризму и — кажется? — здравствующей французской республике. И где пишется? Не в независимом частном издании, как наша газета, за которую правительство республики не ответственно ни с какой стороны, а в правительственном органе, издающемся на средства русского государственного бюджета, в котором, как известно, луидоры третьей республики занимают не последнее место.

Нет надобности дальше рассматривать этот парадокс с других сторон: он одинаково хорош, как его ни поверни. Смущает нас только вопрос о политических выводах. Но мы будем кратки и, главное, скромны. Упражнения над нами французской цензуры мало способны убедить нас в демократизирующем влиянии Франции на Россию. Но они в то же время не делают нас сторонниками герцога Орлеанского. Мы далеки от того, чтобы требовать цензурных скорпионов, для петроградских роялистов и бонапартистов, как морских, так и сухопутных. Но в то же время мы хотели бы на их издевательства над парламентаризмом, народным суверенитетом и республикой ответить — с вашего позволения, г. цензор—лозунгом, который довольно хорошо звучит и на русском языке: Vive la République! Да здравствует республика!

„Наше Слово", 25 марта 1915 г.

Ва-банк!

Организованное 29 января при Государственном Совете совещание по экономическим вопросам представляло собою непредусмотренную никакими основными законами, совещательную конференцию бюрократических, дворянских и капиталистических верхов, — в целях некоторого „идейного“ контроля, а может быть и взаимного поддержания духа. Война фактически упразднила конституционный механизм — не только в России, но и в странах исконного парламентаризма. Партии народных масс либо добровольно надели на себя кандалы „национального единства“, либо, как у нас, заковываются в кандалы правительством при поддержке партий думского большинства. Освобожденная от всякого контроля, хотя бы в форме одной только критики, государственная машина превращается в упрощенный передаточный механизм между народным достоянием и разверстой пастью войны. Как во время мобилизации железнодорожное ведомство нарушает всякие регламенты и расписания поездов, так правительство каждой воюющей страны, а в России в особенности, попирает во время войны все нормы государственного хозяйства, руководясь одной целью: возможно больше выжать в кратчайший срок из достояния нынешнего и будущих поколений. И как нарушение железнодорожных регламентов неизбежно приводит в полное расстройство все сообщение, создавая на всех линиях „пробки“ и всюду поселяя хаос, так и военно-полевое государственное хозяйство лихорадочно подрывает собственные основы и, чем дольше длится война, тем больше упирается в тупик. Отмена водочной монополии, представляющая с фискальной точки зрения в своем роде „героическую“ меру, оказалась для старой бюрократии осуществимой только в условиях государственно-финансовой игры ва-банк: больше или меньше одним миллиардом, не все ли равно?

Но чем затяжнее война, чем неопределеннее ее перспективы, тем чаще должны правящие заглядывать в государственный, кошелек, тем тревожнее должны имущие верхи, первоначально озабоченные только барышническим использованием „национального“ предприятия, спрашивать себя: точно ли бюрократия знает

куда ведет и к чему приведет страну? Плодом этой нарастающей тревоги и явилось „экономическое совещание" Государственного Совета. Министры являлись на это совещание для „обмена мнений" с представителями „реальных интересов", в лице фон Дитмаров и Авдаковых, и „государственного разума", в лице отставных бюрократов. Однако, этот комитет общественного спасения имущих продержался недолго: 29 января произошло первое заседание. 1-го апреля (ст. ст.) совещание было неожиданно закрыто. Готовность отдельных ведомств поделиться полюбовно ответственностью с такими столпами порядка, как члены Государственного Совета, разбилась о болезненную стыдливость государственной власти, которая, как библейская Сусанна в бане, оказалась не в силах выносить взор даже благочестивейших тайных советников старого режима. Третье-июньская Сусанна, нравы которой, как нравы жены Цезаря, выше подозрений, гневным жестом завернулась в покрывало, шлепнув концом его по многим авторитетным и высокопоставленным носам.

Принцип: ва-банк! не терпит никаких ограничений. Такова мораль той перво-апрельской шутки, которую отечественный режим разыграл — над самим собою.

„Наше Слово", 29 апреля 1915 г.

Первый шаг сделан.

Думские партии потребовали коалиционного министерства по самым лучшим парламентарно-республиканским образцам, — и действительно, открылась эпоха великих внутренних реформ, или, по крайней мере, предвещающих реформы личных передвижений. Министр внутренних дел Маклаков вышел в отставку. Его место занял Щербатов. Что такое Маклаков, почетный член союза русского народа, достаточно известно. Он начал свою карьеру в провинциальных гостиных, где на губернаторских коврах великолепно ходил пантерой. Говорят, что во время черниговских торжеств он потешал одно очень высокопоставленное, но несколько слабоумное лицо, не то петушиным криком, не то изображением бабы, ворующей горох. Это решило его судьбу, а в некотором роде и судьбу России на несколько лет. Человек, недавно кричавший петухом, заставил не своим голосом заговорить

многомиллионное население страны. Теперь Маклаков отставлен. Место его занял Щербатов. Знаете вы что-нибудь о Щербатове? Нет? Мы тоже не знаем. Никто не знает. Тем не менее он призван управлять судьбами России. Про Щербатова твердо известно, впрочем, одно: еще до вчерашнего дня он был верховным начальником конюшенного ведомства. Если не быть мизантропом, то в этом обстоятельстве можно усмотреть некоторые гарантии либерализма. Лошади, особенно расовые, не допускают над собою никакого исключительного режима, наоборот, в вопросах овса и пойла они требуют твердых начал правового порядка. Именно поэтому наша „историческая власть", прежде чем перейти к призванию общественных элементов, обратилась за реформаторами на государственную конюшню. Жив человек, отзовись! Отозвался Щербатов. Весь вопрос только в том, сохранит ли он свои гуманные начала, перейдя из конюшни в ту большую „людскую", какая называется Россией? Но предсказать это нельзя иначе, как погадав на кофейной гуще.

Что касается нас, то мы очень хотели бы быть на этот счет оптимистами. Однако, не скроем, что нас несколько беспокоит назначение нового начальника главного управления по делам печати Катенина. Вы не знаете его? Мы тоже не знаем. Почему он назначен руководить печатью? Этого он и сам не знает. Его программа? „Вы интересуетесь моей программой? — с удивлением спрашивает г. Катенин корреспондента „Русского Слова", — но у меня нет еще пока программы, я с вопросом о печати совершенно не знаком"... Будучи курским губернатором, следил, правда, за „Курской Былью" (орган Маркова II), да и то больше со скуки. А чтобы вообще интересоваться печатью, — нет, не приходилось. Но это ничего: он, Катенин, присмотрится к делу и тогда уже решит, как и что... Кое-какие руководящие принципы у Катенина имеются, впрочем, уже и сейчас: вообще говоря, „печать делится на честную и нечестную". Которая печать честная, той он будет покровительствовать; которая же печать нечестная, той, согласитесь, и покровительствовать не за что. Так объяснил новый начальник представителю „Биржевых Ведомостей". Но как отличить честную печать от нечестной? Ничего нет проще. Нужно „беспристрастие". А его у Катенина хоть отбавляй: ведь, он никогда не имел дела с печатью, стало быть, совершенно свободен от „предвзятых" идей. „Но если вы все же хотите знать, хоть в общих чер-

тах, как я буду относиться к печати, то я вам скажу, — так резюмировал свои взгляды Катенин корреспонденту „Русского Слова“, — я буду относиться к печати так же, как она будет относиться ко мне“. Читатель, конечно, не верит своим глазам? Ибо читатель наивен. Мы тоже не верили, ибо — каемся — и мы до седых волос сохранили в душе добрую дозу наивности. Тем не менее Катенин говорил именно так, как выше напечатано: „Отношение мое к печати будет находиться в полной зависимости от отношения печати ко мне“. („Р. С.“, № 117).

Приходится с горечью констатировать, что г. Катенин не прошел серьезной конюшенной школы. Ни один государственный человек, которому судьба поручила руководить лошадиным ведомством, не скажет о вверенных его попечению подданных: „Отношение мое к расовым лошадям будет находиться в полной зависимости от их отношения ко мне“. Но наоборот, всякий скажет: я отношусь к ним так, как того требует их лошадиная природа. Иное дело печать. Для „заведывания“ печатью нет никакой надобности знать ее природу: печать — не лошадь. Нужно только не иметь „предвзятых“ идей и обладать хорошим пищеварением. Остальное приложится.

Коалиционного министерства, правда, еще нет. Но первый шаг сделан: призваны к творчеству два что называется „свежих“ человека, — правда, неодинаковой ценности: один прошел серьезную конюшенную школу, а другой явно нуждается в отсылке на конюшню для пополнения своего государственного стажа.

„Наше Слово“, 24 июня 1915 г.

Политика „тыла“.

С духовной скудостью остяка, песня которого исчерпывается пятью или шестью словами, русская пресса твердит изо дня в день о „мобилизации промышленности“ и „организации общественных сил“. Высшим средоточием этой мобилизации и организации должен явиться военно-общественный комитет, главной чертой которого остается пока полная неопределенность его задач, состава и полномочий: речь идет не то о вспомогательном органе при военном министерстве, не то о сверх-правительстве,

органе парламентской диктатуры, комитете общественного спасения.

В одном только все как будто сходятся: и мобилизация сил и военно-общественный комитет — все это нужно против внешнего врага, все это — политика „тыла“: поскольку буржуазная оппозиция проявляет признаки жизни, она остается целиком на патриотической почве, и пока что весьма жидкая мобилизация общественных сил совершается во имя более действительной „национальной обороны“, так что можно бы сказать, что Гучков и Милюков учинили политический плагиат у Плеханова, если б вся позиция Плеханова не была печальнейшим заимствованием из фондов Гучкова и Милюкова.

Под мобилизацией промышленности понимаетея такое ее приспособление к военным нуждам и такое распределение казенных заказов, при котором армия получала бы как можно больше амуниции и боевых припасов. За образец взяли Англию. Закрыли только глаза на то, что в Англии дело идет о приспособлении могущественнейшей и в своем роде очень совершенной капиталистической организации и гибкого демократического государственного аппарата к потребностям войны, причем, как показывает опыт, и там дело идет гораздо медленнее, чем предполагалось и обещалось вначале. У нас же дело идет о технической экономической и государственной импровизации: о создании хорошо налаженной сети железных дорог, новых заводов, новых технических кадров, толковых и неверующих чиновников, т.-е. дело идет о таком техническом и культурном скачке вперед, — пред линией немецких маузеров и штыков, — который является чистейшей утопией. Этого не может не понимать само правительство, которое лучше, чем кто бы то ни было, знает, как глубоко оно увязило отечественную телегу. Для него вопрос сводится поэтому в действительности, главным образом, к переложению более прямой и непосредственно-хозяйственной ответственности за войну на те имущие классы, которые уже раньше взяли на себя полноту политической ответственности за нее. В ответ на это партии и организации имущих классов требуют — без всякой, однако, энергии и настойчивости — не власти, но большего приближения к ее источникам: политическим, административным и финансовым. Правительство отнюдь не обещает, но и не отказывает начисто. Происходит симуляция „сближения“ —

по классическому образцу „весны“ покойника Святополка-Мирского. На почти-девственное косоглазие власти „общественные деятели“ отвечают робкими касаниями рук, газетный хор умоляет о „доверии“, — словом, проделывается заново весь ритуал лицемерия и глупости, как если бы после „весны“ Святополка-Мирского не было никогда 9-го января и всего вообще 1905 г., как если бы на свете никогда не существовало опыта двух первых дум и 3-го июня 1907 г., как если б, наконец, не те же самые персонажи стояли на сцене, только облезшие и потерявшие последние зубы за протекшие десять лет.

Комитет национальной обороны должен стать центром объединения власти с обществом и средоточием национальной мобилизации против внешнего врага. Но чем же, в таком случае, должно быть министерство? По смыслу вещей именно оно должно бы, кажись, играть роль „комитета национальной обороны“. Между тем оно намерено, сложив с себя добрую долю ответственности, тем вернее оставаться бюрократическим средоточием *власти*. Все слухи о назначении в министры братьев Гучковых, Волконского и других оказались — преждевременными. Очищения всей Галиции недостаточно для очищения бюрократией хотя бы только двух или трех министерских мест. Пока-что дело ограничивается назначением „деятелей“ в совещательные комиссии.

Но если бюрократия не торопится очищать посты, то так называемые общественные деятели как будто не торопятся сейчас протягивать к ним руки. „Беспартийная“ левая печать обвиняет Милюкова в недостаточно настойчивом требовании созыва Государственной Думы и создания комитета национальной обороны. Но чего искать Милюкову сейчас в Думе? Ему придется там не призывать к отчету правительство, а давать отчет в своем доверии правительству. Еще меньше может ему дать пресловутый военно-общественный комитет: взяв на себя практическую ответственность за непосредственную „организацию обороны“, кадетская партия закрыла бы для себя ту последнюю щель, в которой еще может оперировать сейчас ее оппозиция: между политикой государственной власти и ее материально-техническими рессурсами и методами. Это и есть та самая щель, куда Плеханов и иные наши социал-патриоты покушаются загнать политику партии пролетариата.

Но социал-демократия так же мало может примкнуть к „тылу“ Николая Николаевича, как усмотреть своего союзника в армиях

Гинденбурга, приоткрывающих министерские двери пред партиями национального либерализма. Та страшная „критика оружием", которая совершается на русском западном фронте, не идет дальше оружия же, т.-е. военно-технических средств государственного режима России. Идейная и материальная критика этого режима в целом ложится сейчас более, чем когда-либо в прошлом, на российский пролетариат.

„Наше Слово", 22 июля 1915 г.

Конвент растерянности и бессилия.

С тех пор, как в России началась, так называемая, „общественная мобилизация", которая пока что характеризуется полной бесформенностью целей и методов, ссылки на преимущества парламентского контроля у наших „демократических" союзников играют роль решающего довода на столбцах русской либеральной прессы. Но лукавство исторического развития устроило так, что в это самое время борьба за установление или восстановление парламентского контроля во Франции питается крайне лестными для нашего национального самолюбия ссылками на парламентскую волю Государственной Думы. Не только сенатор Эмбер, но и Клемансо со своим подголоском Эрве настойчиво рекомендуют республиканской демократии вдохновляться высокими политическими образцами гр. Бобринского и Савенко в деле обеспечения торжества национальной воли над косностью бюрократии и корыстными притязаниями капиталистических клик.

Эта система ссылок с обратными расписками осложняется еще тем, что вдохновляющийся французским парламентаризмом русский либерализм отмахивается сейчас от самой постановки вопроса о министерской ответственности, без которой, однако, парламентский контроль превращается в пустую на три четверти обрядность; с другой стороны, французские радикалы взывают не только к практике третьеиюньской думы, но и к традициям революционных войн и комитета общественного спасения. Во всем этом не только путаница понятий и издевательство над смыслом истории, но и глубокий политический урок для тех, у кого нет причин ни игнорировать смысл истории, ни насиловать его. Французская буржуазная демократия унаследовала режим

парламентаризма от эпохи великой революции, и апелляция к этой последней составляет важный момент в официозной фразеологии республики. Однако же историческое развитие последних десятилетий окончательно подкопало социальные устои демократии. Империализм не совместим с ней. А так как он сильнее ее, то он опустошил ее. Формально всеобщее избирательное право дает парламент, парламент дает министерство; но министерство попадает сейчас же в переплет тайных дипломатических обязательств, банковских влияний и творит волю финансового капитала, который на выборах еле показывал свое политическое лицо. Клемансо недоволен бессилием парламента. „Якобинцу" Клемансо совершенно чужда, однако, утопическая мысль подчинить капиталистический империализм режиму демократии; он хочет только сохранить оболочку демократии, отказ от которой был бы слишком рискованным экспериментом для французской буржуазии, и в то же время он пытается использовать парламентскую механику для борьбы с эксцессами или прорехами милитаризма, когда не он, Клемансо, у власти. Но, в конце концов, в таком политическом учете наследства 1792 года нет ничего принципиально неприемлемого даже для людей 3-го июня, наших самобытных парламентариев, дяди Митяя и дяди Миняя, которые, пересаживаясь с пристяжной на коренника и с коренника на пристяжную, пытаются вытащить на дорогу глубоко увязшую государственную телегу.

Как ни парадоксальны, следовательно, взаимные ссылки „ответственных" политиков с Сены и с Невы, но в этих ссылках по существу гораздо больше политического смысла, чем в надеждах наших отечественных горе-демократов на то, что военное сотрудничество России с Францией и Англией означает внедрение в организм царизма элементов демократического парламентаризма.

Но русский империализм явился слишком рано — или русский парламентаризм слишком поздно, — люди 3-го июня не имели революционных предков, которые оставили бы им в наследство парламентский режим. Нашим империалистам не дано поэтому укрывать свои аппетиты за революционными традициями и тщательно сделанными декорациями народного суверенитета. Людям 3-го июня приходится, по вине предков, и во внутренней и во внешней политике выступать, в чем мать родила. Семь лет Милюков оставался за порогом комиссии государственной обороны и

тем не менее усердно покрывал ее и весь русский милитаризм пред населением страны. Пять лет Гучков руководительствовал в этой самой комиссии и не мог повлиять даже на размеры интендантских взяток. Каждый из этих „народных представителей" в своей области подготовлял нынешнюю войну и подготовил Россию к войне. И вот для того, чтоб Милюков осмелился высказать ту якобинскую мысль, что военного министра, который „обманывал Думу" (неизменно желавшую быть обманутой), недостаточно посадить на прекрасную пенсию, а нужно отдать под суд; для того, чтоб породить надежды на то, что Гучкова, в роли третьеиюньского Карно, приставят к амуниции, понадобилось эвакуировать Вильну и Ригу и публично заговорить об опасности нового переименования Петрограда в Петербург. Империалисты до мозга костей, они прежде всего хотели „победы", такой, которая отдала бы им Галицию и Армению, Константинополь и проливы, а вместе с проливами и весь Балканский полуостров. Но оказалось, что предки, не завещавшие им парламентаризма и многого другого, тем самым не оставили им в наследство и условий военной победы. Отказываясь от борьбы за власть и от ответственного министерства во имя победы, люди 3-го июня тем вернее обрушили на свои головы поражения. И они приняли их. Ибо лучше военные поражения, чем революция, которая чревата социальным поражением. Правда, люди 3-го июня нашли в лице Керенского революционно-патриотического радикала, который программу победы хочет связать с программой демократического переворота. Два-три удачных ораторских жеста не могли, однако, скрыть основной бесплотности всей его позиции. Если те классы, которые заинтересованы в победе, боятся революции больше, чем поражения, то тот класс, который является основной силой революции, связывает судьбу русской демократии не с судьбой национального оружия, а с судьбой революционной борьбы международного пролетариата.

В противовес Чхеидзе и в дополнение к Керенскому в Думе выступал исключенный из социал-демократической фракции Маньков. Если Милюков дополняет Клемансо, то Маньков является переводом Самба на язык Восточной Сибири, чтоб не сказать Сан-Ремо [1]). Если хитрец—Клемансо ссылается на парламентскую

[1]) В Сан-Ремо проживал Г. В. Плеханов.

энергию четвертой думы, то простец — Маньков ссылается на пример англо-французских социалистов, ведущих борьбу против германского милитаризма. Но увы! предки не оставили Манькову в наследство демократических государственных форм, за которыми он мог бы скрывать от себя империалистическое содержание войны. Вот почему Маньков является не только дальне-восточным дополнением общеевропейского социал-национализма, но и его плачевнейшей карикатурой.

Конвент растерянности и бессилия! — таков подлинный облик новой думской сессии. Но и из растерянности правящих вырастают иногда большие события. Только чтоб большие события оставили большие результаты в развитии страны, нужно, чтоб растерянность правящих нашла свое преодоление в решительности и силе управляемых и обманываемых.

„Наше Слово", 18 августа 1915 г.

Военная катастрофа и политические перспективы.

I. Причины кризиса.

Сейчас, когда очищение русскими войсками Галиции, Польши и Прибалтийского края вошло крупнейшим и весьма устойчивым фактом в общую картину войны, цензура французской республики даст нам, может быть, возможность остановиться на причинах этого факта. Отметим тут же, что, не имея никаких претензий на пророческий дар, мы предвидели подобный результат уже тогда, когда французская пресса писала о близком вступлении русских казаков в Берлин. Но нас вынуждали молчать: привилегией свободного суждения пользовались только те, которые ничего не предвидели и ничего не понимали.

Русские неудачи объясняют недостатком орудий и боевых припасов. Но откуда этот недостаток? Говорят: Россия, как и ее союзники, не готовилась к нападению. Но для чего тогда Россия содержала свою армию почти в полтора миллиона человек. Говорят: для обороны. Но разве нельзя было, как следует, подготовиться к обороне? Мы ни на минуту не сомневаемся в злой воле Германии. Мы только отказываемся видеть доказательство

доброй воли фирмы Сухомлиновых в ее военной несостоятельности.

Эрве, который с неизменным презрением писал о немецкой „культуре“ и с энтузиазмом провозглашал: „Да здравствует царь!“, теперь заявляет, что германская армия имеет над русской огромный *„материальный и моральный* перевес“. Это уж нечто большее, чем недостаток амуниции, вызванный непредусмотрительностью военного министра.

Военные успехи Германии являются, в последнем счете, результатом высокой капиталистической организации. Военная техника является только применением общей техники в области взаимоистребления народов. Правда, именно военная организация является пунктом наименьшего сопротивления в процессе модернизированья отсталых стран: все государства, независимо от экономического уровня и национального достояния, стремятся выровняться по передовым милитаристическим образцам. Но зависимость военной техники от общей всегда, в конце концов, сохраняет решающий характер. Недостаточно завести пушки новейших образцов, нужно иметь возможность непрерывно обновлять их, увеличивая их численность и выбрасывая из каждого жерла в единицу времени максимальное количество снарядов. Немецкая промышленность, особенно в лице тяжелой индустрии, имеющей решающее значение для милитаризма, благодаря своему относительно недавнему происхождению, крайне рационализирована, то-есть настолько свободна от тисков рутины, насколько это вообще возможно в капиталистическом хозяйстве; это именно обеспечивает за ней высокую производительность. В этой войне Германия выступает, как могущественнейшая *промышленная* страна против России, с ее *земледельческим*, в своем большинстве, населением; как страна *крупной централизованной* индустрии против Франции, с ее все еще преобладающей *мелкой* и *средней* промышленностью; как страна *модернизированных* и *рационализованных* методов хозяйства против технически очень *консервативной* старейшей капиталистической державы, Англии, — при всем ее техническом прогрессе последних лет. Такова экономическая основа военной силы Германии, на буксире которой тянутся Австрия и Турция.

Тяжелая русская промышленность занимает уже, бесспорно, крупнейшее место в хозяйственной жизни страны. Но огражден-

ная стеною надежных таможенных ставок; не стесняющаяся держать страну периодически на диэте то угольного, то чугунного голода; проделавшая свое последнее развитие в условиях национального курса, высшим идеалом которого была „национализация кредита"; привыкшая питаться бесконтрольными государственными заказами, русская тяжелая промышленность до мозга костей пропитана чертами технического ротозейства и хозяйственного паразитизма, которые одни, помимо всего прочего, заранее исключают возможность каких-либо внезапных и чудодейственных результатов от т. н. „промышленной мобилизации". И не даром именно г. Гучков, который прекрасно знает, где раки зимуют, предостерегал военно-промышленный съезд от необоснованного оптимизма.

Как человек является главной силой производства, так он же остается главной силой войны. Что же представляет собою русская армия со стороны своего человеческого состава?

Плеханов писал в своей брошюре о войне, что русская армия состоит из львов, которыми командуют... не-львы. Мы не имеем возможности точно повторить здесь, кто именно „командует", предоставляя догадливости читателей закончить лихую цитату. В каком смысле надлежит, однако, понимать „львиный" состав крестьянской, по преимуществу, армии России? Значит ли это, что русский народ в *расовой* своей основе отличается более высокой, чем иные народы, воинственностью, или что русский крестьянин прошел особую историческую школу героизма? Или под львиным характером русского крестьянина Плеханов начал ныне понимать его исчезающую способность безропотно голодать, гнить и умирать? Какой смысл имеет первая половина цитаты? Никакого смысла. Это одна из тех бессодержательных пошлостей, на питание которыми фатально обречен социал-патриотизм, тем более российский.

Элементарное марксистское соображение должно подсказать, что наиболее ценной в военном отношении частью современной армии является промышленный пролетариат. Чем большую роль начинала играть в современном милитаризме капиталистическая техника, тем большее значение приобретал связанный с техникой капиталистический рабочий. Как ни велико производственное, социальное и политическое значение нашего рабочего класса, но численно он все еще составляет небольшую дробь населения, —

оставаясь по существу глубоко враждебным тем целям, во имя которых он мобилизован царизмом. Всеобщая воинская повинность, как и всеобщее избирательное право, автоматически отражают числовые соотношения социальных группировок нации. В русской армии крестьянство тем более подавляет пролетариат, что многочисленные и наиболее квалифицированные элементы последнего удерживаются на заводах для промышленного обслуживания войны. Подавляюще-крестьянский состав армии не может не понижать ее военного уровня.

Это обстоятельство еще усугубляется исторически-обусловленным характером русского крестьянства. Если мелкий земельный собственник Франции, вышедший из Великой Революции и завладевший землями монархии и дворянства, прошел затем школу обязательного обучения и школу республиканского парламентаризма, приблизившись этим путем к культурному типу города; то русский крестьянин, и по сей день еще опутанный сетями сословного бесправия, бесконечно далек от того, чтобы чувствовать себя „хозяином земли", — звание, которое г. г. Иорданские раздают всем, облачающимся в военный мундир, — ни хозяином помещичьей земли, ни хозяином государства. Революция 1905 г. попыталась — и опыт этот не прошел бесследно—пробудить крестьянство к сознательной и активной исторической жизни. Победоносная контр-революция, со своей стороны, постаралась — и с немалым успехом — свести к минимуму культурные плоды революции в жизни деревни. Если за последнее десятилетие и сделаны известные, по крайней мере, количественные успехи в деле народного обучения, то те поколения русской деревни, которые пополняют сейчас русскую армию, во всяком случае, не успели вкусить новой школьной сети, — им удалось зато в молодости вкусить карательных экспедиций.

Вслед за русским крестьянством необходимо привлечь к учету десятки миллионов инородческого населения. Сколько бы буржуазные представители этого последнего в Думе ни расписывались в своем патриотическом энтузиазме, можно не сомневаться, что подлая система исключительных законов, дополняемых погромами, мало способна питать „львиные" патриотические настроения „инородческих" народных масс, не имеющих права свободного изъяснения или свободного жительства в той самой стране, которую они призваны защищать.

Как обстоит теперь дело насчет тех „не-львов", которые *командуют* русской армией? По этому поводу мы скажем только— и этого будет достаточно, — что офицерство, особенно в верхнем руководящем своем ярусе, представляет собою неотделимую составную часть всей правящей России 3-го июня. Здесь происходил один общий отбор людей, приемов и взглядов. Рекрутируясь из одних и тех же общественных кругов, высшее офицерство и высшая бюрократия всегда остаются сообщающимися сосудами, и культурно-нравственный уровень их один и тот же. Это не требует дальнейших пояснений.

Причины неудач русской армии, таким образом, более глубоки, чем простая нехватка снарядов в кладовых г. Сухомлинова. В 1890 г. Фридрих Энгельс писал о царской России: „Только такие войны по ней, где союзникам России приходится нести главную тяжесть, открывать свою территорию опустошению, ставить главную массу бойцов, и где на русские войска ложится роль резервов. Только против решительно слабейших, как Швеция, Турция, Персия, царизм ведет войну собственными силами". За четверть столетия, протекшие со времени написания этих строк, экономическая и общественная жизнь России претерпела огромные изменения. Эти изменения искали своего выражения в революции 1905 г. Но буржуазная Франция помогла царизму справиться с революцией. Россия 3-го июня оставалась царством сословно-бюрократической кабалы. На этой основе вырос русский империализм и обновлялся русский милитаризм. События войны подвергли милитаризм решающему испытанию. Результаты испытания налицо. Дальнейший ход военных операций — в самой России, как и на других фронтах — может внести очень существенные поправки в создавшееся положение. Но в основных своих чертах военная роль России определена. Подавленная революция отмстила за себя. Под аггрессивным империализмом, сплотившим под своим знаменем все партии имущих классов и поработившим себе политическую совесть русской интеллигенции, история подвела черту. От этой черты будет исходить дальнейшее политическое развитие страны.

II. Поражения и революция.

Война есть исторический экзамен классового общества, проверяющий силу его материальной основы, крепость материальных сцепок между классами, устойчивость и гибкость государственной организации. В этом смысле можно сказать, что *победа* — при прочих равных условиях — обнаруживает относительную крепость данного государственного строя, увеличивает его авторитет и тем самым укрепляет его. Наоборот: *поражение*, компрометируя государственную организацию, тем самым ослабляет ее.

Что прошедшая через победоносную контр-революцию Россия не сможет развернуть победоносного империализма, что она в войне раскроет все свои социальные и государственные прорехи, в этом ни один здравомыслящий социал-демократ не сомневался до войны. В то же время наша партия была неизменно *против* войны. Нам не приходило в голову связывать наши политические надежды, революционные или реформаторские, с военными злополучиями царизма, неизбежность которых, в случае войны, стояла для нас вне сомнения. Не потому, чтобы мы, подобно нынешним социал-патриотическим сикофантам, считали „нравственно-недопустимым“ заинтересованность революционного класса в военном крахе своего правительства. Также и не в силу слепых национально-государственных инстинктов, которые в российских революционных кругах имеют серьезный противовес в достаточно могущественной силе ненависти к царизму. Наконец, и не в силу общих гуманитарных соображений о бедствиях, неизбежно связанных с войною. „Нормальная“ жизнь классового общества в течение веков и тысячелетий построена на самых ужасающих бедствиях масс, — война только концентрирует эти бедствия во времени; и если б вернейший или кратчайший путь освобождения шел через войну, революционная социал-демократия не задумалась бы толкать на этот путь с решимостью хирурга, который не пугается страданий и крови, когда считает целесообразным вмешательство ножа.

Если мы отказывались спекулировать на войну и заложенные в нее поражения, то не по национальным, не по гуманитарным, а по революционно-политическим соображениям, как международного, так и внутреннего порядка.

Поскольку поражение, при прочих равных условиях, расшатывает данный государственный строй, постольку предполагаемая поражением победа другой стороны укрепляет противную государственную организацию. А мы не знаем такого европейского социального и государственного организма, в упрочении которого был бы заинтересован европейский пролетариат, и, в то же время, мы ни в каком смысле не отводим России роли избранного государства, интересам которого должны быть подчинены интересы развития других европейских народов. Вряд ли есть надобность более подробно останавливаться сейчас на этой стороне вопроса, достаточно освещенной на столбцах нашей газеты.

Но даже не выходя за рамки узконациональных перспектив развития, российская социал-демократия не могла связывать своих политических планов с революционизирующим влиянием военных катастроф.

Поражения только в тех исторических условиях могут явиться бесспорным и незаменимым двигателем развития, когда назревшая необходимость внутренних преобразований совершенно не находит в недрах общества новых исторических классов, способных осуществить или вынудить эти преобразования. В таких условиях реформы, проведенные сверху, в результате разгрома, могут дать серьезный толчок развитию прогрессивных общественных классов. Но война является слишком противоречивым, слишком обоюдоострым фактором исторического развития, чтобы революционная партия, чувствующая твердую классовую почву под ногами и уверенная в своем будущем, могла видеть в пути поражений путь своих политических успехов.

Поражения дезорганизуют и деморализуют правящую реакцию, но одновременно война дезорганизует всю общественную жизнь и прежде всего ее рабочий класс.

Война не есть, далее, такой „вспомогательный“ фактор, над которым революционный класс мог бы иметь контроль: ее нельзя устранить по произволу после того, как она дала ожидавшийся от нее революционный толчок, как исторического мавра, который выполнил свою работу.

Наконец, выросшая из поражений революция получает в наследство в конец расстроенную войной хозяйственную жизнь, истощенные государственные финансы и крайне отягощенные международные отношения.

И если российской социал-демократии оставались совершенно чужды авантюристские спекуляции на войну, даже в самые беспросветные годы неограниченного торжества контр-революции, то именно потому, что война, если она дает толчок революции, может создать в то же время такую обстановку, которая крайне затрудняет социальное и политическое использование революционной победы.

Однако, нам приходится сейчас не только *оценивать*, в каком направлении война и поражение влияют на ход политического развития, нам прежде всего приходится *действовать* на той почве, какую создает поражение. Ибо, — каковы бы ни были дальнейшие перипетии военных событий, — одно можно сказать с полной несомненностью: восстановить и умножить в короткий срок свои силы так, чтобы еще в нынешней войне реализовать планы мировых завоеваний, — об этом серьезно говорить совершенно не приходится. Царская армия разбита. Она может иметь отдельные успехи. Но война ею проиграна. Нынешние поражения знаменуют начало военной катастрофы. Снова приходится повторить: социал-демократия не создает себе по произволу исторической обстановки. Она представляет собой только одну из сил исторического процесса. Ей приходится становиться на ту почву, какую создает для нее история.

Политически руководящее ныне во всех политических партиях России поколение целиком воспитано на опыте последних 10 — 15 лет в развитии нашей страны. Уже по одному этому, при мысли о возможных внутренних последствиях военной катастрофы, неизбежно напрашивается аналогия с событиями 1903—5 годов. В 1903 г. бурная волна массовых стачек потрясала Россию. Социал-демократия видела тогда в этих событиях революционный пролог. В январе 1904 г. открылась русско-японская война. Она сразу приостановила революционное движение. Страна как бы замерла — более чем на полгода. Поражения на военном театре деморализовали и ослабили правительственную власть и дали могущественный толчок недовольству разных социальных классов и групп. На этой основе революция получила лихорадочное движение вперед.

1912 — 1913 годы, как и 1903, видели картину нарастающего массового движения, главным образом, опять-таки, в виде революционных пролетарских стачек. Рабочее движение развертыва-

лось теперь на несравненно более высоком уровне, опираясь на опыт самого бурного и содержательного десятилетия в истории России. Как и в прошлый раз, война, разразившись, сразу приостановила развитие революционного движения. В стране наступило почти полное затишье. Власть после первых побед, весьма условного характера, совершенно потеряла голову и взяла такой реакционный курс, какого не знала дореволюционная Россия. Но период „побед" скоро пришел к концу. Последовавшие затем непрерывные поражения окончательно сбили с толку правящую клику, вызвали патриотическое возмущение буржуазно-помещичьего блока и создали, таким образом, более благоприятные внешние условия для развития широкого общественного движения. По аналогии с прошлым десятилетием, можно предположить, что после „оппозиционной" мобилизации имущих классов, должна последовать мобилизация демократии и, в первую голову, пролетариата, результатом чего будут революционные потрясения.

В высокой степени знаменательно, что надежды на спасительную и освободительную роль русских поражений стали распространять именно те, кто наиболее пламенно желал русских побед. Английский министр Ллойд-Джордж уже видит, как русский гигант, пробужденный катастрофой, сбрасывает с себя путы реакции. Вандервельде, убеждавший в начале войны нашу думскую фракцию в прогрессивном значении будущих русских побед, сейчас авторитетно резонерствует о благотворности русских поражений. Эрве пишет о благодетельности страдания, как фактора русской истории. Наконец, кое-какие социал-патриотические перебежчики, рассуждавшие в месяцы русских успехов по формуле: „Сперва победа, затем реформы", захлопотали об амнистии... после очищения Варшавы. В этом явном „пораженчестве" нет, разумеется, никаких элементов революционности. И Ллойд-Джордж и Вандервельде, и Эрве, — все они попросту надеются на то, что военные поражения пробудят „государственный разум" правящих классов России. Все они, в своем глубоком внутреннем презрении к России, являются по отношению к ней *голыми* пораженцами, рассчитывая на самостоятельную автоматическую силу военного краха — без прямого вмешательства революционных классов. Между тем, как с нашей точки зрения центральное значение для ближайших судеб России имеет именно вопрос о влиянии войны и поражений на пробуждение, сплочение и активность революционных сил.

Под этим углом зрения необходимо прежде всего сказать, что было бы жестокой ошибкой просто переносить на нынешнюю эпоху опыт прошлого, в отношении влияния войны на настроение народных масс. Нынешняя катастрофа не идет, по своим гигантским размерам, а, стало быть, и по своему дезорганизующему воздействию на хозяйственную и культурную жизнь страны, ни в какое сравнение с колониальной авантюрой русско-японской войны. Это, с одной стороны, должно, конечно, повести к несравненно более широкому и глубокому воздействию нынешних поражений на сознание народных масс. Перед социал-демократией здесь открываются неисчерпаемые источники революционной агитации, каждое слово которой будет встречать могущественный резонанс. Но необходимо, с другой стороны, отдать себе ясный отчет в том, что военная катастрофа, истощая экономические и духовные силы и средства населения, только для *известного предела* сохраняет способность вызывать активное негодование, протест, революционные действия. За известной чертой истощение оказывается настолько могущественным, что подавляет энергию и парализует волю. Начинается безнадежность, пассивность, моральный распад. Связь между поражениями и революцией имеет не механический, а диалектический характер.

Если безнадежной либеральной пошлостью веет от надежд Ллойд-Джорджа и иных на либеральное „просияние ума“ у правителей России под самодовлеющей силой поражений, то ребяческим заблуждением было бы, с другой стороны, заключать, на основании ложно-истолкованного „русско-японского“ опыта, об автоматически-революционизирующем воздействии военных поражений на массы. Именно гигантские размеры нынешней войны могут — *при ее неопределенно-затяжном характере* — надолго подрезать крылья всему общественному развитию, а, стало быть, в первую голову — революционному движению пролетариата.

Отсюда вытекает необходимость борьбы за скорейшее прекращение войны. Революция не заинтересована в дальнейшем накоплении поражений. Наоборот, борьба за мир является для нас заветом революционного самосохранения. Чем могущественнее пойдет мобилизация трудящихся против войны, тем полнее опыт поражений будет политически учтен рабочим классом, тем скорее он превратится в побудительную силу революционного движения.

III. Социальные силы российской революции.

Если победа русского империализма, расширение базы третьеиюньского блока на Галицию, Армению, Константинополь с проливами и проч., означили бы надолго пруссификацию русских общественных отношений, т.-е. дальнейшее могущественное развитие капитализма под политической диктатурой милитаризованной дворянско-помещичьей монархии, то военное крушение империалистических замыслов вскрывает все социальные и государственные прорехи, усугубленные катастрофой, возрождает антагонизмы правящих, ослабляет государственную власть и тем самым создает *объективные* условия революционного развития.

Мы рассмотрели в предшествующей статье, в каком смысле и при каких условиях военная катастрофа своим воздействием на массы создает *субъективные* условия революции.

Нам необходимо теперь отдать себе отчет в том, какое направление может принять революционное движение в обстановке, унаследованной от незавершенной революции 1905 г., победоносной контр-революции и нынешней военной катастрофы.

Основное противоречие исторически запоздалой революции 1905 г. состояло в том, что в то время, как непосредственной объективной задачей переворота являлась расчистка путей для буржуазного развития страны, главной движущей силой революции оказался пролетариат. Классическая буржуазная революция 1789—1793 гг. опиралась на третье сословие, ядром которого была руководимая интеллигенцией городская мелкая буржуазия. В России это „третье сословие“ оказалось расчлененным глубокими объективными и субъективными антагонизмами уже до своей исторической эмансипации; пролетариат противостоял крупной буржуазии, а социальный вес и политическое значение мелкой буржуазии представляли собою незначительную величину.

Что изменилось в этой области в течение последнего десятилетия?

Годы реакции и экономического кризиса были эпохой относительной европеизации нашей промышленности: повышения в ней уровня техники и введения более интенсивных методов эксплуатации рабочей силы. Последние три года до войны были временем могущественного экономического подъема. Революция, контр-революция и экономический кризис убийственно отрази-

лись прежде всего на мелкой и средней буржуазии. Промышленный подъем обогатил прежде всего крупно-капиталистическую буржуазию. Мы имели пред собой, следовательно, дальнейшее углубление тех социальных противоречий, которые уже в революции 1905 г. исключали возможность длительной совместной или параллельной борьбы пролетариата и буржуазии против старого режима. Пролетариат за эту эпоху численно возрос, производственно еще более концентрировался и сделал крупнейшие шаги вперед в деле классовой организации и классового сознания. Таким образом, основное противоречие прошлой революции сказывается, в настоящее время, в более глубокой и отчетливой форме. Единственной самостоятельной силой революционного движения может быть только пролетариат. Уже в первых своих выступлениях он будет иметь против себя могущественнейшие силы буржуазной нации, от ее реакционно-помещичьих, вплоть до либерально-интеллигентских элементов.

Опыт русской революции, как и реакции, говорит нам, что сейчас менее, чем в 1905 году, можно надеяться на самостоятельную, а тем более решающую роль крестьянства в развитии революционных событий. Поскольку крестьянство осталось в тисках сословно-феодального рабства, оно в своей стихийной оппозиции старому режиму продолжает нести на себе все те черты хозяйственной и идейной разобщенности и политической неразвитости, культурной отсталости и беспомощности, которые всегда и при всяком движении парализуют его социальную энергию и заставляют его останавливаться там, где начинается подлинно-революционное действие. Поскольку же крестьянство за эту эпоху сделало экономические и культурные успехи, последние целиком идут по линии буржуазного развития и, стало быть, связаны с дальнейшим развитием классовых противоречий в среде самого крестьянства. Это значит, что для промышленного пролетариата сейчас несравненно более, чем в 1905 году, стоит вопрос о привлечении на свою сторону пролетарских и полу-пролетарских элементов деревни, а не крестьянства, как сословия. Революционное движение по необходимости получит в этих условиях еще несравненно менее „национальный“, несравненно более классовый характер, чем в 1905 году.

Более резкая классовая дифференциация, более высокая зрелость общественных отношений нашли как нельзя более яр-

кое отражение в политической деятельности России последних лет перед войной и во время войны.

Предшествовавшее войне революционно-стачечное движение пролетариата, несравненно более планомерное и сознательное, чем 10 лет тому назад, когда оно будоражило широкие круги буржуазного общества, особенно его левого крыла, протекало на этот раз при почти полном безучастии тех промежуточных групп, которые у нас выполняют обязанности так называемой буржуазной демократии.

В то время, как городские движения начала столетия находили свое смутное, но бурное эхо в крестьянстве, в виде все усиливающихся с 1902 года аграрных волнений, стачечное движение пролетариата 1912—1913 г.г. вовсе не встречает отклика в деревне.

Многочисленная русская интеллигенция, игравшая такую непропорциональную роль в старом революционном движении, оказалась захваченной процессом капитализации страны, прошла за последние годы серьезную выучку в услужении у капитала и стала крайне восприимчивой к его империалистическим целям и внушениям, которые она прикрывает отребьями радикально-демократической или „социалистической“ идеологии.

Во время русско-японской войны первые шаги мобилизации тяжеловесной земской оппозиции совершаются под лозунгом народного представительства, а последовавшая за этим полоса интеллигентских митингов и союзов ведет свою кампанию под знаменем мира и учредительного собрания.

В настоящее время имущая „оппозиция“ мобилизуется под лозунгом организации победы, берет на себя ответственность за войну и за ее продолжение, причем вся она—особенно демонстративно ее левое, кадетское, крыло — отказывается от постановки элементарных внутренних проблем, ибо разрешение этих последних, по объяснению либеральной прессы, не осуществимо без борьбы.

И в 1904—5 г.г. буржуазные классы не были ни способны, ни склонны вести революционную борьбу. Но своей „безответственной“ оппозицией они обнажали государственную власть и в первый период революции заняли позицию благожелательного нейтралитета по отношению к революционным народным массам. Теперь буржуазные партии, кончая своим социал-патриотическим

охвостьем, в возрождении революционной борьбы видят служение кайзеру и предательство национальных интересов. Чтобы изолировать революционную оппозицию, они отказываются мобилизовать буржуазные классы, хотя бы под лозунгом ответственного министерства, не говоря о всеобщем избирательном праве. Настаивая на деловых министерских перетасовках, они фактически сплачиваются вокруг правительства, становясь буфером между ним и народными массами.

Как ни жалка была либерально-демократическая пресса эпохи „весны" 1904—5 г.г., но своей политически-неоформленной оппозиционностью она питала нараставшее революционное возбуждение народных масс. Сейчас вся либеральная пресса сознательно стремится отвести социальное и политическое недовольство народных масс в русло национально-патриотического слияния с правительством и правящими партиями третьего июня.

И все эти изменения резюмируются в ярко определившейся сейчас изолированности пролетариата.

Между монархией и милитаризмом, с одной стороны, народными массами, с другой, стоит теперь сложный механизм буржуазных партий, прессы, всяких общественных организаций и съездов, связанных с монархией единством империалистических замыслов и общностью политической ответственности. Революционная мобилизация пролетариата наталкивается теперь не только на государственную полицию порядка, как в эпоху Плеве и Святополк-Мирского, но и на общественную полицию патриотизма, функции которой сейчас выполняют все буржуазные партии при содействии партизанских дружин социал-патриотизма.

Этим с достаточной полнотой определяется общее направление политики революционной социал-демократии в России.

IV. Национальный или интернациональный курс?

Революцию 1905 г. можно, в одном смысле, назвать исторически запоздалой, поскольку иметь в виду борьбу буржуазного общества в целом против крепостного государства, т.-е. национальную революцию,—ее можно, с другой стороны, считать историческим предвосхищением, имея в виду, что главную движущую силу революции представлял пролетариат, который вел борьбу не только при благожелательном нейтралитете буржуазного об-

щества, как в первый период, но и против него, как во вторую эпоху революции. Под этим двояким углом зрения, можно незавершенность революции 1905 г. объяснить, с одной стороны, недостаточной силой буржуазной демократии и недостаточной революционной „подготовленностью" крестьянства. С другой стороны, можно видеть причину поражения революции в недостатке революционной силы рабочего класса и в отсутствии поддержки в виде параллельного революционного движения европейского пролетариата — в то время, как царизм целиком опирался на европейскую биржу и капиталистические правительства Европы.

Эти два объяснения нельзя механически объединять: ибо тот самый фактор, который упрочивает русский пролетариат, увеличивая его численность, повышая сознательность и связь с мировым пролетариатом, т.-е. развитие капитализма в его новых концентрированных формах, ведет к окончательному исчезновению городской буржуазной демократии, как политической силы, и к дальнейшему социальному расчленению крестьянства, как сословия.

Но именно этот фактор—капитализм,—а не какой-либо другой, совершал свою работу во весь после-революционный период. Все развитие наших общественных отношений за это десятилетие шло по пути дальнейшего умаления возможной революционной роли мелкой буржуазии и крестьянства и дальнейшего возрастания численности и производственного значения промышленного пролетариата. Если „национальная" революция в 1905 г. не могла быть *завершена*, то вторичная национальная революция, т.-е. революция, объединяющая „нацию" против старого режима, не может быть историей даже *поставлена*.

Социал-демократия, разумеется, учтет и использует в своей борьбе всякое оппозиционное движение других общественных сил. Но большой, основной вопрос гласит: считаем ли мы, что буржуазные классы России, окончательно раскрывшие свою реакционно-империалистическую природу во внешней политике, способны на революционную роль во внутренней? Ставим ли мы развитие русской революции—а, значит, практически движение русского пролетариата—в зависимость от революционного движения русской интеллигенции, мелкой городской буржуазии и крестьянства? Или же мы подчиняем движение российского пролетариата задачам и целям движения всего европейского пролетариата, и рос-

сийскую революцию ставим в зависимость от пролетарской борьбы во всем капиталистическом мире? Словом: держим ли мы основной курс всей нашей политики на национальную буржуазную революцию или интернациональную революцию пролетариата?

Тут именно проходит главная линия водораздела между нами, революционными интернационалистами, и теми русскими социал-патриотами, которые не просто плывут по течению, закрыв глаза, но политически-сомнительно „приемлют" войну и участие в „организации победы"—во имя фиктивной и по существу реакционной идеи создания национального, общенародного базиса для революции.

Эти две линии политики нашли свое, пока еще не доведенное до конца, выражение на трибуне Государственной Думы.

Было бы несправедливо утверждать, что линия Плеханова, „Нашего Дела", Иорданского и прочих находит в Думе свое выражение только через исключенного из с.-д. фракции Манькова. Нет, гораздо более ярким представителем этого направления является трудовик Керенский. Судьба так подвела одно к одному, что в тот момент, когда Кант стал путеводителем Плеханова в вопросах международных, мелко-буржуазный радикал Керенский стал его вдохновителем во внутренней политике. Но увы, национально-революционный радикализм Керенского пришел слишком поздно, как и вся наша национальная революция: Милюков, как бессознательное орудие исторической иронии, заносит Керенского целиком по ведомству „иллюзий интернационального социализма"; а интернациональный социализм, в лице с.-д. фракции, совершенно справедливо относит Керенского по ведомству иллюзий мнимо-революционного социал-патриотизма. В этих двух определениях, несмотря на их противоположность, есть общая основа, и это общее, в применении к нашей собственной партии, состоит в признании полной иллюзорности политики тех мнимых величин, которые, порвав интернациональные обязательства марксизма, не находят национальной почвы вместе с нашими искони-„почвенными" элементами „трудового социализма".

Из сказанного вытекает вся огромность задачи, ложащейся в настоящих условиях на российский пролетариат и его партию.

Если лозунг „долой войну!", превратившийся, как и лозунг „долой самодержавие!", в народную поговорку 1905 г., сближал пролетариат с другими классами общества, то ныне тот же клич

„долой войну!" исходный лозунг всего дальнейшего движения пролетариата, враждебно противопоставляет социал-демократию всем партиям буржуазного общества. Мобилизация пролетариата приобретает сейчас с самого начала революционно-классовый характер.

В каких пределах социалистическому авангарду пролетариата удастся в этой борьбе сплотить вокруг себя народные низы, т.-е. сельскую и городскую бедноту, и до какой черты повести ее за собой,—предположения на этот счет могут иметь только крайне условное значение. Бесспорно, однако, что социал-демократия является сейчас более, чем когда-либо, единственно-призванной, и по отношению к этим массам, руководительницей, и ее исторический долг призывает ее поднять среди них свое знамя мира и революции.

Но в этой, как и во всей нашей работе, мы будем исходить из глубокого убеждения в том, что только революционная борьба европейского пролетариата против собственной капиталистической реакции, против милитаризма, против частной собственности на средства производства, — только эпоха непосредственного натиска западно-европейского пролетариата на государственную власть,—только международная социалистическая революция—может создать ту обстановку и выдвинуть те силы, при помощи которых революционная борьба пролетариата России может быть доведена до конца.

И наоборот: революционная борьба российского пролетариата, в служении которой смысл всей нашей политической работы, сама немедленно войдет—какие бы могущественные национальные преграды ни стояли перед ней—важнейшим фактором в соотношения европейских социальных сил и даст могущественный толчок революционному наступлению европейского пролетариата на основы капиталистического общества.

Из признания иллюзорными надежд на национальную революцию для нас вытекает не отказ от революции, а, наоборот, расширение ее исторической основы, ее социальных целей и углубление ее классовых методов.

„Н Сл.", 26-го авг., 1-го, 2-го, 3-го, 4-го сент. 1915 г.

Своим порядком.

В любезном отечестве события совершаются — своим порядком.

Чтоб ярче ознаменовать, насколько новый министр внутренних дел враждебен всяким исключительным положениям,—так он заявил представителям печати,—Москва объявлена на военном положении, т.-е. наиболее исключительном из всех возможных. Сенатор Крашенинников, великий судебный „ликвидатор" событий революции, подводит один, в тиши, без переписчиков и при спущенных шторах, итоги московскому погрому, организованному градоначальником Адриановым против внутренних немцев, оказывающихся на поверку евреями. Но еще не въелись как следует быть в бумагу тайные сенаторские письмена, как Хвостов призывает Адриановых всех губерний и областей России к повсеместному устройству погромов, объявляя к их руководству, что стачки и волнения устраиваются немецкими агентами на немецкие деньги.

Все идет своим предопределенным порядком в нашем отечестве. Один из министров разъяснил любопытному сотруднику „Русского Слова", что теперь нет надобности в созыве Думы: „Такая необходимость значительно (!) ощущалась в июле, когда положение на фронте было несколько (!) неблагоприятно, ныне же этот мотив, к счастью, отсутствует". Так как несчастная Сербия отвлекла на себя часть немецких сил, то монархия, пользуясь военными каникулами, может продлить парламентские каникулы Государственной Думы. При этом не может быть, разумеется, и речи об удовлетворении финляндских ходатайств на счет созыва сейма: „Его заседания, в виду перерыва сессий палат, давали бы повод думать, по разъяснению г.г. министров, что Финляндия находится в привилегированном положении". А наши Хвостовы являются, как известно, непримиримыми противниками всяких привилегий и всякого неравенства. По этой самой причине „оставлена без последствий" жалоба последнего финляндского сейма на то, что центральное правительство распоряжается без согласия сейма штатным фондом. Было бы поистине противоестественным вводить для финнов „исключительный режим" законности — сейчас, когда немцы у Риги и Двинска не движутся вперед.

Правда, на Балканах дела идут из рук вон плохо. Но на что же существуют „союзники“? Не одним только проливам, но и Египту и Индии грозит ныне немецкая опасность. Стало быть, еще жить можно.

Правда, Сазонов, обещавший 8-го августа 1914 г. „не посрамить земли русской“, ныне не без сраму уходит в отставку. Но зато в сан канцлера возводится Горемыкин. Его бакенбарды должны отныне еще более символически свидетельствовать о том, что во внешней политике, как и во внутренней—все пойдет своим порядком.

Но Горемыкин—символ. Фактически министерство стоит под знаком хвостовщины. Премьер Хвостов, один из двух Хвостовых,—но какой: племянник или дядя? Если государственно-советский дядя—это значит черносотенство, полуприкрытие юридическими формами; если царски-народный племянник—это значит черносотенство оголтелое, базарное, демагогическое.

Но дядя, в качестве премьера, был бы, во всяком случае, только шагом к племяннику или только временным прикрытием для государственных трудов Хвостова-младшего. Звезда последнего горит на небосводе царизма, союзника двух западных „демократий“. Какое великолепное сближение: новое министерство республики, с бывшими социалистами во главе, с Гэдом, Самба и Тома в резерве, получает „союзный“ привет от царского правительства за подписью истинно-русского „союзника“ Хвостова!

„Н. Сл.“, 5 ноября 1915 г.

„Жюскобу“.

Корреспондент „Times'a“ проехал несколько тысяч миль по России — неизвестно, по меридиану или по параллели — и телеграфировал своей газете, что во владениях царя все обстоит как нельзя быть лучше. О революции пускают слухи только немцы (да пораженцы, прибавляет „Призыв“), на самом деле страна если и задыхается, то только от чрезмерного благосостояния. Сельскому населению государство выдает около 750 миллионов франков вспомоществования (сколько это будет по нынешнему курсу в рублях?), да на упраздненной монополии деревня имеет

еще 2 миллиарда франков чистого доходу. Эти данные, как известно, совершенно совпадают с тем, что сообщают кн. Евгений Трубецкой, министр Хвостов и подтверждает „Призыв“: мужик ест вместо хлеба шоколад, пьет чай в накладку и не иначе, разумеется, как под сенью развесистой клюквы. Правда, насчет клюквы в феврале, пожалуй, „клеймат не позволяет“, — но на что не пойдет патриотический русский крестьянин, чтоб только уважить союзников!

„Царь и все его подданные, — пишет английский корреспондент, проехавший несколько тысяч миль, — проникнуты непоколебимой волей продолжать войну до полной победы“. Мудреного тут нет ничего. Мужик, главный обитатель на протяжении этих нескольких тысяч миль, рассуждает так: „Войну прикроют, а монополию откроют, да и пособия прекратят, — в итоге-то чистый убыток“. А так как мужик тем временем привык к шоколаду Жоржа Бормана, то и естественно, что он за продолжение войны. К этому присоединяются еще и немаловажные соображения о защите западных демократий. Не всякий, конечно, мужик, сидя в феврале под клюквой, читает для расширения горизонтов „Призыв“, но так как в „Сельском Вестнике“ и в „Губернских Ведомостях“ шоколад соединен с западными демократиями приблизительно в той же пропорции, то умонаклонение мужика тем самым предопределено.

А стало быть предопределен и оптимизм г. Сазонова. Сколько именно тысяч миль совершил наш министр иностранных дел, мы не знаем, но он смотрит вперед с подкупающей бодростью. „Наша задача, — заявил г. Сазонов корреспонденту „Утра России“, — не только в том, чтоб изгнать неприятеля из наших пределов, но и в том, чтоб окончательно раздавить его, дабы Россия могла развиваться в полной свободе и следуя своим национальным заветам“. Раздавить немца — *да*, — поясняет „Призыв“, но чтоб без аннексий. И притом в строгом соответствии с элементарными началами права и справедливости! Корреспондент „Утра России“ насчет аннексий, правда, ничего не спрашивал, но зато полюбопытствовал, долго ли еще будет длиться война? Г. Сазонов, разумеется, нимало не затруднился ответом: „Война не может длиться долго, — заявил он, — ибо Германия не в силах будет более сопротивляться. В настоящий момент ее финансовое положение очень серьезно“. Да и может ли быть иначе? Баварский мужик

совершенно отощал и, за невозможностью расходоваться на пиво, пьет политуру. Наш старый знакомый, немецкий „мальчик в штанах“, вот уж который месяц как лишился этой важнейшей части туалета, тогда как русский мальчик, до войны добродушно обходившийся без нее, обзавелся теперь ею в двойном количестве. На всякие предложения сепаратного мира русский мальчик делает, по старой привычке, комбинацию из трех пальцев и, как и во времена Щедрина, присовокупляет: „На-кось, выкуси!“ После чего немецкий мальчик пускает через агентство Вольфа злобный слух, будто во всем виновата Англия, которая грозит-де, в случае сепаратного мира, напустить на Россию с востока Японию.

Тем временем немецкая марка, не в пример русскому рублю, падает все ниже, и финансовое положение Германии становится безнадежным. А русский мужик, тот самый, что собирается „окончательно раздавить“ Германию, лежит вверх брюхом под клюквой благоденствия и, вынув из жилетного кармана почтовую марку, заменяющую ныне в России денежный знак, сравнивает марку немецкую с отечественной, преисполняется народной гордости и телеграфирует всем депутатам, министрам, урядникам и посланникам: „Так что Нееловка просит, держись жюскобу“.

„Н. Сл.“, 17 февраля 1916 г.

Иронический щелчок истории.

Несомненные империалисты сомнительно-прогрессивного блока предъявили снова свою политическую программу. Националисты и октябристы тем спокойнее подмахнули требования политической амнистии и свободы рабочих организаций, что не имели никакого основания опасаться действительного осуществления этих лозунгов — „по манию руки“: можно биться об заклад, поставив 90 против 10, что именно этим „реалистическим“ аргументом Милюков покупал за кулисами присоединение Крупенских и Шульгиных к требованиям столь опасного радикализма. От слова не станется, а дураки поверят!

И нет даже надобности заглядывать в „Призыв“, чтобы не сомневаться, что кой-кто действительно поверил и из платформы прогрессивного блока вычитал, что мы вступили, наконец, в *восходящую* „национальную революцию“, по ритуалу которой пола-

гается сперва подняться к власти капиталистическим элементам буржуазии, чтобы затем уступить свое место буржуазной демократии. „Как быстро, — умиляется „Призыв", — созревает в России буржуазная оппозиция под влиянием общенационального подъема!" Разумеется, признает он, мы привыкли к критическим речам кадетов. „Но мы не привыкли к тому, чтобы критика Милюкова все время подтверждалась сочувствующими возгласами Пуришкевича, чтобы правый националист Половцев выступил против правительства с речью, быть может, наиболее сильною по форме выражения возмущенного патриотического чувства" („Призыв" № 24). Вот что ново в нынешнем положении, и вот в чем, оказывается, нужно видеть безошибочные симптомы национальной революции: Пуришкевич „все время" одобрял Милюкова!

Хотя пышный расцвет „патриотического чувства" и привел у нас натуральнейшим образом к методам нечленораздельного политического мышления и изражения, тем не менее — не в обиду политикам из „Призыва" — земля все еще вращается вокруг своей оси, а под революцией понимается общественное движение, непосредственно направленное на завоевание политической власти новым общественным классом. Какой же отечественный класс — в лето от Рождества Христова 1916-е — поставил себе задачей завоевание власти? Спервоначалу может показаться, что это именно класс Пуришкевича и Половцева протягивает руку к власти. Но тогда у кого он собирается ее отнимать? Кому же и принадлежит она в настоящее время, как не социально-паразитическому дворянско-чиновничьему классу Сухомлиновых, Пуришкевичей, Половцевых и Штюрмеров, т.-е. нашему отечественному юнкерству, самому жадному, самому неумытому и самому бездарному во всем свете? Однако же, не унимается „Призыв", „до сих пор господа Половцевы требовали голов революционеров. Теперь они требуют голов министров". От слова не станется, а „Призыв" поверит. Остальное же человечество может не сомневаться, что, не получив головы министра, Половцев вполне успокоит свое „возмущенное патриотическое чувство" на посту вице-губернатора; стало быть нет никакой возможности говорить о революционном переходе власти (вице-губернаторской) к новому общественному классу.

Остается, следовательно, та самая буржуазия в собственном смысле слова, которая так „быстро созревает под влиянием об-

щенационального подъема". Но центральной идеей этой буржуазии, как снова подтвердила недавняя кадетская конференция, является *воля к победе, а не воля к власти.* Весь пореволюционный и довоенный период был временем сближения оппозиционной буржуазии с монархией на основе империалистических задач. Милюков совершенно не дожидался нарушения австрийцами законов Канта, чтобы, по поручению г.г. Извольского и Сазонова, подготовлять в Софии и Белграде почву для захвата Россией Константинополя и проливов. И социал-демократия уже тогда обличала его и предрекала дальнейшие последствия. Связь буржуазии с военно-монархической властью несравненно могущественнее и непоколебимее, чем все оппозиционные шаги, политическая поверхность которых только подчеркивается одобрениями Половцевых и Пуришкевичей. И эта связь вовсе не создалась необходимостью „самозащиты" — по известной пожарной формуле, объединившей Столыпина с Гэдом: „Когда дом горит, нужно тушить", — нет, она была целиком подготовлена аггрессивно-империалистической политикой третьеиюньской России. Господа оборонцы, конечно, позабыли все это: если Австро-Германия захватывает Польшу — это империализм; если Россия захватывает Галицию или Армению — это национальное освобождение угнетенных. Но, по шекспировской формуле, „привыкли мы крапиву звать крапивой" — и социал-патриотических шарлатанов клеймить шарлатанами. „Воля к победе", сплачивающая прогрессивный блок, есть империалистическая воля русской буржуазии. Эта воля складывалась во всю эпоху контр-революции, и процесс ее быстрого формирования необходимо дополнялся принципиальным отказом буржуазиии от „безответственной" оппозиции, то-есть от спекуляций на революционное движение масс во имя завоевания государственной власти. Если б прогрессивный блок выставил в этих условиях требование ответственного министерства, подобное требование, при анти-революционной тактике блока, имело бы не более реальное значение, чем „требование" амнистии, подписанное испытанными столыпинцами националистической масти. Но в том-то и дело, что прогрессивный блок совершенно сознательно и обдуманно отказался даже и словесно выдвигать требование ответственного министерства, а ограничился ничего не говорящей формулой „министерства общественного доверия". Но, возражает умнейший „Призыв", „вопрос не в формуле, а в факте (!)

перемены правительства и отказе (!) исторической власти от старого способа образования министерств из рядов „придворной камарильи". Однако же, покуда никакого „факта" перемены правительства и никакого „отказа" исторической власти нет, судить о задаче оппозиции надлежит не по той восторженной чепухе, которую печатает „Призыв", а по „формулам", т.-е. по политическим требованиям самой буржуазии. Она не хочет борьбы за власть. И если подслеповатые гувернеры из „Призыва" думают, что это от неопытности или застенчивости, то они ошибаются: буржуазия гораздо умнее их и несравненно лучше их знает, что ей во вред, а что на пользу. Когда Пуришкевич — его хозяева в этих вопросах шутить не любят и не допускают тут никаких экивоков — укорил прогрессивный блок в стремлении к власти, Милюков поспешно крикнул: „Ничего подобного! Вы нас не так поняли". Министерство общественного доверия это то же, чего хотите и вы: чтобы не приглашать в министры фальшивомонетчиков и конокрадов. *Политическим идеалом русской буржуазии является прусско-германский режим*: государственная власть остается в руках монархии и юнкерства, как незаменимого оплота против народных низов, но юнкер — не вор и не пьяница — приспособляется к основным потребностям капиталистического развития и умеет, когда нужно, прокладывать ему дорогу мечом. Этот режим антиреволюционного сочетания феодальных и капиталистических классов на основе империализма составляет политическое содержание всей новейшей европейской истории. Русская буржуазия вступила в эту стадию уже после первых своих политических шагов. Но ей уже нет в политике пути назад от империализма, как в технике — назад от машины, как в организации производства и сбыта — назад от треста. И сама русская буржуазия прекрасно понимает это. Ее оппозиционность, конечно, не напускная, но содержание этой оппозиции всем объективным положением буржуазии вводится в пределы такого давления на бюрократическую монархию, чтобы побудить ее слегка потесниться, а главное — подтянуться, почиститься, привести в порядок свои дела, завести хорошую отчетность, словом *пруссифицироваться*.

Действительно, революционная проблема—проблема нового содержания власти, а не подбора „честных" министров — может быть поставлена только помимо буржуазии и против нее. С каким

остервенением и какими методами старая власть будет отстаивать свои позиции, на это она снова „намекнула“ всем своим партнерам — в Баку. О, насколько этот бакинский погром красноречивее не только красноречия Половцева, но и думских прений в целом! Проблема власти означает необходимость опрокинуть навзничь могущественнейшую погромную организацию,—вот о чем напоминают события в Баку. И когда эта проблема будет — сознательно, или на первых порах лишь эмпирически — поставлена снова революционным движением рабочих масс, буржуазия окажется фатально на стороне старой власти, готовая использовать новый разгром революции для дальнейшей пруссификации („европеизации“) русского политического режима. Пролетарский авангард должен был бы ослепнуть, чтоб не видеть—не предвидеть—этого.

Вся историческая миссия наших социал-патриотических немцеедов сводится к тому, чтобы помочь русской буржуазии дотянуться до—увы! увы!—*немецких* государственных порядков,— в тот момент, когда в самой Германии подготовляется их радикальная ломка. Поистине приходится удивляться, что история, у которой теперь хлопот полон рот, находит еще досуг для того, чтобы иронически щелкнуть по носу человечков из „Призыва“.

„Н. Сл.“ 26 марта 1916 г.

Фантастика.

Первомайские размышления.

Русская „внутренняя“ политика бывала моментами страшнее, чем ныне, но никогда она не была фантастичнее. То, что Салтыков называл „неключимостями“ нашего быта: невозможные сочетания идей, людей и положений, издевательства над природою вещей, дикие абсурды, нашедшие себе административное воплощение,—все это теперь возведено в какую-то новую, высочайшую степень, которая изменила самую субстанцию русской фантастики. Когда читаешь, например, дело Хвостова, организовавшего покушение на Распутина, то получаешь такое впечатление, точно главу из Щедрина серьезно переработал Эдгар Поэ, после чего

окончательную отделку наводил Поприщин. Самое это сочетание из Щедрина, Поэ и Поприщина не может не казаться парадоксально-нелепым и психологически-оскорбительным; но ничего другого не придумаешь. Самые чудовищные комбинации Поэ облагорожены единством художественного стиля: необходимо поэтому предоставить последнее слово именно Поприщину, который вставит „мартобря", шишку алжирского бея и гамбургскую луну,—и только после этого получится полное отражение русской действительности.

Свою книгу о помпадурах золотого века Щедрин начинает словами: „Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет еще распорядительности показать—глядь, его уж сменили, нового шлют"! Но историографу старого русского помпадурства даже и в лихорадочном сне не мог бы привидеться темп нынешних правительственно-бюрократических передвижений, возвышений, смещений и падений.

С июня прошлого года ушли: председатель совета министров Горемыкин, 3 министра внутренних дел, 2 военных министра, 2 обер-прокурора синода, по одному министру путей сообщения, земледелия, юстиции, торговли и контроля; далее, 6 товарищей министра внутренних дел, 2 обер-прокурора синода, по одному товарищу министров военного и морского и 3 директора департамента полиции. За какие-либо пять месяцев на 23 важнейших постах министерства внутренних дел произошло 15 перемещений, на 167 губернаторов и генерал-губернаторов состоялось 88 перемен, причем, в некоторых городах высшая администрация обновлялась по два раза в месяц. Достаточно сказать, что один Хвостов успел переменить 13 губернаторов и уволить 4. И можно не терять надежды, что вновь назначенные им еще покажут себя в самом сверхъестественном, т.-е. натуральном своем виде.

Сам Хвостов является бесспорно наиболее „репрезентативной" фигурой для русской бюрократии середины второго десятилетия нашего века. Был губернатором, брал взятки, склонял через полициймейстера актрису к взаимности, угрожая в противном случае высылкой: до сих пор все классические и так сказать патриархальные черты из щедринских „помпадуров и помпадурш". Но дальше идет чрезвычайный „модерн". Уволенный в отставку щедринский Хвостов должен был бы пристроиться приживалом к финансисту Фалелею Губошлепову, показывать ему, как наде-

вают на шею орден св. Анны, играть с мадам Губошлеповой в преферанс и безнадежно роптать. Вместо этого Хвостов, влекомый усложненной действительностью, вступает в Союз Русского Народа и проходит депутатом в Думу. Все решительно знают, что этот человек не только взяточничал и объяснялся в любви через полициймейстера, но и устраивал погромы. И он сам знает, что все знают. И все знают, что он знает о том, что все знают. Это нисколько, однако, не мешает ему лезть на трибуну, вносить декларации и делать оппозицию. Этот депутатский, думский, парламентский (!!!) мост между нижегородским и всероссийским помпадурством Хвостова — мост совершенно фантастический — представляет собою, однако, еще не самое фантастическое в его карьере.

В Норвегии проживает, в качестве политического эмигранта, бывший монах Илиодор, который начал на родине свою деятельность с того, что мазал дегтем ворота стриженым учительницам. В Петрограде проживает неграмотный сибирский мужик Гришка Распутин, который отверзает самым высокопоставленным (выше уже некуда!) дамам двери рая, а в то же время заведует сменой министров и вопросами войны и мира. Через посредство Ржевского—а Ржевский это наш старый Расплюев, которого тоже „обрабатывали“ Эдгар Поэ с Поприщиным — министр Хвостов входит в связь с эмигрантом Илиодором с целью упразднить придворного старца Гришку. Чудовищно, почти сверхъестественно—но и тут фантастичность все еще грубая, суздальско-рокамболевская, то-есть та же старая русская „неключимость“, только возведенная в $n+$ первую степень...

В то самое время, как Ржевский делегируется в Норвегию, Хвостов, влекомый усложненной действительностью, руководит выборами рабочих в военно-промышленные комитеты. И вот здесь-то и открывается нам неожиданно квинт-эссенция современной русской фантастики.

В Швейцарии проживает в течение почти четырех десятилетий, в качестве политического эмигранта, Г. В. Плеханов: казалось бы, совершенно достаточный срок, чтоб испытать закал человека. Никто не имел права считать его непримиримость одним только литературным щегольством. Уже совсем незадолго до начала войны Плеханов продолжал настаивать на крайней полезности расстрелять (для примера) русских ликвидаторов—за

слишком примиренческое отношение к отечественному режиму. И вот этот самый человек (автор брошюры о Тихомирове) вместе с несколькими другими эмигрантами, более или менее лишенными прав, сочиняет прошлой осенью манифест к трудящемуся народу. Манифест патентованных русских революционеров — „из Женевы!"—во время войны!... Но бывший нижегородский помпадур Хвостов, шеф жандармов и министр полиции, не только не командирует одного из своих Ржевских для упразднения Плеханова, или хотя бы его манифеста, а наоборот, громогласно одобряет женевский документ и предписывает полиции не чинить никаких препятствий к его распространению. И мы считаем, что эта комбинация из Хвостова и Плеханова (задумайтесь над нею на минуту, как над *свежим* фактом!) является наиболее фантастической из всей современной русской фантастики.

* * *

Больше всего поражает глаз нынешняя полная неприкрытость всех административных телодвижений. Директор департамента полиции Кафафов пишет циркуляр, приглашающий снова „потрепать жида"—на сей раз по поводу дороговизны. Циркуляр оглашается в Думе. И что же? Кафафов расчесывает седые бакенбарды, лезет на трибуну и объясняет, что трепать жида он почти что не призывал, а если и призывал, то для его же, жида, пользы. И все после этого глядят друг другу в глаза, а Кафафов отправляется писать новые циркуляры. Конституционная эпоха совершенно освободила бюрократию от стыда. Этим прежде всего и отличается современный помпадур от старого, щедринского. Тот органически боялся гласности во всех ее видах, зная, что с ней связан конфуз. А Хвостовы, Кафафовы, Сухомлиновы и все прочие превратностями последнего десятилетия совершенно застрахованы от малодушия перед гласностью. Депутаты и газетчики обличают: „Воры, погромщики, предатели" (возьмите в руки любую русскую газету!), а поименованные воры и погромщики расчесывают бакенбарды и лезут на трибуну для предъявления государственных программ. И ничего — благополучно получают кредиты.

Как Сперанский и Лорис-Меликов были высшими точками „либеральной" русской бюрократии, как Аракчеев остался навсегда высшим воплощением твердой русской власти, так Хвостов, повто-

ряем, есть увенчание и завершение отечественной бюрократии в эпоху „освободительной войны". Министр-депутат, которому Ржевский необходим для практической политики, а Плеханов для идеологии—тут ни прибавить, ни убавить ничего нельзя. И если поощряемый и использованный Хвостовым Плеханов продолжает, в сообществе с малыми сими, сочинять статьи об истинном и не истинном интернационализме, значит чувство стыда исчезло не только в среде русской бюрократии.

В марте Петроградское телеграфное агентство сообщало всем газетам нижеследующую телеграмму, полученную из заграницы депутатом Бурьяновым:

„Прочитали вашу речь и Манькова. Братски приветствуем и желаем бодрости и успеха в борьбе за защиту родины и за освобождение народа. Редакция „Призыва": Аргунов, Авксентьев, Бунаков, Воронов, Любимов, Плеханов, Алексинский".

Извольте припомнить, что во главе официального русского агентства стоит не кто иной, как Гурлянд, — субъект, который за кулисами успешно обучал конституционную бюрократию забвению стыда. За время последней думской сессии в прессе стон стоял по поводу гурляндовской информации: фальсифицирует, замалчивает, врет, скрывает. Даже кадеты жаловались, что те их речи, которые непосредственно не посвящены прославлению отечественного штыка, считаются Гурляндом как бы не произнесенными. Зато речь Кафафова Гурлянд телеграфирует полностью, а через Гаваса привосокупляет даже, что речь вызвала у еврейских депутатов слезы благодарности. Пока что все в сущности в порядке вещей. Но фантастика русской действительности захотела пред государственным благоволением Гурлянда уравнять с Кафафовым Плеханова и его Аргуновых. И казенный телеграф передает приветствие „объединенных" социал-демократов и социалистов-революционеров из „Призыва" Бурьянову с такою же тщательностью, как и речь чиновника департамента полиции. И члены редакции „Призыва" не только не решают после этого сгореть со стыда, но наоборот, продолжают как ни в чем не бывало свое творчество. Одобренные к употреблению Хвостовым и популяризуемые Гурляндом Авксентьев с Бунаковым попрежнему подвергают Либкнехта оценке под углом зрения истинного социализма. „Речь сего тевтона читали, но содержания оной не одобрили".

Один из героев Достоевского, мелкий плут Лямшин, изловчается одной рукой играть на рояле „Марсельезу“, а другой—„Mein lieber Augustin“, и при этом не сбивается с такта. Музыканты из „Призыва“ и без такой высокой техники достигают единственного в своем роде музыкального эффекта: они исполняют как будто „Интернационал“, но звуки его прекрасно гармонируют с хвостовски-кафафовским гимном. Вот этот-то музыкально-политический букет из „Интернационала“ и Кузькиной матери представляет собою высшую точку отечественной фантастики. И по чистой совести, мы не думаем, чтоб можно было создать что-либо более мерзостное.

„Н. Сл.“, 1 Мая 1916 г.

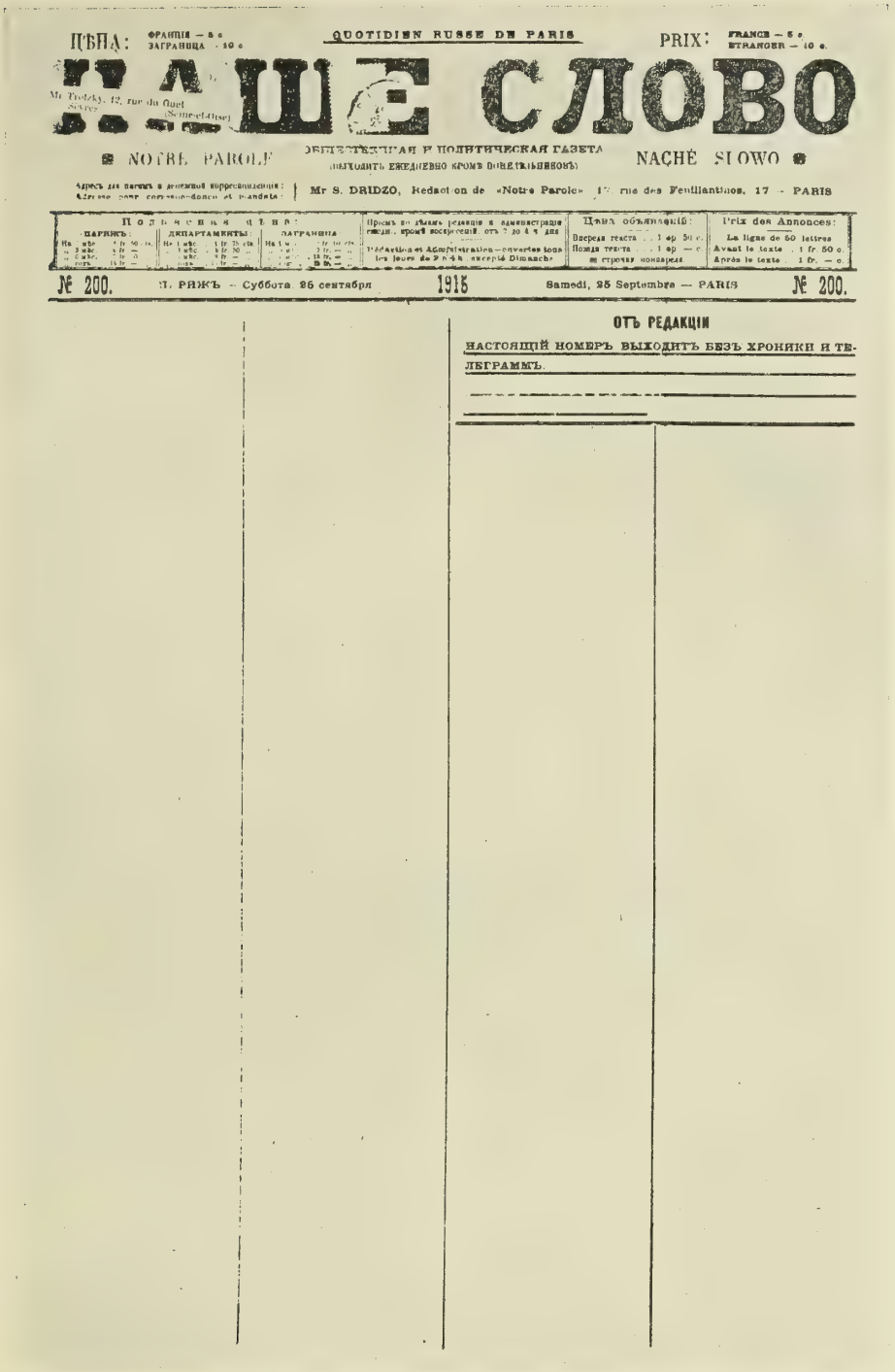
Отечественное.

При открытии государственной думы в Таврическом Дворце показался впервые царь, и этот факт вызвал такой поток византийского срамословия в прессе, как отечественной, так и „западных демократий“, от которого потомков наших будет тошнить до седьмого поколения. „Отныне никто не посмеет более называть думу крокодиловым убежищем“, заявил журналистам Хвостов, переживавший тогда медовый месяц своей министерской карьеры. Это нимало не помешало ни ему, ни тому, кто извлек Хвостова из праха, раздавать деньги газетам и организациям, ведущим атаку на думу. „Русское Знамя“—напрасно либерально-придурковатая пресса называет его „Прусским“: нет, оно наше, отечественное, неподдельное—„Русское Знамя“ настойчиво рекомендует перевешать всех депутатов прогрессивного блока и нимало не опасается такой своей программой разгневать господина своего. Эта очевидная „двойственность“ придает процессу российского обновления несколько смутный характер. „Зато занятно!“ мог бы с полным правом повторить мальчик без штанов свой ответ немецкому мальчику, если бы между ними допустим был по нынешнему времени диалог.

Министр Хвостов развернул богатейшую деятельность, которая на фоне войны выделялась единственным в своем роде красочным пятном: давал дважды в день интервью, открывал, совместно с охранной дамой Дезобри, кооперативные лавки, рекомен-

довал манифест Плеханова, поощрял законы спроса и предложения и завтракал в думском буфете. Казалось, человек совершил все. Но оказалось, что главную-то свою работу Хвостов совершал в тиши: министр внутренних дел, помимо всего прочего, занимался еще организацией покушения на убийство Распутина, а может быть и не его одного только. Русские газеты сообщают пять различных версий хвостовского заговора. Но действующие лица одни и те же: сам министр; журналист, битый подсвечниками; „клубный" инженер; безграмотный еврей, несомненно, не имеющий права жительства в столице, но вхожий в убежища самых сановных крокодилов; фрейлины; церковные иерархи; кокотки и пр. и пр. Белецкий, бывший при Хвостове товарищем министра, рассказывает теперь репортерам, что его патрон склонялся к „временам Венеции с ее наемными убийцами и нападениями из-за угла". В результате этой склонности, Хвостову пришлось уйти из министерства, так и не закончив своей внутренней борьбы с немецким засильем. Но пока что бывший министр, выдавший уголовному журналисту Ржевскому на предмет общеполезных убийств 60.000 рублей из того самого бюджета, за который „в духе" голосует Плеханов—пока что, говорим, Хвостов, повидимому, совершенно не собирается в арестантские роты.

Судьба бывшего министра Сухомлинова, намеревающегося, несмотря на все, закончить дни свои в покое, может тем более укреплять дух Хвостова, что Сухомлинов пользовался услугами того же самого Ржевского для затевавшихся им „мокрых" дел мирового масштаба: оказывается, что знаменитая высокоофициозная и международно-провокационная статья „Мы готовы!", которая появилась за несколько месяцев до войны в „Биржевых Ведомостях" и облетела весь мир, была написана, битым подсвечниками, шантажистом Ржевским под диктовку Сухомлинова, в присутствии поспешно казненного за предательство полковника Мясоедова. Обо всем этом рассказывал журналистам не кто иной, как Хвостов, тот самый, который, по Белецкому, склонен прибегать к наемным убийцам и нападениям из-за угла. Невероятно? Зато занятно! Ведь, выходит, что битые подсвечниками прохвосты делали мировою политику. А как же... Кант? Кто, так сказать, утирал в этом клубке нос категорическому императиву? Сухомлинов, который продавал подряды и вообще все, за что платили? Мясоедов? Неразрешимый вопрос. Русь, Русь! Куда ты несешься?



ЦѢНА: ФРАНЦІЯ — 5 с. ЗАГРАНИЦА — 10 с.

QUOTIDIEN RUSSE DE PARIS

PRIX: FRANCE — 5 c. ETRANGER — 10 c.

НАШЕ СЛОВО

Mr Trotzky, 12, rue du Quet Sèvres (Seine-et-Oise)

NOTRE PAROLE

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА (ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО КРОМѢ ПОНЕДѢЛЬНИКОВЪ)

NACHÉ SLOWO

Адресъ для писемъ и денежной корреспонденціи: Adresse pour correspondance et mandats: Mr S. DRIDZO, Redaction de «Notre Parole» 17, rue des Feuillantines, 17 — PARIS

Подписная цѣна:			Пріемъ по дѣламъ редакціи и администраціи ежедн., кромѣ воскресеній, отъ 2 до 4 ч. дня	Цѣна объявленій:	Prix des Annonces:
ПАРИЖЪ:	ДЕПАРТАМЕНТЫ:	ЗАГРАНИЦА:			
На 1 мѣс. 4 fr. 50 cts.	На 1 мѣс. 4 fr. 75 cts.	На 1 мѣс. 7 fr. 10 cts.	Rédaction et Administration — ouvertes tous les jours de 2 à 4 h. excepté Dimanche	Впереди текста . . 1 ф. 50 с.	La ligne de 50 lettres
„ 3 мѣс. 8 fr. —	„ 3 мѣс. 8 fr. 50 „	„ 3 мѣс. 7 fr. — „		Позади текста . . 1 ф. — с.	Avant le texte . 1 fr. 50 c.
„ 6 мѣс. 7 fr. 50	„ 6 мѣс. 8 fr. —	„ 6 мѣс. 12 fr. — „		за строчку нонпареля	Après le texte . 1 fr. — c.
„ годъ 14 fr. —	„ годъ 15 fr. —	„ годъ 20 fr. — „			

№ 200. П. РИЖЪ — Суббота 25 сентября 1915 Samedi, 25 Septembre — PARIS № 200.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

НАСТОЯЩІЙ НОМЕРЪ ВЫХОДИТЪ БЕЗЪ ХРОНИКИ И ТЕЛЕГРАММЪ.

«Наше Слово» и «Начало» в обработке французской демократической цензуры

ДЕНЬ „НАШЕГО СЛОВА"

Товарищи!

Парижская Рабочая Группа Содѣйствія „Нашему Слову" продолжая традиціи нашихъ рабочихъ организацій, настойчиво призываетъ всѣхъ товарищей, у кого дорого существованіе и расширеніе „Нашего Слова" пожертвовать въ день выхода 200-го номера газеты 2 октября ПРОЦЕНТЪ ихъ своего ОДНОДНЕВНАГО ЗАРАБОТКА. Мы знаемъ, товарищи, какъ тяжело дѣлать такое пожертвованіе въ настоящее время, когда хозяева подъ предлогомъ войны чуть ли не [illegible] продукты [illegible]. Мы все это понимаемъ [illegible], для которой мы всѣ это дѣлаемъ, тѣмъ больше, что мы должны напрячь всѣ силы, чтобы [illegible] и расширить наше пропаганду. Мы надѣемся, что вы это сдѣлаете!

Товарищи, записывайтесь въ Группу Содѣйствія „Нашему Слову".

Абонируйтесь на газету!

Отдѣленія принимаются

1) въ Еврейской рабочей библіотекѣ, 16, rue Ferdinand Duval, [illegible] Арона
2) въ клубѣ русскихъ эмигрантовъ Монтмартра 73, rue Mont Cenis, [illegible] Лебедева
3) въ русской библіотекѣ 63, avenue des Gobelins, [illegible] Мирона
4) у тов. Квасовой на заводѣ Фармана и [illegible] на rue Paul-Bert, 20
5) у тов. Каминскаго, 77bis, rue Bobillot
6) у тов. Цвинтермана 45, avenue Reille
7) въ конторѣ газеты „Наше Слово"

Парижская Рабочая Группа Содѣйствія „Нашему Слову"

Ce Journal ne peut être arié

Le gérant M. HAMBOURG.
53, Bd de Port-Royal.

Imprimerie J. Nachimovitch
17, rue des Feuillantines, 17 — Paris

НАЧАЛО

111 M. N. Riazanoff Mehrli str. 19 III Zurich IV — 3 ex. Suisse

ЕЖЕДНЕВНАЯ (кромѣ понедѣльниковъ) ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

LE DÉBUT — NATCHALO

Quotidien Russe de Paris

ФРАНЦІЯ — 5 с. ЗАГРАНИЦА — 10 с.

Адресъ для писемъ и денежной корреспонденціи ◆ Pour correspondence et mandats:
M. Mecheriakoff, Journal „Le Début",
Avenue d'Orléans, Bureau de Poste, Case № 1, Paris

Пріемъ по дѣламъ редакціи и администраціи по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 9 до 11 ч. дня, 11, Av. d'Orléans

Подписная цѣна:			Цѣна объявленій:
ЗАРЕЖЪ:	ДЕПАРТАМЕНТЫ:	ЗАГРАНИЦА:	Впереди текста—1 ф. 50 с. Позади текста—1 ф. за строчку нонпарели
На 1 мѣс — 1 50	На 1 мѣс — 1 75	На 1 мѣс — 2 50	Prix des Annonces:
» 3 » — 4.—	» 3 » — 4.50	» 3 » — 7 —	La ligne de 50 lettres avant le texte
» 6 » — 7 50	» 6 » — 8 —	» 6 » — 13 —	1 fr. 50 c. Après le texte—1 fr.
» годъ — 15 —	» годъ — 16 —	» годъ — 25 —	

№ 45 Среда 22 Ноября ◆ 1-й годъ изданія — 1re Année ◆ Jeudi 22 Novembre 1916 г.

„ОСВОБОЖДЕНІЕ" ПОЛЬШИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ДЕРЖАВАМИ*)

Къ Рабочему Интернаціоналу

III.

*) См. „Начало", №№ 43 и 44.

Къ положенію эмиграціи во Франціи

Въ послѣдніе дни въ колоніи усиленно циркулировали тревожные слухи о томъ, что вопросъ о привлеченіи россійскихъ эмигрантовъ во Франціи на военную службу уже обсуждался въ военной комиссіи и извѣстная революція Галли была принята чуть ли не единогласно.

Въ настоящее время мы можемъ самымъ опредѣленнымъ образомъ опровергнуть эти слухи.

ЗА ПРАВО УБѢЖИЩА!

О ГЕРМАНСКОЙ ЦЕНЗУРѢ

„Новое Время" (23-го октября) пишетъ по поводу дебатовъ въ германскомъ рейхстагѣ о свирѣпостяхъ цензуры

„Отношеніе германской цензуры къ германской печати является объективнымъ и безпристрастнымъ показателемъ истиннаго положенія дѣлъ въ Германіи. Германская цензура свирѣпствуетъ: это значитъ, что внутреннее положеніе Германіи весьма неблагополучно. Желая скрыть истину, германская цензура своими дѣйствіями раскрываетъ ее во всей очевидности. Въ Германіи весьма неблагополучно."

ПО РОССІИ

Успѣхи кавказской соц.-дем.

На выборахъ въ Тифлисскую городскую думу соціалдемократы провели 7 гласныхъ. Въ городѣ Гори (Тифлисской губ.) они изъ 30 мѣстъ гласныхъ завоевали 8. Въ гор. Озургетахъ (Кутаисской губ.) на выборахъ бывшихъ въ августѣ, они пріобрѣли большинство мѣстъ, но выборы кассированы. Въ Батумѣ соціалдемократы располагаютъ четырьмя мѣстами въ думѣ, въ Сухумѣ — двумя. О числѣ гласныхъ въ г. Поти мы точно не знаемъ. Намъ извѣстно лишь, что и тамъ соціалдемокр. имѣютъ свое думское представительство. Въ Гори гласные буржуазныхъ партій предлагали нашимъ товарищамъ провести своего представителя въ городскіе головы, наши товарищи отказались, предпочтя своими голосами провести безпартійнаго радикала.

(„Извѣстія" З. С. О. К., № 2, 1916 г.)

Къ свободному морю

Архангельскъ, 19 ноября.—Первые поѣзда начали циркулировать по жел. дорогѣ Мурманскаго побережья.

Безъ дровъ, безъ керосина и т. д.

Одесса безъ дровъ. Большинство квартиръ не отапливается. Въ *Ярославлѣ* прекратилась продажа свѣчей на мѣстѣ. Свѣчи продаютъ по 30 коп. за штуку. Въ *Тифлисѣ* — нефтяной кризисъ. Сталъ холодильникъ при бойняхъ, скорѣ можетъ стать и электрическая станція, и городъ останется во тьмѣ. Въ *Полтавскомъ* уѣздѣ совсѣмъ нѣтъ керосина. Въ *Каменецъ-Подольскомъ* уѣздѣ на керосинъ — 90 коп.—1 р. 25 коп. за фунтъ. Во *Владимірскомъ* керосинъ отпускается только казеннымъ учрежденіямъ. („День", 22 окт.)

Проектъ трудовой группы

Трудовая группа вноситъ въ Государственную думу законопроектъ о созданіи новой продовольственной организаціи. По этому проекту, во главѣ всего продовольственнаго дѣла ставится центральный продовольственный органъ, носящій коллективный характеръ. Въ составъ этого органа входятъ представители, избранные продовольственнымъ съѣздомъ, который долженъ быть для этого спеціально созванъ изъ представителей общественныхъ организацій, земствъ и т. д. На мѣстахъ избираются въ свою очередь мѣстные продовольственные органы, подчиненные центральному и работающіе подъ его руководствомъ.

Оскудѣніе дворянство

За невзносъ причитающихся Государственному дворянскому банку платежей 73 дворянскихъ имѣнія въ Тульской губерніи назначены въ продажу съ аукціона.

Евреевъ гонятъ

„День" сообщаетъ, что въ первыхъ числахъ октября лечившимся въ Кисловодскѣ евреямъ администраціей области было предложено немедленно покинуть Кисловодскъ и отсрочка была дана до 15 октября лишь сильно больнымъ.

Переизбытокъ мяса

„Рѣчь" сообщаетъ: „Недавно Москва страдала отъ недостатка мяса. Теперь страдаетъ отъ его избытка. Неожиданно почему-то въ Москву попало мясо, которое предназначалось для Петрограда. Мясо, которое шло на какой-то фронтъ, тамъ оказалось ненужнымъ и направлено въ Москву. Бить прибывающій скотъ городъ еще можетъ, но хранить его негдѣ. Городскіе холодильники заняты, а скотъ все шлютъ да шлютъ въ Москву. Не одна бѣда, такъ другая."

Опять Бабычъ

Начальникъ Кубанской области наказной атаманъ Бабычъ вновь заставилъ газеты говорить о себѣ. Въ „Кубанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ" опубликованъ нижеслѣдующій его приказъ.

„Разсмотрѣвъ заключеніе военно-прокурорскаго надзора кавказскаго военно-окружного суда на театрѣ военныхъ дѣйствій о писарѣ въ ей канцеляріи нестроевомъ старшаго разряда Т. М. Безсоновѣ и усматривая виновность его въ томъ, что онъ, Безсоновъ, состоя въ законномъ бракѣ съ Н. И. Безсоновой, вступилъ съ другой женщиной во внѣбрачную связь и отказался отъ совмѣстной жизни съ вышеназванной законной женой, что предусмотрѣно 1-ой ч. 1585 ст. улож. о наказ., и потому за означенное дѣяніе и на основаніи 210 ст. XXIV кн. св. военн. постан., нестроеваго старшаго разряда Безсонова предаю кавказскому военно-окружному суду на театрѣ военныхъ дѣйствій."

Въ глубинѣ Россіи

Изъ Новочеркасска пишутъ въ „Рѣчь":

„Новый начальникъ Донской области графъ М. Н. Граббе продолжаетъ чистку донской полиціи. Вслѣдъ за расквартированіемъ александро-грушевской полиціи уволенъ „для пользы службы" приставъ Хрустальскаго горнаго района въ Таганрогскомъ округѣ В. И. Зембулатовъ, жившій въ Майскомъ торговомъ поселкѣ Криндачевкѣ и слывшій подъ именемъ „криндачевскаго вице-короля".

„При приставѣ Зембулатовѣ говорили, что онъ владѣлъ всѣмъ имуществомъ жителей поселка на правѣ общей собственности: все твое — мое, отъ крупнаго до мелочей.

„Торговля виномъ запрещена, но если кровнымъ торговецъ желаетъ ввезти въ Криндачевку вино, онъ долженъ отдать дубликатъ на полученіе съ желѣзнодорожной станціи вина приставу. Тотъ получаетъ вино, оставляетъ себѣ пятую часть, а остальное разрѣшаетъ продавать. Обращался г. Зембулатовъ съ „вѣтренными" еще круче — попросту...

„Горный инженеръ Анджеловъ подалъ жалобу на пристава и указалъ цѣлый рядъ свидѣтелей. Пріѣзжаетъ производить дознаніе помощникъ окружного начальника Таганрогскаго округа. Свидѣтели, прежде чѣмъ попасть къ помощнику окружного начальника на допросъ, достаются къ приставу, и онъ ихъ „предупреждаетъ". Свидѣтели не подтверждаютъ фактовъ, указанныхъ въ жалобѣ. А инженера Анджелова приставу удается усадить въ тюрьму за оскорбленіе въ публичномъ мѣстѣ. Проникаютъ свѣдѣнія о дѣйствіяхъ Зембулатова въ печать, и приставъ привлекаетъ фельетониста „Приазовскаго Края" къ отвѣтственности не за клевету, конечно, а за диффамацію.

„Но жители поселка оживѣли, когда въ Новочеркасскѣ произошли перемѣны и на Донъ пріѣхалъ графъ Граббе.

„Купчиха Н—лазова подала жалобу, въ которой разсказала, что приставъ бралъ у нея даровые матеріалы, вѣсомъ и порчами только за то, что вывѣшивала афиши для ея электро-біографа. Въ электро-біографѣ не довольствовался полагавшимся ему мѣстомъ въ партерѣ, а потребовалъ ложу. Когда ложа ему была предоставлена, онъ потребовалъ, чтобы въ нихъ была уничтожена перегородка. Было исполнено и это требованіе пристава. Тогда Зембулатовъ потребовалъ проломать въ электро-біографѣ стѣну и сдѣлать для него отдѣльный входъ въ его ложу. Все это требовалось подъ угрозой закрыть электро-біографъ.

„Произведеннымъ дознаніемъ жалоба Н—лазовой подтвердилась.

„Послѣ Н—лазовой въ Новочеркасскѣ съ жалобой явился купецъ Дудъ и заявилъ, что при благосклонномъ участіи пристава Зембулатова въ военно-обязанные на рудникахъ записывались въ качествѣ артельщиковъ, котельщиковъ и десятниковъ купцы изъ сосѣднихъ губерній и что приставомъ учреждена даже такса за такія услуги.

„Въ Криндачевку выѣзжали командированныя наказнымъ атаманомъ лица и, очевидно, жалоба Дуда также подтвердилась, если послѣдовало увольненіе Зембулатова."

ВОЙНА

ОФИЦІАЛЬНЫЯ СООБЩЕНІЯ

ФРАНЦУЗСКІЙ ФРОНТЪ

20 ноября, 11 час. веч.

Довольно сильная бомбардир. непріятелемъ на сѣв. отъ Соммы и у Дуомона. На остальномъ фронтѣ — нечего отмѣтить.

21 ноября, 3 часа дня.

Ночью у Сайизеля и Дуомона — сильный артиллерійскій бой. На остальномъ фронтѣ ночь прошла спокойно.

АНГЛІЙСКІЙ ФРОНТЪ

20 ноября, 9 ч. 5 м. вечера. — Непріятель бомбардировалъ сегодня Бомонъ-Гамель и окрестности Гедекура. За послѣдніе сутки взяты 50 новыхъ плѣнныхъ.

ВОСТОЧНАЯ АРМІЯ

19 ноября. — Сраженіе, начавшееся 10-го ноября на фронтѣ отъ Черны до оз. Преспа, окончилось полной побѣдой союзныхъ войскъ. 19-го ноября широкое обходное движеніе противъ германско-болгарскихъ войскъ, защищавшихъ Монастырскій районъ, было доведено до конца. Вечеромъ 18-го ноября сербскія войска, продолжая побѣдоносное наступленіе, овладѣли Груништа къ востоку отъ Черны. Той же ночью Иратокъ, въ излучинѣ рѣки, попалъ въ руки франко-сербскихъ войскъ. Развивая энергично свой успѣхъ, въ ночь на 19-ое сербы въ блестящемъ бою овладѣли выс. 1378 и на разсвѣтѣ выбили непріят. изъ Макова. Въ тотъ же день сербами были взяты нѣсколько линій непр. траншей къ напр. Добромира. Это сильное движеніе впередъ принудило непріятеля очистить свои послѣдніе позиціи передъ Монастыремъ. Французская кавалерія, преслѣдуя непріят. по пятамъ, вступила въ городъ въ 8 час. 30 м. утра 19-го ноября; вслѣдъ за ней — колонна франко-русской пѣхоты. Днемъ французы, наступая къ сѣверу отъ Монастыря, овладѣли послѣдовательно выс. 821, сел. Керклина и достигли окрестностей Карабаша и Оризари, немедленно ими атакованныхъ.

Преслѣдованіе продолжается безостановочно. Взято 622 плѣнныхъ и много матеріала.

РУССКІЙ ФРОНТЪ

Петроградъ, 20 ноября. — Обычная перестрѣлка на всемъ фронтѣ.

Кавказскій фронтъ. — Ничего значительнаго.

Румынскій фронтъ. — Въ районѣ Кампулунга къ югу отъ Драгославеля румынами произведена неудачная атака. У Альберешти румыны, наступая къ сѣверу, взяли до 100 плѣнныхъ, 2 пулем. и одно орудіе. Отбиты непр. атаки въ направленіи Ольту, въ районѣ Оести, Сербанешти и Прессуа. Въ долинѣ р. Жіу румыны, подъ давленіемъ превосходныхъ силъ, отступаютъ къ югу. На Дунаѣ — безъ перемѣнъ.

СОБРАНІЯ И РЕФЕРАТЫ

Отъ секретаря Эмиграннтскаго Комитета

Въ воскресенье 26 ноября въ 9 ч. утра въ обычномъ помѣщеніи состоится общее собраніе Эмигрантскаго Комитета.

Въ виду важности рѣшеній, которыя должны быть приняты на этомъ собраніи, всѣ члены, входящіе въ Комитетъ организаціи, приглашаются быть на немъ правильно представлены.

Эмигрантская Касса въ Парижѣ

Въ среду 22-го ноября въ помѣщеніи Библіотеки 63, av. des Gobelins, въ 8½ ч. веч. состоится собраніе Организаціонной Комиссіи по устройству Новогодняго вечера 31-го декабря. Комитетъ проситъ товарищей, сочувствующихъ Эм. Кассѣ, принять участіе въ организаціи Новогодняго вечера.

Собраніе представителей полит. группъ

Въ четвергъ 23-го ноября, ровно въ 8 ч. веч., въ помѣщеніи библіотеки, состоится собраніе представителей политическихъ группъ для обсужденія вопроса объ организаціи помощи ссыльнымъ и каторжанамъ.

Просятъ не опаздывать.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Въ кооперативной лавкѣ „SOLIDARITÉ"

28bis rue de la Forge Royale, 28bis

производится подписка и розничная продажа газеты „Начало".

БИЛЕТЫ НА ПЕТРОГРАДЪ агентство вагонъ 1 Place de l'Opéra Paris

ДОКТОРЪ КЕССЕЛЬ

Métro St-Paul 28, rue de Rivoli Métro St-Paul

принимаетъ больныхъ женскими и кожными болѣзнями а также по внутреннимъ болѣзнямъ отъ 2 до 4 ч. дня, по ночамъ, праздничнымъ днямъ отъ 9 до 11 ч. утра.

РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ТИПОГРАФІЯ

A. MICHEL

17 Rue des Francs-Bourgeois

Н. БЕЙСАЛЬКО

Вышли изъ печати и въ Парижѣ книга

„АЛМАЗЫ ВОСТОКА"

Цѣна 1 фр. 50 с.

Продается въ кооп. „Начало"

Mme MAGDA DONATELLI

de la Scala de Milan et des principaux Théâtres d'Europe, reprend ses cours et leçons particulières de Salle Pleyel, 29, rue de Clichy, le mardi et vendredi de 2 h. à 6 h.

СТУДЕНТЪ

французск. и русскаго языковъ

Mr Natan, 49, rue Gay-Lussac

Le Gérant: OHERON, Jean-Baptiste

Imprimerie Rirachovsky, 217, rue St-Jacques

И если счастливой судьбой предопределено было тебе итти рука об руку с западными демократиями к „высоким целям права и справедливости", зачем же тут Ржевский? зачем Хвостов? зачем Сухомлинов? Белецкий?.. „Но не дает ответа".

А между тем вот уже выходит в отставку военный министр Поливанов, которого на смерть заласкала своими аплодисментами Дума, и на смену ему идет Шуваев. Еще неизвестно, какой журналист будет писать под диктовку нового военного министра, а уж либеральная пресса тихо скулит, томимая предчувствием: жутко...

Жутко! стонут либеральные депутаты, городские и земские деятели и военно-промышленные патриоты. В самой так сказать сердцевине национального единства торчит Ржевский—и следы подсвечников на его лице освещаются зарницами босфорских и дарданельских исторических перспектив.

Вы чего хотите, господа: власти или проливов?—спрашивает их рок в образе Маркова 2-го. „Нет,—отвечает от имени прогрессивного блока Шульгин,—мы хотим только министерства, о котором не печаталось бы то, что сейчас в газетах печатается". „Если бы организовать Россию для победы, значило организовать ее для революции,—подхватывает Милюков,—я сказал бы: лучше оставьте ее на время войны такой, как она была... „Такой, как была... Ржевский с шуллерскими синяками, Хвостов с наемными убийцами, Сухомлинов с Мясоедовым,—все лучше, чем перспектива революции. И от сознания своей политической растленности жалко скулит либеральная печать.

А дух Ржевского между тем полновластно царит над отечественным хаосом. Хозяйственная жизнь в полном расстройстве. Ржевский торгует вагонами и держит города и области под такой блокадой, о которой может только мечтать соединенный англо-французский флот. Министры и губернаторы сменяют друг друга, как уголовно-фантастические тени на национальном экране.

Русь, Русь, куда ты несешься так бешено, третьеиюньская?
— К катастрофе!—отвечает эхо петербургских мостовых.

„Н. Сл.", 14 июня 1916 г.

Разочарования и беспокойства.

Возобновлению работ государственной думы предшествовала непосредственно поездка русских депутатов, представителей руководящего думой прогрессивного блока, в союзные страны. Протопопов, Гурко и Милюков не только развозили по союзным столицам благую весть о полной готовности русского народа довести войну „до конца", но и демонстрировали на самих себе великое значение русского парламента: разве им поручили бы такую высокую дипломатическую миссию, если бы государственная дума не успела занять первостепенного места в государственной жизни России? И, в свою очередь, выполнение депутатами блока столь важной миссии разве не должно было еще более упрочить существование и увеличить значение „народного представительства"? Сколько одних тостов было произнесено в Лондоне, Париже и Риме за русскую государственную думу!

Таким образом, благотворное влияние западных демократий к моменту открытия новой сессии обещало обнаружиться в самом прямом и непосредственном виде.

С другой стороны, открытие думской сессии непосредственно предшествовало русскому наступлению на волынско-галицийском фронте. Во французской прессе печатался портрет Шингарева, председателя думской военной комиссии, и перечислялись заслуги этой последней в деле возрождения русской армии после прошлогоднего разгрома. Альбер Тома вывез самое лестное впечатление о работе военно-промышленных комитетов по части изготовления пушек и снарядов. Все это должно было опять-таки чрезвычайно укрепить политическое значение общественных организаций, мобилизовавшихся для службы тыла. И к тому моменту, когда объединенные усилия бюрократии и буржуазии (вместе с социал-патриотическими стрелочниками) должны были увенчаться победой над Австрией, необходимо было ожидать другого увенчания усилий — в стенах Таврического Дворца.

Мы снова, таким образом, имеем поучительнейший политический опыт перед собою. И надо отдать справедливость Штюрмеру: он позаботился о том, чтоб опыт развернулся почти в химически чистом виде.

В своей программной речи в прошлую сессию Штюрмер заявил, что сперва, разумеется, победа, а потом реформы, и что поэтому дума должна в первую очередь сосредоточиться на тех законопроектах, которые продиктованы потребностями войны. Хотя штюрмеровский тон и коробил либеральную буржуазию, но по существу она-сама была согласна с премьером: ведь, даже социал-патриотические стрелочники империализма стремятся внушить рабочим, что сперва победа, а потом классовая борьба. Вся тактика думского блока, земско-городских организаций и военно-промышленных комитетов была целиком построена на обслуживании войны, причем именно борьба за победу означала: для „начальников движения" — борьбу за влияние, а для храбрых стрелочников даже борьбу „за власть".

Но вот ко дню возобновления думской сессии правительство опубликовывает сразу девять законов, изданных правительством помимо думы — в порядке знаменитой 87 статьи. Законы о налоге на военную прибыль, о помощи пострадавшему от войны населению, о наказуемости лиц, работающих в общественных организациях, о надзоре над акционерными компаниями, об акцизе на табачные изделия и пр. — все эти законы Штюрмер совершенно готовыми преподнес думе в день ее открытия, как доказательство того, что правительство отлично справляется с потребностями войны и без содействия господ народных представителей. А правая пресса только пояснила этот жест, потребовав немедленного прекращения думской сессии — за полной ненадобностью. Одновременно Штюрмер подал царю докладную записку о том, что земский и городской союзы, обслуживающие тыл войны, совершают слишком широкие операции и потому должны быть введены в пределы. Военно-промышленные комитеты, как жалуется Гучков, „переживают тяжелое время", — это как раз, когда занялась заря „побед"! — а всякие общественные съезды признаны нежелательными.

Было бы грешно требовать от царского правительства более ясной постановки вопроса: новых слов Штюрмер, конечно, не выдумал, но ему, слава богу, и со старыми хорошо. Что скажут, однако... социал-патриоты? Более смышленые промолчат или поведут речь о засилии Гогенцоллерна и его юнкерства в Германии, а простоватые, разумеется, заявят: мы ждем твердых поступков от прогрессивного блока! Социал-либеральные фальсификаторы марксизма еще раз повторят: кадетская партия в тупике!

Теперь, или никогда! — и даже пригрозят разувериться окончательно в либеральной буржуазии, если та не вступит на путь „решительной борьбы".

Но социал-либеральные фальсификаторы марксизма, они же ныне социал-патриоты, представляют собою только ноющий зуб либеральной буржуазии: на самостоятельное существование они совершенно неспособны, и их угрозы разрывом сами по себе не могут тревожить патриотический сон г.г. Милюковых.

Беспокойство в сердца политиков прогрессивного блока и их бюрократических партнеров вливается совсем из другого источника. Об этом лучше всего свидетельствует внезапный прилив интереса у думы к рабочему вопросу. Целых три законопроекта из области социального законодательства извлечены из архивов и поставлены в порядок дня: об обеспечении рабочих и служащих министерства финансов на случай профессиональных заболеваний, о введении женской фабричной инспекции и о нормальном отдыхе торговых служащих. Законопроекты имеют совершенно частичный и притом скаредный характер. Но запоздалая торопливость, с какою третьеиюньцы ставят эти разрозненные осколки социального законодательства в порядок дня, лучше всего свидетельствует, где — по немецкому выражению — жмет сапог. Дума, которую правящая реакция третирует сейчас, как выжатый лимон, пытается в самом унижении своем помочь реакции, выливши три ведерка законодательного масла на волны рабочего движения. Но господа кандидаты в министры общественного доверия меньше всего пользуются доверием пролетариата. Робеспьер когда-то говорил, что демократия — это организованное недоверие. Углубить и организовать недоверие пролетариата и дать этому недоверию действенное выражение — такова сейчас задача революционной социал-демократии.

„Н. Сл.", 21 июня 1916 г.

Уроки последней думской сессии.

Последняя сессия государственной думы шла в атмосфере, насыщенной трупным запахом. Мы не о тех трупах говорим, которые должны служить оградой „государственного единства" Империи и вместе мостом к Константинополю... Сколько их,

кстати, этих трупов? скажет нам когда-нибудь это, хоть приблизительно, наша жалкая и вороватая государственная статистика?.. нет, мы говорим о запахе *политического* трупа, о смраде, исходящем от прогрессивно-империалистического блока вообще и его левого, кадетского фланга, в частности.

Штюрмер, как мы знаем, встретил думу девятью готовыми законами, проведенными за спиною злосчастного „народного представительства" по 87-й статье. Что же дума? Так как законодательство, непосредственно обслуживающее войну, оказалось одним ударом вырвано из ее рук, то она увидела себя вынужденной приступить к „органическому" законодательствованию на основе реформаторской программы прогрессивного блока. Первым делом третьеиюньцы решили осчастливить крестьян: надо думать, деревенские впечатления господ депутатов оказались достаточно тревожны. Казалось бы, если вообще чего-нибудь можно было ждать от буржуазной оппозиции, то именно тут, на крестьянском вопросе. Война до последней степени напрягла хозяйственные и личные силы деревенских низов. Правящая реакция не может не бояться на этой почве осложнений, и, следовательно — при действительно серьезном нажиме — не может не итти на уступки. Что же делает прогрессивный блок? Провозгласив своей „программной" задачей уничтожение крестьянского неравноправия, он извлек из думских архивов столыпинский закон об отмене некоторых крестьянских правоограничений, закон, проведенный десять лет тому назад в жизнь, в порядке все той же 87-й статьи. Весь свой реформаторский размах „прогрессивные" третьеиюньцы, руководимые кадетом Маклаковым, свели к „легализации" и частичному дополнению одного из скаредных законов контрреволюции. Когда слева — далеко не с достаточной энергией и последовательностью — обличали ничтожный характер запоздалой перелицовки столыпинской реформы, либерализм возражал: мы стремимся осуществить... осуществимое. У него и в мыслях не было, чтоб закон о крестьянском равноправии превратить в таран, направленный против стены всероссийского бесправия. Имея пред собою сухомлиновщину, хвостовщину и распутинщину, пройдя через прошлогодние „недоразумения" в деле, так называемой, национальной обороны, либерализм, больше, чем когда бы то ни было, считает сословную монархию непреложным и незыблемым фактом, к которому нужно приспособлять всю рефор-

маторскую работу. Само собою разумеется, что на этом пути третьеиюньцы не могли найти ничего лучшего, как уже десять лет назад проверенные и одобренные сословной монархией образцы законодательства. Третьеиюньцы отвергли попытку провозгласить — хотя бы в принципе — равноправие граждан, независимо от национальности и вероисповедания. Они отвергли частичное расширение прав евреев, в частности, отмену черты оседлости. Они сохранили паспорта и сословно-волостной суд. Главный довод их в ответ на критику слева гласил: мы не можем задаваться утопическими целями и предлагать реформы, неприемлемые для *них*: для монархии, бюрократии, дворянства. Не даром же от имени правительства выступал по этому вопросу новый товарищ министра внутренних дел граф Бобринский, председатель объединенного дворянства и инициатор всех мероприятий контр-революции! А в это самое время государственный совет из старого думского законопроекта об ответственности чиновников изгонял суд присяжных, сохраняя для чиновников суд сословных представителей: задача уничтожения сословности, в добром согласии с этим архи-сословным государственным советом, как раз пришлась по плечу прогрессивному блоку и его либеральным вождям!

Если история, наша собственная история за 10 последних лет, что-нибудь с полной несомненностью обнаруживает, так это полную тщету надежд и упований на демократически-оппозиционный рост русского либерализма. Ставши открыто и демонстративно на путь империалистического сотрудничества с монархией и сделав это сотрудничество основой всей своей политики, либерализм только завершил всю предшествовавшую свою эволюцию, как она была подготовлена и национальными и международными условиями его развития. Либеральная буржуазия так же мало способна сойти с империалистской основы, как и развернуть на ней сколько-нибудь энергичную оппозицию.

Империалистическое перерождение либерализма ставило, таким образом, принципиальный крест на одном из главных догматов меньшевистского течения в социал-демократии. Недаром же один из теоретиков меньшевизма оказался вынужден недавно заявить, что от надежд на „национальную революцию" приходится-де отказаться (А. Мартынов). Правда, названный автор не попытался еще разъяснить ни Мартову, ни самому себе, что

из отказа от двенадцатилетних надежд на революционную роль либеральной буржуазии в национальной революции вытекают кое-какие политические последствия; что всякие иллюзии и даже простая неясность по этой части превращают интернационализм из революционного в сантиментальный или декоративно-фразеологический; что, в частности, сбивчивость и бесформенность позиции даже лучших членов думской с.-д. фракции определяются в основе своей именно живучестью меньшевистских надежд на национально-революционную роль буржуазии. Но в истории общественных идеологий бывает всегда так, что долго влиявшие идеи вспыхивают с особенной яркостью именно тогда, когда они уже окончательно пережили себя. Понадобилась война, обнаружившая всю принципиальную глубину примирения между либеральной буржуазией и дворянской монархией, чтобы социал-патриотизм овладел старой меньшевистской схемой и короновал ее — от собственных избытков — колпаком с дурацкими бубенцами.

„Первые заседания г. думы ярко показали, каким могучим рычагом оказалось здоровое национальное чувство в деле политического пробуждения страны". Это, разумеется, из „Призыва" за март текущего года. „Прошли те патриархальные времена, когда улыбка начальства заставляла русский либерализм таять от умиления и отказываться от насущных требований. Декларация национально-прогрессивного блока прозвучала... как голос твердой, закаленной испытаниями политической воли..." Это все из передовой статьи „Призыва" (№ 24). И для того, чтобы не оставлять недоговоренностей, социал-патриотическая редакция, тряхнув бубенцами, заявляет: „Жалкие доктринеры и выдохшиеся революционеры поторопились объявить, что в период развития империалистического хозяйства пора национальных революций безвозвратно миновала". Все это очень красноречиво. Но вот в последней сессии „твердая, закаленная испытаниями политическая воля", прогрессивного блока приступила, наконец, к осуществлению своей программы и — несмотря на благоприятнейшие условия — не только отшатнулась от скромнейших предложений из сферы национального равноправия, но и в области крестьянского вопроса демонстративно отказалась итти дальше перелицовки оставленной ей в наследство столыпинской шинели. Г. Маклаков—мозг и сердце блока разъяснил, что это и есть их тактика, и что у них не будет и не может быть иной...

Хромой бог русского прогресса еще раз издевательски потряс в воздухе колпаком национальной революции, с размаху нахлобучил его на коллективный череп русских социал-патриотов и бесцеремонно прихлопнул сверху корявой рукой. *Этим*, конечно, не поможет, — зато *другим* наука!

„Н. Сл.", 12 июля 1916 г.

Равнение по Макарову.

Французская пресса отзывается об отставке г. Сазонова в том смысле, что лучше было бы, если б ее не было. Не потому, что г. Сазонов незаменим. Наоборот, почти все газеты дают понять, что г. Сазонов был и оставался почтенной посредственностью, удел которой в такую эпоху, как нынешняя, состоял в том, чтобы совершать промах за промахом. С очень почтительной иронией газеты выдвигают на первое место крайний „оптимизм" г. Сазонова: почти накануне войны он утверждал, что никогда еще политический горизонт не был так ясен, как теперь; он оптимистически не предвидел вмешательства Турции в войну и оптимистически верил, что Болгария не решится воевать против „освободительницы"—России... Словом, он совершил все те ошибки, из-за которых пал Делькассэ, плюс еще некоторые собственные. „Он не был великим министром", пишет о Сазонове „Libre Parole". Если тем не менее французская пресса не без искренности жалеет об его уходе, то только потому, что от него не ждали сюрпризов. Но что такое г. Штюрмер? Он не профессиональный дипломат, а только чиновник. Но, в конце концов, сущность чиновника, как определил еще Кукольник, состоит именно в том, что он может стать и дипломатом и акушером. Так как г. Штюрмер стал дипломатом, то нетребовательная французская пресса желает ему итти по стопам г. Сазонова, — того самого, который не был великим министром. Но в таком случае смена была, по меньшей мере, излишней. А если г. Штюрмеру поручено направить свои стопы по другому пути?

Для успокоения общественного мнения французская пресса не без основания ищет причин последних министерских передвижений во *внутренней* политике России. Дело в том, что перемены не ограничились министерством иностранных дел. На пост мини-

стра внутренних дел назначен г. Хвостов, бывший министр юстиции, дядя знаменитого племянника, блестящая карьера которого так плачевно оборвалась на уголовщине. Наконец, министром юстиции назначен г. Макаров, бывший министр внутренних дел, автор знаменитой фразы: *„Так было, так будет“*, сказанной по поводу вызванных провокацией ротмистра Трещенкова ленских расстрелов. Макаров, подобно двум остальным членам черносотенно-бюрократического триумвирата, Щегловитову и Маклакову, считался в либеральных кругах, так сказать, окончательно погребенным. Это придает тем больше блеска его назначению: совсем как Лазарь, который уже смердел, а между тем воскрес.

Нужно признать опять-таки, что „Libre Parole“ лучше других газет характеризует положение· „Ориентация русской политики, говорит газета, не переставала с начала войны колебаться то вправо, то влево... Эволюция (вправо) была отсрочена призывом к власти г. Штюрмера, который знаменовал собою если не поворот маятника влево, то по крайней мере время остановки, период выжидания. Дума была созвана. Но влияние правых снова проявилось, как только наступление на фронте открылось столь блестящим образом. Дума была распущена. Наступают перемены в составе высшего правительства, и на первый план выступают столь характеристические имена, как Макаров и Хвостов. Отныне отставка г. Сазонова становилась неизбежной“.

Г. Сазонов, как раньше г. Извольский, считался „доброжелателем“ думы, так как не отказывался пользоваться теми вспомогательными источниками информации, связей и влияния, какие открывало ему думское представительство. Штюрмер этой благожелательностью не отягощен. Правда, он созвал думу, и недавно поданная царю записка правых (в составлении ее Макаров играл, надо думать, не последнюю роль) прямо обвиняла его в слабости и попустительстве заговору левых, которые, под знаменем национальной обороны, мобилизуются для захвата власти. Но это обвинение было явно преувеличенным. Если дебют Штюрмера на премьерском посту получил бесцветную окраску, в противоречии с более чем ярким прошлым дебютанта, то исключительно потому, что ему приходилось выжидать. Как только выяснилось, что общественные организации своим сотрудничеством помогли подготовить достаточно успешное наступление на австрийском фронте, Штюрмер немедленно же открыл наступление на фронте

внутреннем, обнаружив полную готовность равняться по Макарову. „Так было, так будет".

Французская пресса просит читателей не беспокоиться по поводу немецкого имени нового министра иностранных дел. И действительно: „Что в имени тебе моем?" может сказать г. Штюрмер, готовый во всех смыслах итти в ногу с истинно-русским Макаровым. Нельзя, правда, отрицать, что имя г. Штюрмера представлялось как нельзя более подходящим, чтоб символизировать того „внутреннего немца", которого русские социал-патриоты обещали сокрушить одновременно с немцем внешним. Но в том-то и заключается мораль последних министерских перемен, что г. Штюрмер снова нанес этому политическому обещанию жестокий афронт: резкий поворот маятника вправо определился непосредственно успехами в Буковине, или, иначе сказать, внутренний немец,—под именем ли Романова, Штюрмера или Хвостова, все равно,—чувствовал себя тем прочнее, чем дальше отступали австрийцы. Это, конечно, противоречит социал-патриотическому прогнозу, но зато находится в полном соответствии со здравым смыслом и логикой вещей.

А как же все-таки с внешней политикой г. Штюрмера? Поданная царю записка правых, которая предопределила последние перемены, требует, как известно, возможно более скорого прекращения войны. Это, конечно, не помешает г. Штюрмеру сделать самые успокоительные заверения. Призвав одного из международных Тряпичкиных, г. Штюрмер завтра или послезавтра заявит, что война должна быть доведена до конца, т.-е. до сокрушения прусского милитаризма и полного торжества принципов права и справедливости. Как сложится в действительности внешняя политика России в ближайший период, это зависит от факторов, более серьезных, чем „программа" г. Штюрмера.

„Н. Сл.", 27 июля 1916 г.

Две телеграммы.

Вопреки ожиданию, г. Штюрмер не призвал к себе союзных журналистов и не сказал им ничего бодрящего, так сказать, дух. Более того, он не принимал союзных посланников, а поручил это своему безвестному товарищу Нератову, который и сделал пред-

ставителям союзных государств разъяснение в том смысле, что ничего особенного не случилось.

Самолично г. Штюрмер пока что лишь обменялся телеграммами с г. Брианом. Сообщив своему адресату, что Е. И. В., „мой августейший повелитель", соблаговолил призвать его, Штюрмера, и пр., новый царский дипломат заканчивает уверенностью в том, что обе союзные страны пойдут вместе „в великой задаче, которая падает на нас в нынешних многозначительных обстоятельствах". В ответ на это г. Бриан телеграфировал о готовности Франции итти вместе с храбрыми союзниками „до окончательного торжества". Мы, вообще говоря, не питаем склонности к истолкованию поздравительно-дипломатических телеграмм. Но тут нельзя не обратить внимания на то, что г. Штюрмер говорит о „великой задаче", за которую он собирается приняться, не указывая точнее, в чем именно эта задача должна состоять.

Если же мы обратимся к „Journal", то узнаем насчет „великой задачи" следующее. В русском министерстве иностранных дел петроградскому корреспонденту этой газеты сообщили, что соединение портфеля иностранных дел с председательством в Совете министров диктуется некоторыми важными вопросами.

— На какие вопросы намекаете вы?—спросил корреспондент, любознательный, как все корреспонденты.

— А вот, например (!!!), в момент подписания мира мы должны будем регулировать с нашими союзниками вопросы экономического порядка, или касающиеся внутренней политики в стране, и это будет тем легче сделать, если мы будем обладать совершенно однородным министерством.

Допускаем, что г. Штюрмер действительно может понадобиться на тот случай, если бы оказалось своевременным подписать мир. Но почему и для какой именно „однородности" необходим тут Макаров? На это корреспонденту „Journal" намекнули указанием на то, что вопросы мира могут оказаться связанными с вопросами „внутренней политики в стране". Каким образом? Это тоже не трудно понять, если припомнить и сопоставить кое-какие факты.

Не так давно приезжал к западным союзникам г. Барк. Цель его визита, уже в виду его профессии, не могла возбуждать сомнений. Имел ли он успех? Г. Протопопов на этот вопрос отвечал уклончиво: „Мы, мол, разминулись с г. Барком в дороге,

так что ничего положительного сказать не можем...“ Но г. Милюков был более определенен. „В Англии и во Франции,—так рассказывал кадетский посланник,—нам отвечали, что денег есть сколько угодно... в Америке. Но что для получения этих денег нужно дать уступки евреям“.

— Да, ведь, это же непозволительное вмешательство во внутренние дела,—ответил немедленно Марков 2-й: жид мой, хочу—вощи лью, хочу — с кашей пахтаю, — союзникам какое дело?

— Вмешательства тут никакого нет,—возразили ему,—а просто союзники, в связи с вопросом о новых миллиардах, желали бы поговорить о некотором согласовании внутренней политики с внешней.

— Согласование?—откликнулись немедленно из Петергофа,—сколько угодно! И Штюрмер немедленно был приглашен заведывать внешней политикой, а Макаров—юстицией. На вопрос о согласовании внутренней политики с внешней Макаров только чуть-чуть перефразировал себя: „*Так было, так будет*“. После этого „однородность“, столь необходимая, как разъяснили союзному журналисту, при подписании мира, была достигнута вполне, и г. Штюрмер, приступая к выполнению „великой задачи“ (без дальнейших определений), мог со спокойной уверенностью пожелать г. Бриану по телеграфу от бога доброго здоровья.

„Н. Сл.“ 28 июля 1916 г.

„Борьба за власть“.

Прогрессивно-кадетская Москва и министерство Штюрмера.

В беседе с представителями высшей администрации, московский городской голова Челноков, видевшийся кроме Штюрмера, с кн. Шаховским, Хвостовым и Макаровым, вынес, по сообщению русских газет, впечатление, что нынешний кабинет имеет определенные „задания провести существенные реформы общего характера. Это, говорил в беседе с корреспондентом Челноков, пожалуй (!) консервативный кабинет, имеющий целью проведение либеральных реформ. Если бы такая задача была дана либеральному кабинету, к нему предъявили бы слишком большие требования, которые он не мог бы выполнить. Но если консервативный кабинет выполнит хотя бы часть реформ, он скорее заслужит доверие,

как со стороны общества, так и со стороны руководящих политических кругов и в сферах". Таково сообщение газет.

„Впечатление", вынесенное г. Челноковым, нимало, разумеется, не характеризует министерства Штюрмера—Макарова, которое достаточно говорит само за себя и своим составом и своими делами. Но зато это „впечатление" крайне ярко характеризует направление политической мысли либерально-капиталистических кругов, выразителем которых является г. Челноков, стоящий во главе общегородского союза, обслуживающего войну и... всячески теснимого правительством.

Нет ничего легче, как показать всю фантастичность утверждений Челнокова. Но было бы не меньшей фантастичностью делать отсюда тот вывод, что стоит раскрыть Челноковым глаза на действительную природу правительства, чтоб они стали к нему в непримиримое противоречие. На самом деле добровольный „самообман" г.г. Челноковых (на три четверти — обман Челноковыми других) вытекает не из их „наивности", „непонимания" и пр., а наоборот, из очень твердо усвоенного ими понимания общности их империалистических интересов с нынешней государственной властью. Челноковы знают, что бюрократическая монархия, как она есть, неспособна отстоять их мировые интересы; но именно поэтому они несут ей на помощь все свои „духовные дары" вместе с дарами обслуживающей их профессиональной интеллигенции. Они знают, что монархия не уступит им своего места, но они и не претендуют на это; они знают в то же время, что монархия ходом вещей вынуждена усвоить некоторые новые навыки и приемы, нужные им для их империалистических целей, и они всячески содействуют ей в этом. Они жмутся и протестуют, когда бюрократия слишком беззастенчиво ворует или слишком нагло третирует своих буржуазных сотрудников — „воспитателей". Но думать, что этот протест может стать отправным моментом политического разрыва между буржуазией и монархией,—разрыва, из которого для буржуазии вытекала бы необходимость искать опоры в революционных массах, значит ничего не понимать в характере совершающегося на наших глазах процесса взаимопроникновения и взаимовоспитания бюрократической монархии, дворянского землевладения и крупного капитала.

Создавая (не столько для себя, сколько для других) „иллюзии насчет Штюрмера, Челноков продолжает служить основным

интересам своего класса в условиях нынешней эпохи. Создавая себе иллюзии насчет Челноковых и их завтрашней „борьбы за власть", оппортунисты в рабочем движении выдают буржуазии с головою рабочий класс.

В этом вопросе — наш „национальный" ключ к проблеме интернационализма и социал-патриотизма.

„Н. Сл." 27 августа 1916 г.

Впечатления и обобщения г. Милюкова.

Г. Милюков делится с читателями „Речи" своими заграничными впечатлениями в очень пространных фельетонах, в которых наблюдательность образованного обывателя и вульгарная сметка отнюдь не девственного либерала дополняются несколько назойливым самодовольством состоящего на посылках государственного человека. Нельзя сказать, чтоб все это вместе давало очень привлекательный букет. Но нет надобности подходить к писаниям г. Милюкова с эстетическим критерием. Без предохранительной маски, вообще, ведь, трудно читать нынешнюю официальную, официозную и услужающую литературу, главными чертами которой повсюду являются наглость и глупость. На этом основном фоне фельетоны г. Милюкова выделяются с несомненной выгодой для себя. Разумеется, и в них виднейшее место занимает обязательное пустословие на тему о том, как в Англии и во Франции все любят Россию и русских вообще, г. Милюкова в особенности. Нет недостатка также в прямых политических передержках и подтасовках. Но рядом с этим попадаются любопытные факты и даже обобщения. К ним небесполезно присмотреться,— т.-е. и к передержкам и к правильно намеченным обобщениям.

I. Победа и свобода.

Г. Милюков беседовал с французскими социалистами и радикал-социалистами. Брак говорил об условиях мира — „в духе английских пацифистских взглядов". Ренодель „коснулся вопроса о завоевательных и освободительных тенденциях войны". После этого им отвечал г. Милюков и, как видно из его собственного изложения, русский либерал не ударил лицом в грязь. Он начал свой

ответ „указаниями, в стиле французских деклараций, на то, в какой степени мы в России неответственны за войну. Я привел ему, — продолжает г. Милюков, — мою „пацифистскую“ речь на парижском банкете... за два месяца до войны. Привел и статьи „Речи“ во время посещения России Пуанкаре. Этого, мне казалось, достаточно, чтобы мои собеседники не причислили меня к категории „империалистов“. Дальше, — продолжает г. Милюков, — вопросы пошли уже о частностях, о взглядах русского общественного мнения на проливы, на польский вопрос, о шансах еврейского, армянского вопроса, о Персии и т. д.“. В этом изложении лучше всего тон, который поистине делает музыку. Французские социал-патриоты о целях войны выражались „пацифистски“, то-есть в духе заповеди: не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его, ни проливов его, ни городов, ни пажитей его... На этой наивности г. Милюков не останавливается. Вот насчет завоевательных и освободительных тенденций — сколько угодно, и притом, по полуиронической характеристике самого г. Милюкова, „в стиле французских деклараций“. Завоевательные тенденции у нас, конечно, есть, но выглядят они точь-в-точь, как и освободительные: во-первых, он, Милюков, на банкете в честь Ботлера произнес сам „пацифистскую“ речь, во-вторых, в „Речи“ печатались благороднейшие статьи, и, наконец, мы вообще, слава богу, не империалисты: хотите—верьте, хотите—нет. Что касается проливов, Армении и Персии, которыми интересовались собеседники, то это „частности“ — по сравнению с пацифистской речью Милюкова. И социалисты слушали его, как он скромно вспоминает, „с известной симпатией“.

Жан Лонге простер, однако, свою любознательность дальше, „поставив вопрос от имени (?) русских „дефетистов“ (пораженцев). Сам он не разделяет их мнения, оговорился Лонге, но все-таки интересно, как отвечают в России на тот аргумент, что победа и реакция тесно связаны между собой“. Милюков отвечал, что даже при допущении этой связи из нее не может вытекать никакого практического вывода. „Акция и реакция могут сменяться десятилетиями, тогда как победа решает судьбу многих поколений и положение нации в целом. Естественно, что отношение к одному не может иметь ничего общего с отношением к другому“.

Г. Милюков упустил хороший случай расширить кругозор своих собеседников, рассказав им, что лет двенадцать тому назад,

во время русско-японской войны, он и сам состоял в пораженцах подобно большинству левых либералов. Их надежды на спасительную помощь оружия микадо были прямым последствием их политической дряблости и их страха перед революцией. И эти пораженческие надежды отчасти оправдались. Понадобился опыт революции 1905 г. с ее непримиримой классовой борьбой внутри буржуазной нации; опыт контр-революции с ее окончательным обнажением политической природы имущих классов и их отношения к государственной власти; опыт международной политики последнего десятилетия, когда Франция финансировала контр-революцию, а Англия увенчала государственный переворот 3-го июня соглашением с контр-революцией, — понадобилось все это для того, чтобы окончательно выбить не только из кадетской партии, но и из радикальной — народнической и „марксистской" — интеллигенции последние остатки пораженческого отщепенства. Интеллигенция поняла, что борьба за „мировое самоутверждение" (империализм!) не ждет, пока русский либерализм или русская революция сведут свои счеты с царизмом. И если переметные сумы социал-патриотизма, вчерашние левые, в первые месяцы своего обращения еще говорили о революционном использовании войны, — ныне эти речи слышатся все реже и реже, — то г. Милюков, как национальный политик не со вчерашнего, а с... позавчерашнего дня, стал на более возвышенную точку зрения и разъяснил своим французским собеседникам, что вопрос о мировом положении (т.-е. совокупность таких „частностей", как проливы, Армения, Персия, Галиция...) являются вековой *основой* политики, завещанной нам рядом поколений, тогда как „акция (?) и реакция могут сменяться десятилетиями". Разумеется, Жан Лонге — если б он что-нибудь понимал в природе совершающегося перед ним процесса, мог бы возразить, что борьба за „мировое самоутверждение" будет становиться все более и более напряженной и, следовательно, все меньше будет допускать „отвлечения" имущих классов и ответственных партий в сторону революционной дезорганизации государственной власти. Сегодня дело идет об одолении Германии, завтра — об использовании победы и обеспечении ее плодов от — Великобритании: международные ситуации меняются, но необходимость сосредоточения имущих вокруг государственной власти остается и лишь становится все более властной. Империализм исключает революцию на национальных основах.

Но нам, русским, нет в сущности необходимости привлекать к делу эти политические перспективы, чтобы показать полную тщету ссылок г. Милюкова на грядущие „акции и реакции". Даже из этого осторожно прилизанного оборота видно, что г. Милюков, который с американскими пацифистами произносит почти квакерские речи, а с французами изъясняется в „известном стиле французских деклараций", видно, говорим, что г. Милюков в левой компании счел полезным слегка похорохориться и пообещать — по ту сторону проливов — революционные „акции".

Но, ведь, мы-то знаем больше того, что известно Жану Лонге. В Думе 3-го июня, где г. Милюков говорит „в известном стиле" деклараций прогрессивного блока, т.-е. своим натуральным языком, кадетский лидер, возражая левым, категорически заявил, что если путь к победе вел через революцию, то он, Милюков, отказался бы от победы. Ответственный политик либерализма достаточно хорошо понял, что, *если бы даже русская революция временно укрепила позиции империалистической буржуазии, то перед ней, в лице прошедшего через новую революцию пролетариата, выросла бы сразу смертельная угроза.* Двенадцать лет тому назад г. Милюков призывал поражение, потому что оно давало толчок революции; теперь он готов был бы принять поражение, лишь бы уйти от революции. Но об этом историческом повороте русский либерал ничего не сообщил своим французским собеседникам.

2. Циммервальдцы и лонгетисты.

Историю циммервальдского объединения г. Милюков пишет так, как полагается ее писать либеральному националисту, кровно заинтересованному в поддержке социал-патриотизма: на треть правды приходится треть неосведомленности и треть подделки. Когда г. Милюков изображает дело так, будто лишь после неудачи лонгетистской оппозиции добиться созыва Инт. Соц. Бюро выступили на сцену более радикальные элементы и проложили путь в Циммервальд, то в этом анахронизме повинна просто неосведомленность г. Милюкова: на самом деле левое крыло выступило на сцену, когда Лонге еще смиренно выполнял официозные дипломатические поручения под протекторатом Реноделя; лонгетистская оппозиция почувствовала потребность существовать

лишь под прямым давлением агитации циммервальдского крыла. Но суть сейчас не в этом. „Дело перешло в руки синдикалистов и в особенности в руки „официальной" итальянской социалистической партии. При посредстве своего члена Моргари, — продолжает г. Милюков свой рассказ, — она снеслась с меньшинствами в Париже и Лондоне, и *при посредстве германской социал-демократии*, наконец, добилась цели. После ряда препятствий и неудач, в маленькой деревушке бернского кантона собрался интернациональный социалистический съезд".

Гвоздем изложения является подчеркнутая нами глухая фраза: „при посредстве германской социал-демократии". Г. Милюков не мог не знать, что „посредство" германской социал-демократии выглядело совершенно так же, как и „посредство" французской партии: правящие круги обеих отнеслись сперва с высокомерной, потом со злобной враждебностью к инициативе революционного меньшинства. Но кадетский политик знает, что делает. Не так давно даже „Bonnet rouge" жаловалась, что нет такого патриотического хитреца или бездельника, который не считал бы, что достаточно обозвать противника „бошем" (или германофилом), чтобы опрокинуть его навзничь. Одобряя Либкнехта, Р. Люксембург, Меринга и других, союзные социал-патриоты и вдохновляющие их Капюсы пытались с первых же дней представить Циммервальд, как интригу пангерманизма, организованную „при посредстве германской социал-демократии". Что из того, что все то, что в Германии ведет борьбу против войны, империализма и официальной социал-демократии, тесно связано с Циммервальдом! Либкнехт обращался к Циммервальдской конференции, участвовать в которой он не мог, с письмом, в котором одинаково клеймил социал-патриотов по сю и по ту сторону Рейна. Разве это мешало или мешает бесчестным паразитам чужого героизма объявлять Либкнехта единомышленником тех „союзных" Шейдеманов, которые свои сервильные мысли выражают на французском или на русском языке? Было бы противоестественно, если бы г. Милюков не воспользовался при таких условиях готовой формулой, рассчитанной на невежество и глупость, которые ныне повсюду состоят под бдительной защитой цензуры.

Что либеральный путешественник усвоил себе подлог вполне сознательно, это вытекает уже из той юридически-неуловимой

формы, какую он придает в этом месте своему повествованию: он просто „отвлекается“ от существования в Германии большинства и меньшинства и говорит о „посредстве германской социал-демократии“. Этой осторожностью бывший профессор только и отличается — выгодно или невыгодно? — от тех социал-патриотических прощалыг, которые еженедельно стараются доказать, что им нечего терять.

* * *

По отношению к французскому социализму г. Милюков отнюдь не отвлекается от существования большинства, меньшинства (лонгетистского) и циммервальдцев. Наоборот, как мы сейчас увидим, он — в пределах преследуемых им политических интересов — очень недурно разбирается во взаимоотношениях этих трех группировок.

Любопытно, что на интернационалистскую опасность во Франции указал Милюкову... Кропоткин, с которым кадетский лидер виделся во время своего пребывания в Лондоне. „Между прочим, — рассказывает Милюков, — П. А. Кропоткин высказал мне на этот раз в разговоре свое опасение по поводу роста „циммервальдских“ настроений во Франции, который он усматривал в значительном увеличении меньшинства, голосовавшего против патриотического большинства на апрельском Национальном Совете. Я обратил после того особое внимание на это голосование“.

Г. Милюков занялся вопросом и вот к каким он пришел выводам: „Меньшинство, присоединившееся в декабре к большинству, выступило (в апреле) с другим проектом и собрало в свою пользу 960 голосов. Характерно, что все-таки не меньшинство присоединилось к циммервальдцам, а циммервальдцы принуждены были голосовать за его формулу, по существу вовсе их не удовлетворявшую. Формула меньшинства ограничивалась „одобрением усилий“ секретаря международного бюро Гюисманса „восстановить связь“ между секциями Интернационала и рекомендовала центральным учреждениям „ответить утвердительно на его призыв“. Вопрос о „немедленности“ созыва, о котором главным образом спорили, вовсе не был подчеркнут в резолюции. Еще меньше в ней было речи о каком-нибудь предварительном очищении социалистических большинств от обуявшего их „национализма“. Циммервальдцы требовали покаяния и возвращения

на путь классовой борьбы, а меньшинство предлагало лишь дополнить обычную деятельность социалистических партий интернациональными сношениями, ничуть не отрекаясь при этом ни от union sacrée, ни от участия в министерстве, ни от вотума кредитов. *Это было, конечно, непоследовательно; но принимая эту непоследовательность, меньшинство сводило на нет всю работу циммервальдцев* (курс. наш). При таком понимании, конечно, падают и те опасения, которые вытекали из предполагаемого присоединения меньшинства к циммервальдцам. Присоединялось не меньшинство к ним, а они к меньшинству, почему нельзя и сравнивать цифры голосования 9 апреля с цифрами голосования 25 декабря. Циммервальдцы ответили на это вынужденное присоединение фактом новой эмансипации, отправившись на вторую самозванную „конференцию в Кинтале", — только для того, мог бы теперь прибавить г. Милюков, — чтобы на августовском Национальном Совете снова капитулировать перед лонгетистами.

Приведенная цитата свидетельствует, повторяем, что г. Милюков очень недурно разобрался во взаимоотношениях трех основных группировок во французском рабочем движении. Правда, самостоятельность его ориентации может быть подвергнута законному сомнению, особенно на этих столбцах: г. Милюков заявляет, по другому поводу, что в его распоряжении имеются комплекты „Голоса" и „Нашего Слова", — и можно было бы без большого труда показать, что не только факты и цитаты, но и основные политические выводы заимствованы им из нашего издания. Дело, однако, сейчас не в этом. Достаточно того, что г. Милюков понял политический смысл лонгетизма, как нового звена в сложной цепи, приковывающей рабочие массы к существующему режиму. Этим он обнаружил, во всяком случае, больше проницательности, чем те горе-интернационалисты, которые готовы мириться с лонгетизмом, загодя учитывая его „объективное" революционное значение. Но тем не менее, г. Милюков остался в долгу перед своей аудиторией, не объяснив ей, зачем понадобилось новое звено лонгетизма, или — почему оно возникло. Между тем, этот вопрос является не лишним. Лонгетизм отражает если не глубокий сдвиг в массах, то нарастание такого сдвига и — страх перед ним. Если политические усилия лонгетистов заслуживают с точки зрения г. Милюкова полной похвалы, — по той же причине, по которой они требуют с нашей стороны непримири-

мого отпора, — то симптоматическое значение лонгетизма не может не внушать ему тревоги. Правда, он совершенно молчит об этой стороне дела, но надо думать, исключительно потому, что боится ослабить педагогическую силу своих французских наблюдений для русского рабочего движения...

„Н. Сл.", 23 и 24 августа 1916 г.

Родные тени.

На одной и той же странице мы нашли чрезвычайно поучительные, почти символические сообщения о пяти политических фигурах, или точнее сказать о четырех политических фигурах и о... Бурцеве.

Во-первых, речь идет о генерале Думбадзе.

„О подвигах Ивана Антоновича на Кавказе, где он начал службу армейским офицером, — пишет газета, — не было ничего слышно. О подвигах полковника Думбадзе в качестве администратора, главноначальствующего гор. Ялты с 1906 года в течение длинного ряда лет, слышала вся Россия. Его имя буквально не сходило со столбцов газет и журналов. Грузин по происхождению, еще на Кавказе Думбадзе явился сторонником „русских начал", деятельным членом, вдохновителем и руководителем „союза русского народа". После цензурного пробела газета продолжает: „В Ялте он был настоящим хозяином, рачительным и строгим. Его приказы торговцам и полиции, извозчикам и обывателям были кратки и выразительны. Он не любил терять лишних слов и без объяснения высылал корреспондентов неугодных ему изданий, закрывал ялтинские газеты, наблюдал за чистотой семейных нравов в распущенной Ялте".

Смело пишет газета о Думбадзе; но и то сказать: генерал Думбадзе уволен на покой. Повидимому, уволен тихо, без уголовно-бюрократического драматизма: просто признан так сказать административно истощившимся.

Гораздо хуже обстоит дело с другим доблестным санов-ником...

„Генерал Комиссаров, — рассказывает в телеграмме та же газета, — уволен от должности ростовского градоначальника по третьему пункту, без прошения, в виду ряда заявлений, поступивших в министерство от местных деятелей. Комиссаров служил в петроградском жандармском отделении. Имя его связывалось

с Азефом. На данных Комиссарова основывался ответ правительства Думе по делу Азефа".

„Ротмистр Комиссаров" в свое время сверкнул, как пышный хвост при комете — Азефе — и исчез. Обыватель думал: конец ротмистру. Ан ротмистр, подчиняясь законам бюрократического естества, превратился в полковника, полковник — в генерала. На троне ростовском сидел генерал и правил. Но какие-то поступили „заявления" от каких-то „деятелей" (проворовались, ваше превосходительство?), и полетел генерал Комиссаров по третьему пункту[1]).

Третье сообщение имеет вид несравненно более скромный:

„Приказом по министерству внутренних дел причисленный к министерству коллежский асессор Манасевич-Мануйлов уволен со службы за истечением срока причисления к министерству".

Какой-то коллежский асессор!—пренебрежительно скажет невнимательный читатель. Но в том то и дело, что не „какой-то", а весьма определенный, Манусевич-Мануйлов — известный в своем роде литератор, писавший в „Новом Времени" статьи за подписью „Маска". Главной его профессией являлся впрочем сыск. За время войны Манусевич приезжал в Париж и, как сообщали, в целях скрепления уз, нанес визит г. Эрве. Но вернувшись в отечество, проворовался. При обыске у него нашли зашитыми в штанах 100.000 руб. Сейчас коллежский асессор отчислен от министерства и временно водворен в тюрьму; что сделано с его штанами, неизвестно.

Было бы однако малодушием со стороны Маски отчаиваться. Ибо никогда неизвестно, в какую сторону может повернуться колесо жизни. Лучше всего об этом свидетельствует карьера священника Восторгова.

„Московским духовенством, рассказывает газета, получена сенсационная новость о назначении прот. Восторгова в Москву епископом в течение ближайших дней. Восторгов уже приехал в Москву. У митрополита Макария состоялось собрание благочинных, которым предложено высказаться, желательна ли кандидатура Восторгова? Благочинные ответили положительно. Отзыв благочинных запротоколен, и прот. Восторгов, получив этот документ, уехал в Петроград".

[1]) Курьез, что Бурцев и кое-кто еще из белого Бедлама сделали не так давно попытку подкинуть Комиссарова... большевикам!

Вот видите. Чего-чего только не сообщали русские газеты о священнике Восторгове: и воровал, и подлоги делал, и к тифлисским гимназисткам проявлял отнюдь не пастырские чувства, и не то в убийстве женщины, не то в сокрытии убийства участвовал... казалось бы, человеку на каторге нужно быть, а между тем он собирается в епископы. Не теряйте духа, генерал Комиссаров!

. . . И на той же самой газетной странице следующая коротенькая телеграмма:

„Приехал в Москву из Петрограда Бурцев для занятий в Историческом музее. Отсюда он поедет в Саратов работать в Радищевском музее".

Неужели полный и окончательный закат? Великий Бурцев, гроза всех шпионов и провокаторов (кроме тех, которые водили его за нос), переезжает ныне из музея в музей, безучастный к судьбе бывшего ротмистра Комиссарова. Что делает Бурцев в Историческом музее? Кто знает: может быть он изучает сданные туда на хранение штаны Манусевича-Маски.

„Начало", 30 сентября 1916 г.

Изъян в твердом курсе.

Так как русская пресса не подчинена республиканской цензуре, ежедневно уродующей столбцы „Начала", то из доходящих до нас разрозненных номеров русских газет можно составить себе некоторое представление о том, что происходит на нашей далекой родине. Мы, разумеется, далеки от дерзкой попытки перенести на страницы парижского издания сообщения и суждения московских, киевских, самарских или томских газет. То, что допустимо и уместно на варварском меридиане Томска, совершенно несовместимо с темпераментом цензуры в стране четырех революций и прав человека и гражданина. Мы вынуждены поэтому пользоваться материалом с чрезвычайной осторожностью и о самых заведомых подлецах говорить если не почтительным, то вежливым тоном. Читатели должны с этим считаться.

Прежде всего приходится констатировать, что прорастание либерализма совершается в России значительно медленнее, чем это представляется отличающемуся чрезвычайной пылкостью

агентству Гаваса [1]). Так называемые общественные организации, надеявшиеся расковырять постепенно щели отечественных свобод, подвергаются сейчас самым неожиданным стеснениям.

Вскоре после назначения гр. Бобринского министром земледелия по газетам распространился слух о предстоящем назначении в товарищи министра... г. Пуришкевича. Гавас, в качестве знатного иностранца, может конечно и в Пуришкевиче усмотреть ветвь прорастающего либерального древа. Но в России очень хорошо знают, что такое курский депутат, и потому даже обшитый толстой кожей российский обыватель слегка охнул при этой вести от изумления. Назначение, однако, не состоялось, и сам Пуришкевич разъяснил, что он „пока" отказался.

Правда, несколько позже состоялось внезапное назначение на пост министра внутренних дел октябристского депутата г. Протопопова. Незачем говорить, в какой мере это назначение окрылило Гаваса. Но г. Протопопов поспешил облить всех энтузиастов российского прогресса лоханью холодной воды. „Вы спрашиваете, какова моя программа? — разъяснил новый министр журналистам: но как у члена объединенного кабинета, у меня не может быть своей программы, — обратитесь за этой последней к г. Штюрмеру". Что же касается программы г. Штюрмера...

Правда, на правительственных верхах сделан за последние недели один почти что несомненный шаг на пути прогресса: создано министерство народного здравия. Собственно еще несколько лет тому назад известно было, что черносотенный профессор Рейн томится тоскою по министерскому портфелю. Этого томления, однако, никто не брал в серьез, а с началом войны о профессоре все забыли. Но сам он, как видим, не забыл о себе. „Рейн торжествует, — пишет „Речь". Ни в одном государстве нет особого министерства народного здравия. Но России оно так необходимо, что совет министров за полтора месяца до созыва думы экстренно, в порядке 87 ст., провел его, точно меру против германского нашествия".

Даже „Новое Время" ошарашено этим скоропостижным творческим актом и пишет, что новое министерство „явилось яко тать в нощи" — выражение тем более соблазнительное, что „тать" означает, как известно, по-славянски: вор. Более того: дубровинское

---

[1]) Официозное телеграфное агентство французского правительства.

„Русское Знамя“ пишет, что „затея Рейна не что иное, как химера, задуманная из тщеславия или гордого самолюбия“ и спрашивает: „Чем же и кем будут искуплены материальные жертвы, которых требует существование этой химеры?“.

Но наперекор всем недоумениям новое министерство существует, как выражение непостижимых для Гаваса путей русского прогресса.

87 статья призвана, однако, служить не только народному здравию, но и народной нравственности: очевидно, в интересах этой последней г. Штюрмер собирается, как сообщают московские газеты, наделить духовенство избирательными правами при близких выборах в московскую городскую думу. Таким образом, 87 статья, предназначавшаяся для неотложных и непредвиденных дел, должна будет на сей раз помочь вырвать московское самоуправление из национал-либеральных когтей г. Челнокова. Вряд ли даже сам жизнерадостный Гавас увидит в этой мере доказательство неуклонного шествия к лучезарным целям.

Одновременно с этим „Новое Время“, как выражается „Киевск. Мысль“, открыло новый фронт на газетном своем поле — и ведет полемическое наступление на Финляндию. Ежедневно суворинская газета сравнивает Финляндию с Канадой и Австралией и попрекает Финляндию грехами черной неблагодарности. Всякий без труда понимает, чем пахнет наступление на мало укрепленном финляндском фронте. „Новое Время“ в том отношении похоже на проф. Рейна, что не расстреливает своего пороху зря.

Открывая поход на Финляндию, суворинская газета в то же время решительно выступает против мифа о республиканско-демократических тенденциях войны на стороне союзников и об охранении Германией монархического начала. На этот счет наш официоз решительно расходится с Кропоткиным.

„Новое Время“ приводит исторические данные, как прусские короли лишали престолов других монархов. Прусский король участвовал в утверждении во Франции республики не меньше, чем Жюль Фавр или Гамбетта, закоренелые республиканцы. „Прусские государи, — пишет „Новое Время“, — монархи только для самих себя. Они без малейшего стеснения лишают престола монархов, им враждебных. Не опасаясь за прочность своего собственного престола, они содействуют учреждению республиканского строя у своих соседей“.

Таким образом можно, повидимому, с полным правом констатировать, что на нашей родине установился достаточно твердый курс, который находит одинаково яркое выражение как в законодательных экспромтах по 87 статье, так и в успокоительных суждениях „Нового Времени“ насчет полной безопасности войны для монархического начала.

Но беда в том, что в этом твердом курсе есть изъян, именуемый продовольственным вопросом. Рост цен и повсеместный недостаток предметов первой необходимости побудили г. Штюрмера, достаточно обремененного внешней политикой России, взять в свои руки высшее руководство продовольственным делом в стране. Отечественные аграрии, ставши стеной против потребителей, заявили, что лягут костьми, но не сделают скидки. Гр. Бобринский решительно встал на защиту их интересов. Этим он вызвал против себя ожесточенные нападки, которых мы не станем воспроизводить, дабы не портить крови охраняющим входы. Достаточно того, что „Земщине“ пришлось защищать министра земледелия от органов, которые, по ее словам, позволяют себе делать неприличные наскоки на министра земледелия гр. А. А. Бобринского.

Военный министр Шуваев, исходя из соображений о продовольствии армии, выступил, в противовес гр. Бобринскому, за понижение цен на хлеб. Аграрии немедленно зачислили его в „левые“. Незачем пояснять, насколько вредны такого рода конфликты не только для твердых цен, но и для твердого курса. Когда на последнем совещании по продовольствию большинством двух голосов принято было предложение о понижении твердых цен на хлеб (от 5 до 15 проц.), в прессу немедленно проник слух, что „Бобринский крайне утомлен усиленной работой и волнениями в связи с твердыми ценами и вскоре уедет в продолжительный отпуск в свое имение „Смела“ („Речь“)“.

Слухи о министерских переменах вообще не сходят с газетных столбцов. Почти каждый день кто-нибудь отправляется в „ставку“ для, так называемых, решающих переговоров. Вместе с тем приближается момент возобновления работ Думы. В депутатских кругах начинают „поговаривать“ о желательности ее досрочного созыва [1])...

„Начало“, 12-го октября 1916 г.

---

[1]) Статья совершенно изрезана цензурой.

VI. К теории социал-патриотизма.

Печальный документ.

Г. Плеханов о войне [1]).

Среди печальных документов социалистического распада одним из самых печальных является брошюра т. Плеханова „О войне". В этой брошюре нет, правда, ничего такого, чего автор ее не сказал уже бы раньше—в виде писем в некоторые повременные издания. Некраткая форма „Писем в редакцию" имела то неоспоримое преимущество, что оставляла многое недоговоренным и, стало быть, допускала утешительное сомненье: может быть, с т. Плехановым дело обстоит вовсе не так уж плохо, как он хочет нас заставить думать? Теперь перед нами брошюра в 32 страницы. И хотя эта брошюра, скажем сразу, дает очень мало ценного материала для суждения „о войне", но совершенно достаточно—для суждения о позиции т. Плеханова; во всяком случае, она не оставляет никакого места для утешительных сомнений.

Первая часть брошюрки посвящена критике немецкой социал-демократии. Те противоречия между старыми принципиальными заявлениями и нынешним политическим поведением, в каких т. Плеханов уличает вождей немецкого пролетариата, несомненно имеются налицо. Но все это уже достаточно выяснено в русской социалистической печати, и т. Плеханов не дает ничего, кроме упрощенной перифразы. Он не делает, кроме ссылки на беспокойство за избирателя, никакой попытки объяснить поворот немецкой социал-демократии. Наоборот, все его изложение свидетельствует о том, что он не чувствует самой потребности в таком объяснении. И в этом, по прочтении брошюры, не находишь ничего удивительного: автор ее целиком стоит на той же принципиальной позиции, что и обличаемые им немецкие социал-демократы. И там и здесь критерием являются не социально-революционные задачи международного пролетариата, а интересы национального капитализма под углом зрения национальной рабочей политики.

---

[1]) Г. В. Плеханов. „О войне". Ответ З. П. Париж. 1914. Ц. 15 сант.

То обстоятельство, что т. Плеханов на каждой страничке противопоставляет марксизм ревизионизму, ничем по существу не обогащает его позиции и даже не спасает его от того, что и самые интересы национального капитализма он понимает в высшей степени превратно. „Temps“ или „Times“ с негодованием обличают „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“, что нисколько не мешает им оставаться на одной и той же морально-политической плоскости и пользоваться одними и теми же методами... Увы, такова же и участь старейшего русского марксиста!

Т. Плеханов исходит или делает вид, что исходит в своих суждениях из голого, догматического, а подчас и софистического противопоставления наступательной и оборонительной войны. Мы не станем здесь повторять уже развивавшиеся в печати доводы против этой дешевой полу-дипломатической, полу-моралистической метафизики, тем более, что Плеханов даже не пытается свести с этими доводами свои запутанные счеты. Посмотрим просто, как Плеханов *применяет* свой критерий.

Пролетариат обязан, в случае опасности войны, развертывать „решительные революционные действия в тех странах, правительства которых своими происками нарушили европейский мир“. Таковы, по Плеханову, правительства Германии и Австро-Венгрии—в противовес правительствам Франции, Англии, а особенно, надо думать, правительствам микадо и русского царя, которые искони видели свое историческое предназначение в охранении мира или „простых законов нравственности и права“, столь кстати извлеченных Плехановым из окружного послания Первого Интернационала. За доказательствами ходить недалеко: стоит заглянуть в немецкие с.-д. газеты накануне войны. В них доказывалось,—напоминает Плеханов,—что Берлин толкнул Вену на провокационный путь ультиматума Сербии. „В них доказывалось также, что Россия не может не поддержать Сербии, если не хочет потерять всякое влияние на Балканском полуострове. Это было в самом деле так“,—подтверждает т. Плеханов.

Балканская политика Австро-Венгрии—это „происки, которые нарушали европейский мир“. Другое дело балканская политика России. Царизм не занимается происками, царизм мира не нарушает, он не хочет лишь „потерять всякое влияние на Балканском полуострове“. Поэтому от австро-германского пролетариата т. Плеханов требует самых решительных революционных действий;

что же касается России, то тут он скромно согласен удовлетвориться победами царизма.

Эти свои соображения т. Плеханов имеет неосторожность излагать в виде письма к *болгарскому* социал-демократу. Поистине вавилонское смешение языков! Ведь, именно, болгарская социал-демократия добрую половину своей энергии расходовала всегда на борьбу против „влияния" царизма на Балканском полуострове. Если т. Плеханов пытается установить какое-то принципиальное различие между царистской и габсбургской политикой на Балканах, то наши румынские, болгарские и сербские товарищи—к чести их—всегда делали только то различие, что политику царизма считали более бесстыдной и опасной. Босния и Герцеговина являются главным яблоком раздора в неравной австро-сербской тяжбе. Но ведь именно царизм „уступил" Габсбургам эти две населенные сербами провинции по тайному Рейхштатскому соглашению 1876 г., в обмен за нейтралитет Австрии в русско-турецкой войне. Правда, эта война привела к созданию Болгарии. Но, может быть, т. Плеханов захочет вспомнить, что стремление царской дипломатии превратить „освобожденную" Болгарию в свою сатрапию создало в молодой стране сильнейшую антирусскую партию стамбуловцев? В наказание за непокорность царь втолкнул Болгарию в войну с Сербией в 1885 г. и накануне военных действий отозвал из болгарской армии инструкторов—русских офицеров.

Освобождение Болгарии было достигнуто в 1877—8 г.г., только благодаря поддержке румынской армии. Но, может быть, т. Плеханов захочет вспомнить, что в благодарность за эту поддержку царь прирезал себе часть румынской Бессарабии? В 1908—9 г.г., после аннексии Боснии-Герцеговины, царская дипломатия всеми средствами провокации вовлекала Сербию в войну с Австрией, доведя несчастную маленькую страну до крайнего политического и финансового напряжения, а затем цинично предала ее, предоставив русскому либерализму заметать следы. В 1910—12 г.г. петербургские агенты работали над созданием военного балканского союза, направляя его против Австро-Венгрии. Когда эта Болгария, которой нечего было искать в Австрии, „несвоевременно" повернула острие союза против Турции, Гартвиг накануне первой балканской войны уговаривал Пашича предать непокорную Болгарию, предоставив ее ее собственной участи. Царская дипло-

матия, разжигая вражду между Сербией и Австрией, толкнула Сербию на занятие албанского порта Дураццо. Когда же на сцену выступила Австрия и Германия, царизм снова предал несчастную Сербию, поручив своим газетным наемникам разъяснять, что он не может воевать из-за „дураццкого" вопроса. В результате этой катастрофы сербская военная партия набросилась на болгарскую Македонию, и вторая балканская война, междоусобная свалка союзников, явилась прямым результатом той самой балканской политики царизма, которая Плеханову представляется теперь, как простое и естественное нежелание „потерять всякое влияние на Балканском полуострове". После этих исторических опытов, которых мы не исчерпали и на одну треть, мы можем пожелать балканским народам одного: более крепкой памяти, чем у т. Плеханова.

Нынешнее вмешательство царизма вызвано, по Плеханову, тем, что „Россия не может не поддержать Сербии". Так именно ставили вопрос — и знали, что делали — русские официозы. Потом к этому прибавилась необходимость „поддержать" Бельгию и Францию. Но неужели же это *наша* оценка работы царизма? „Поддержать Сербию!" Не наоборот ли? Не для того ли царская дипломатия бередила сербские раны, чтоб отчаянную борьбу сербов за существование использовать в интересах выполнения своей „освободительной" миссии в Галиции? И неужели же у т. Плеханова не возникает опасения, что, когда дело дойдет до подведения кровавых счетов, *царская дипломатия отдаст Габсбургам Сербию*, как отдала 38 лет тому назад Боснию, *в возмещение за Галицию*, без которой царизм не решится возвращаться домой?

Т. Плеханов ссылается на статьи немецкой прессы накануне войны. „Vorwärts" сам писал, что Австрия вызвала Россию на выступление. Совершенно верно! Но тогдашний „Vorwärts" имел в виду царскую Россию, как она есть: с ее жадностью, кровавым хищничеством и непрерывной цепью балканских преступлений, — царскую Россию, все еще слишком сильную, в виду слабости русской революционной демократии. А т. Плеханов из предупреждений „Vorwärts'а" по адресу немецкой дипломатии софистически извлекает оправдание русской дипломатии, изображая ее — в письме к балканскому социалисту — как защитницу Сербии и охранительницу „простых законов нравственности и

Д. Б. РЯЗАНОВ

права". Чем же отличается сам Плеханов от *нынешнего* „Vorwärts'a", который нашу борьбу с царизмом эксплуатирует для оправдания подвигов немецкого империализма? Да ничем! Одна цель и один метод! Да, ведь, это же ничто иное, как разбавленное сывороткой социалистической фразеологии отражение полемики русских и немецких официозов! Но те, по крайней мере, твердо знают, что делают. А Плеханов?

„Голос" 30 декабря 1914 г.

Каутский о Плеханове.

I.

В апрельской книжке болгарского марксистского журнала „Новое Время" напечатана статья Каутского, представляющая собою написанный по просьбе болгарских социал-демократов ответ на брошюру Плеханова „О войне". Если помнят наши читатели, брошюра Плеханова, в свою очередь, имеет форму письма к болгарскому социал-демократу.

Ответ Каутского представляет интерес во многих отношениях.

Каутский, прежде всего, исправляет неверные утверждения Плеханова относительно заявлений и действий немецких социал-демократов. Неверно, будто Гаазе в Брюсселе возбуждал надежды на то, что германская социал-демократия ответит на войну призывом к революции. Каутский категорически опровергает это, как участник брюссельской конференции; и кто знает позицию немецкой социал-демократии в этом вопросе, тот не усомнится, что Каутский прав. Немецкие марксисты, и, прежде всего, Бебель, на всех национальных и интернациональных конгрессах, где ставился этот вопрос, со всей решимостью отвергали, как утопию, мысль о призыве ко всеобщей забастовке в ответ на правительственный призыв к мобилизации. В какой мере большинство партии, принимавшее без возражений позицию Бебеля, руководилось тактическим расчетом, а в какой — стихийным национальным чувством, вопрос другой. Но принципиально позиция немецкой социал-демократии, как противовес позиции Вальяна, Кейр-Гарди и др., исходила из признания совершенной утопичности револю-

ционных действий в период военной мобилизации, когда правительство сильнее, а социал-демократия слабее, чем когда бы то ни было. В одном том факте, что немецкая социал-демократия не призвала 2-го августа пролетариат к забастовке или восстанию, еще нет никакого противоречия ни с ее предшествующими заявлениями, ни с принципами революционной социалистической политики вообще. Это вопрос возможности, целесообразности, — и только.

Каутский берет, далее, под свою защиту Гаазе от всех обвинений против него в связи с декларацией от 4 августа в рейхстаге. Гаазе читал не свою декларацию,—напоминает Каутский,— а декларацию парламентской фракции, в качестве ее председателя. Такие выступления он не разделял в других случаях. „Охраняя единство партии, он и на этот раз не мог отказаться от своего долга". Эта защита, несостоятельная по существу, представляется особенно наивной сейчас, в виду того факта, что Гаазе не только отказался во время последней сессии рейхстага оглашать новую патриотическую декларацию своей фракции, переуступив эту малопочетную миссию Эберту, но и ведет на рабочих собраниях кампанию против нынешнего партийного курса и, в частности, против голосования военных кредитов, обоснованию которого служила оглашенная им декларация 4 августа. Если нынешняя политика Гаазе не нарушает партийного единства, почему же это последнее требовало от Гаазе такой жертвы, как публичная защита политически-враждебной ему точки зрения, в самый ответственный исторический момент? И наоборот: если нынешняя позиция Гаазе угрожает единству, стало быть, вопросы, поставленные в порядок дня, выше формальных обязанностей председателя фракции и даже организационных интересов единства, — и тогда поведение Гаазе 4 августа может быть объяснено только недостатком мужества или недостатком проницательности. Защита Каутского мало помогает Гаазе, она только вскрывает на частном вопросе всю бесформенность и внутреннюю противоречивость той позиции, какую занимает сам Каутский.

Неверно, утверждает он, будто „Vorwärts" изменил свою позицию после все той же трагической даты в истории немецкого и международного социализма. Все дело сводится, по Каутскому, к цензуре. Он очень подробно объясняет, что в 1870 г. на осадном положении были объявлены только пограничные области

Германии. В Саксонии Бебель и Либкнехт пользовались полной свободой действия. Сейчас же военное положение охватывает всю империю. И „Vorwärts“, и другие органы немецкой печати не могли не считаться с условиями военного положения, если не хотели лишать социалистических рабочих всякой идейной связи во время войны. Здесь мы имеем перед собою то, что немцы называют Schönfärberei, явное и очевидное прикрашивание действительности. До 4-го августа „Vorwärts“ вел решительную борьбу против опасности войны, беспощадно разрушая всякие претензии придать будущей войне прогрессивно-освободительный характер. Он, прежде всего, изобличал официозную легенду, будто война с Россией есть война с царизмом—в интересах русской свободы После 4 августа „Vorwärts“ эту легенду в стыдливо-условной форме усыновил и распространял. Вместе с подавляющим большинством немецкой социал-демократической прессы — и при том не в официальных сообщениях штаба, на которые неуместно ссылается Каутский, а в редакционных статьях — „Vorwärts“ изображал победы немецкой армии не как успехи правящих классов Германии, а как победы немецкого народа. И опять-таки, вместе с большин. ством партии, „Vorwärts“ развивал антиреволюционную политическую философию, сотканную из торгашества и сервилизма, согласно которой немецкий пролетариат должен быть и будет награжден демократическими и социальными реформами за его истинно-патриотическую ревность в деле „обороны страны“. Если военное положение может помешать прессе сказать рабочим всю правду,— а что оно мешает, это мы знаем на собственном опыте, — то оно не может заставить лгать. Где военное положение требует от прессы такой „жертвы“, там социалистическая газета должна иметь мужество принести в жертву себя самое. И опять таки: „Vorwärts“, как и Гаазе, совершили за последнее время большой сдвиг влево от своей после-августовской позиции, — защита Каутского как бы обесценивает этот сдвиг и сбивает с толку общественное мнение Интернационала.

Такова та обильная дань официозной полуправде, которую Каутский приносит даже на страницах марксистского органа, свободного от тисков германского осадного положения.

II.

Что же говорит виднейший теоретик Второго Интернационала по существу поставленных пред международным социализмом вопросов?

Прежде всего, Каутский совершенно отвергает значение формально-дипломатического или эпизодически-стратегического критерия наступательной и оборонительной войны для определения нашей тактики. „Для меня,—говорит он,—решающим вопросом является *не начало* войны, а те ожидания, какие мы возлагаем на ее *конец*", т.-е. на ее возможные исторические результаты. На формальном критерии, как справедливо указывает Каутский, не удерживается и Плеханов. Так, последний решительно выступает против мысли, будто поражение России способствовало бы революционному развитию: наоборот, задерживая экономическое развитие страны, оно парализовало бы революцию. Зато Плеханов считает совершенно естественным, что поражение немецкого империализма сильно содействовало бы революционному движению в Германии. Так же, как Плеханов, рассуждают Вальян во Франции, Гайндман в Англии, а, с другой стороны,—правое крыло германской социал-демократии (Каутский говорит: „незначительная часть немецких товарищей"), которое считает, что поражение союзников ускорило бы революцию не только в царской империи, но и в Англии. Для этой „незначительной" будто бы части немецкой социал-демократии поражение Германии означало бы ее экономическую гибель, а, следовательно, и ослабление сильнейшей в мире социал-демократии. „Всякий думает", — говорит Каутский,—„что от победы его собственной страны зависит победа международной революции. Всякий считает свой собственный народ за избранный, который занимает исключительное положение между народами земли и для которого существуют совсем другие законы, чем для остальных". Каутский не хочет знать в этой войне избранных народов. Экономические и моральные силы противников стоят на однородном историческом уровне, и потому не приходится ждать от победы той или другой стороны каких-либо решающих последствий для исторического прогресса или социальной революции. Но именно эта приблизительная однородность экономических и моральных предпосылок на обеих

воюющих сторонах исключает, по мысли Каутского, всякую возможность для рабочих масс каждой из воюющих стран определять свое отношение к войне своим антагонизмом к национальному правительству. В данных исторических условиях война является для народов не конфликтом разных экономических или политических принципов, не подсобным средством борьбы со своим внутренним классовым врагом, а, прежде всего, угрозой достоянию и независимости национальной территории. Главным чувством, какое в массах вызывает война миллионных армий, построенных на принципе всеобщей воинской повинности, является страх перед поражением и неприятельским нашествием. С этим чувством, говорит Каутский, должна считаться всякая партия, которая хочет действовать на массы и с массами. Все внутренние тяжбы откладываются, объявляется, так сказать, политический мораториум, все силы сосредоточиваются на борьбе против внешнего врага, которая может итти успешно только при условии поддержки своего национального правительства. В таких условиях „скорее скажется влияние настроения неорганизованных масс на социалистов, не обладающих достаточно сильным характером, чем обратно". Это все, что говорит Каутский — не то в объяснение, не то в оправдание нового курса немецкой социал-демократии. Тощий вывод, который можно было бы отсюда извлечь, гласит: непреодолимое националистическое настроение неорганизованных масс совлекло с революционного пути сильнейшую социал-демократическую партию, во главе которой, очевидно, стоят люди с „недостаточно сильным характером".

Что же дальше?—спрашивает сам Каутский. Сейчас положение таково, что ни одна из борющихся сторон не одержала решительных побед и вряд ли их одержит в будущем. Это тоже результат приблизительной экономической и моральной однородности противников. Война сама по себе не даст результатов, которые могли бы сильно воздействовать на экономическую и политическую жизнь. Но сама война воздействует на общественное развитие своей продолжительностью. Это воздействие состоит во взаимном истощении противников, в подкапывании самых основ исторического движения. Заключение мира, который спас бы Европу от истощения, возможно, по Каутскому — уже в виду обнаруженного соотношения сил—„не на основе насилия, но на основе соглашения, которое ограничило бы нынешние военные

тяготы. Только такой мир отвечает социал-демократическим принципам".

„Итак, — говорит Каутский, — не стремление к поражению той или другой страны, но выступление за мир, за скорейший мир—этого требуют наши принципы. Военные разных лагерей думают и заявляют, что еще не пришло время для заключения мира. Социал-демократия всех наций должна стремиться к миру уже сейчас". И Каутский кончает выражением надежды, что в борьбе за мир он пойдет заодно со своим „старым другом Плехановым".

Но по какому пути?

III.

Взгляды Каутского отличаются от взглядов Плеханова в том же смысле, в каком вообще позиция нынешнего центра в Интернационале отличается от позиции социал-националистического крыла. Взгляды Плеханова крайне сбивчивы и противоречивы, поскольку речь идет об обосновании, о философии действия: печальнейшая смесь предрассудков патриотической улицы с осколками марксистской методологии. Но, поскольку речь идет о политических целях, Плеханов становится несравненно более определенен: он за „приятие" войны, он за союзников против Германии, он за победу России, он отлучает немецкую социал-демократию, но поддерживает Геда и Самба. Иначе обстоит дело у Каутского. Его теоретическая позиция не так жалка, как позиция Плеханова, но зато в области политических задач он стоит перед нами, как воплощенная беспомощность. Можно сказать, что значительность и содержательность суждений Каутского о войне возрастают пропорционально их удалению от самых острых и неотложных вопросов социалистической политики.

Народы были поставлены, говорит Каутский, фактом войны перед опасностью поражения национальной армии и нарушения неприкосновенности национальной территории. Отсюда бурный националистический подъем в массах, которого не могла, по Каутскому, игнорировать социал-демократия, как партия масс по преимуществу. Это, в сущности, все, что дает Каутский для понимания поведения немецкой социал-демократии: ее голосований за военные кредиты, политики гражданского мира и проч. Прежде

всего, само это объяснение, как объяснение, совершенно недостаточно, не говоря уже о том, что оно не указывает никаких путей выхода. Если рабочие массы передовых стран только для того стояли в течение десятилетий под знаменем интернационализма и социальной революции, чтобы во время войны, т.-е. самого дьявольского разгула всех анархических сил капитализма, стать на сторону национальной реакции,—то где вообще искать гарантий социально-революционного развития в будущем? Каутский, виднейший теоретик Второго Интернационала, до сих пор ни одним словом не обмолвился об особом историческом характере предшествующей эпохи, о тех специфических условиях политической неподвижности, национальной ограниченности, органического поссибилизма, всестороннего легализма, охранения внешнего и внутреннего status quo, словом, о той именно историко-политической обстановке, в которой развивался и вырос Второй Интернационал. Каутский упорно закрывает глаза на то, что война не породила тех условий, которые привели к распаду Интернационала и параличу национальных партий,—„война есть продолжение политики, только другими средствами“,—она лишь вскрыла историческую ограниченность и полную политическую недостаточность методов Второго Интернационала в условиях эпохи международных и внутренних потрясений. Каутский упорно закрывает глаза на то, что нынешнее поведение германской или французской социал-демократии не просто отражает паническое настроение масс или голый инстинкт национального самоохранения, но является доведением до самоубийственного завершения тех именно черт национальной ограниченности в постановке социалистических задач, которая характеризует собою все классовое движение пролетариата в предшествующую эпоху. Только такое конкретно-историческое, а не абстрактно-психологическое объяснение кризиса указывает, вместе с тем, объективные пункты опоры для его революционного преодоления.

Еще плачевнее, чем с объяснением, обстоит дело с отказом Каутского от оценки поведения социалистических партий. Разумеется, рабочая партия не может не считаться с настроениями рабочих масс. Если эти последние охвачены национальной паникой, которую государственная и идеологическая машина буржуазии стремится с большим или меньшим успехом превратить в „патриотический подъем“, то в этих условиях социал-демократия не

может призывать массы к каким-либо решительным революционным действиям. Но из массового характера социал-демократии было бы слишком чудовищно выводить заповедь об ее обязанности капитулировать перед каждым настроением масс. Если социал-демократия не может в данных условиях призвать пролетариат ко всеобщей стачке, то это еще вовсе не значит, что она должна голосовать за военные кредиты. Если она не может, т.-е. не в силах помешать братоубийству, то это не значит, что она имеет право освящать его.

Каутский сам как бы приходит—хотя и в очень осторожных выражениях—к признанию того, что рабочие массы во всех странах начинают понимать полную безнадежность нынешней войны, именно с военной точки зрения. При этих условиях, чем дольше длится мировая бойня, тем больше прежний патриотический подъем рабочих масс будет обращаться против тех правящих сил, которые вызвали войну, руководят ею и стоят за ее „доведение до конца". Социал-демократия лишь в той мере может овладеть этим движением, в какой мере она сама не несет ответственности за ведение войны и за ее лозунг „держаться до конца". Ускорить наступление мира, как и наложить отпечаток на его содержание, социал-демократия может лишь при том условии, если она не перестает быть самостоятельной революционной силой во время войны.

О необходимости борьбы за скорейший мир говорит, впрочем, и Каутский, и он даже надеется встретиться на этом пути со своим „старым другом Плехановым". Но тщетно пытались бы мы узнать, как представляет себе Каутский в нынешних условиях интернациональную борьбу за мир. Некоторые места его статьи—там, где он в неопределенно пацифистских оборотах говорит об условиях будущего мира—заставляют думать, что для него главным фактором является сейчас отрезвление правящих классов, которые должны убедиться в полной невозможности сломить силы противника. Несомненно, и с нашей точки зрения, растущая *растерянность* правящих классов, которые во всех воюющих странах загоняются ходом военных операций в тупик, имеет огромное значение, но именно потому, что она создает все более благоприятные условия для *революционной мобилизации пролетариата*. Мыслима ли, однако, серьезная работа в этом направлении без решительного разрыва с правящими классами,

загнанными в исторический тупик? Сохранение гражданского мира или решительный разрыв с беснующейся буржуазной „нацией?“ Шейдеман или Либкнехт? Вот вопрос, на который Каутский попрежнему не дает ответа в своей статье о Плеханове. В других статьях он обещал поговорить об этих вопросах—после войны.

Но мы хотим бороться во время войны—для того, чтобы не оказаться банкротами после войны. И нам приходится констатировать, что игнорируемая Каутским историческая ограниченность эпохи наложила слишком тесные обручи на самую светлую голову Второго Интернационала: в исключительной по драматизму обстановке, когда дело идет обо всей судьбе социализма, Каутский не дает ни одного совета, ни одного указания, которые мы могли бы принять с благодарностью.

Париж, „Н. Сл.“, 17, 18 и 19 июня 1915 г.

Некритическая оценка критической эпохи.

I. Слабость или неуверенная в себе сила?

Группа литераторов, политическая мысль которых работает в направлении закрытого ныне ликвидаторского журнала „Наша Заря“, не ограничилась своим ответом на обращение Вандервельде к русским социалистам. Она предъявила свой самостоятельный принципиальный доклад Копенгагенской конференции, ныне напечатанный в „Известиях“ О. К. Этот документ совершенно неспособен — скажем сразу — научить нас чему-либо насчет войны или задач социал-демократии. Но он очень ярко характеризует ту смуту, которая воцарилась ныне во многих социалистических мозгах. Документ дает эклектическое сочетание всех не слишком вульгарных, не слишком кричащих, не слишком компрометирующих доводов в пользу политики тройственного Согласия, а, стало быть, и в оправдание различных оттенков „тройственного“, но в своей троичности единого социал-патриотизма.

Доклад начинается с фундаментального политического софизма, разумеется, бессознательного, как основы всей историко-политической концепции. Авторы считают, что для социалистов „невозможно занять безразлично одинаковое положение в отно-

шении к борющимся друг с другом группам держав". Почему? Потому, что война есть факт — „непреложный факт действительности". Раз социализм не сумел предупредить войну, ему остается ее „использовать". Каким образом? Доклад знает только один путь: нужно отыскать „сторону, победа которой обещает представить больше возможностей с точки зрения интересов мирового развития". Отказ становиться на одну из сторон, есть, по мысли документа, игнорирование войны, как факта, нежелание политически использовать ее, словом — „бойкотизм".

Эта основная мысль, без доказательств предпосылаемая всему дальнейшему рассуждению, как аксиома, есть, на самом деле, только *принципиальная формула отказа от самостоятельной политики пролетариата* в войне, по отношению к войне и против войны. Единственная политика, какую допускают авторы доклада для международного пролетариата, это политика в союзе с какою-либо государственною организацией, политика „меньшего зла", аналогичная блокам в избирательных кампаниях при парламентах. Интернациональный пролетариат слишком слаб для самостоятельного вмешательства в ход исторических событий во имя своих основных исторических целей, вот невысказанная, но решающая идея доклада, — и из нее уже вытекает политика „меньшего зла", необходимость блока с теми государствами, победа которых обещает нам более благоприятные (или менее неблагоприятные) последствия. Это и есть исходная точка зрения всех социалистических империалистов. Воспитанные эпохой застойного политического равновесия, когда вся борьба революционного класса шла, по необходимости, путем компромисса и приспособления к правящим классам и их государству, они исходят из того, что пролетариат лишен необходимых рессурсов для самостоятельной политики в условиях мировой катастрофы. Но из этой слабости (действительной или мнимой) вытекал бы единственный правильный вывод: слабый пролетариат вообще не может себе ставить практических интернациональных задач. Ему оставалось бы только „использовать" войну в национальных рамках. За посильное содействие национальному правительству (миллионы трупов, миллионы калек...) он мог бы надеяться, без достаточных, впрочем, оснований, получить два-три лишних миллиона франков на социальные реформы. Но чем меньше верят капитулирующие социалисты в силу пролетариата, тем больше они

мудрят. Русский же человек мудрит больше всех. Исходя из того, что пролетариат слаб и не может вести своей политики иначе, как прислонившись плечом к одной из политических группировок, доклад ставит, однако, перед этим слабым, то-есть недостаточно сознательным пролетариатом не национальную, а интернациональную цель. Ясно, какую: сокрушение германского милитаризма. Это уж особое такое счастье русского пролетариата, что его интернациональный долг точка в точку совпадает с военными задачами держав тройственного Согласия.

Наблюдая торжество государственной организации, как таковой, бешеный разгул милитаризма и засилие патриотических идей, скептики говорят: „Мы переоценивали силы пролетариата". Но это только индивидуально-психологическое объяснение — притом не самого факта, а нашего „разочарования". Социально-психологическое объяснение состоит не в том, что мы „переоценивали" силы пролетариата, а в том, что сам пролетариат, каким он вышел из прошлой эпохи, *недооценивает своих сил*. Его самооценка и самочувствие страшно отстают не только от его роли в производстве, но и от степени его организованности. Психика и здесь, вопреки живучим субъективистским предрассудкам, оказывается самым косным фактором истории. Как наиболее угнетенный в обществе класс, пробуждавшийся к тому же в эпоху могущественной мировой реакции, пролетариат не силою беден, а уверенностью в своей силе. Ему больше всего не хватает революционной самонадеянности. Это качество не создается искусственными прививками „морального начала", как думают субъективисты, — оно пробуждается и крепнет в условиях бурной эпохи, ставящей угнетенный класс в такое положение, из которого для него нет другого выхода, как на революционном пути. Только тогда его огромная потенциальная энергия превращается в действенную и раскрывается целиком для общества, как и для него самого.

Мы, революционные интернационалисты, во всех наших построениях, теоретических, как и тактических, исходим из той предпосылки, что классовые силы, накопленные пролетариатом за последнее полустолетие капиталистического развития и „мирной" классовой борьбы, будут раньше или позже, но целиком приведены в движение нынешней войной, которая является экономической, политической, военной и моральной судорогой

доведенного до абсурда капиталистического режима. Авторы доклада, некритические скептики до мозга костей, исходят из слабости пролетариата, как из будто бы непреложного факта. Этой слабости они дают выражение в своей словесно замаскированной политике национально-государственного оппортунизма, которая способна только закрепить и усугубить недостаточную классовую самоуверенность пролетариата. Мы, революционные интернационалисты, ставим себе задачей облегчать и ускорять процесс освобождения пролетариата из плена „национальной" идеологии, пробуждения в нем уверенности в себе и в своих силах, очищения его сознания от рабских инстинктов угнетенного класса и вытекающей отсюда политической зависимости, — в расчете на железную логику эпохи, мы выдвигаем и отстаиваем программу самостоятельной социально-революционной политики рабочего класса.

В этом — наше глубокое, основное противоречие с авторами доклада.

II. Легенда „борьбы за демократию".

Необходимо найти ту группу держав, победа которой более благоприятна мировому развитию, — рассуждают авторы разбираемого нами документа. Такою группою держав оказываются, по счастливому стечению обстоятельств, „западные демократии" в борьбе с „юнкерской монархией". Царизм? Он действует, как вспомогательная сила демократий. Этот взгляд господствует над всей позицией доклада, как и статей последней книжки „Нашей Зари". В такой постановке это есть официальная французская точка зрения — не только марксиста Гэда, но и министра-президента Вивиани. Теоретически и политически это есть возврат к самому плоскому идеологическому демократизму — без социальной плоти, без исторических перспектив, без следов материалистической диалектики.

Разве эта война — конфликт политических форм? Разве политическая форма властвования буржуазии говорит нам что-нибудь о природе современных войн? Когда французская республика ведет войну с варварски-монархическим Марокко, разве мы в этой войне видим победоносное шествие „республиканских идей", а не расширение капиталистической эксплуатации? Коло-

ниальная политика биржевой республики ничем, по существу, не отличается от колониальной политики любой из капиталистических монархий. А в основе своей настоящая война есть война из-за колоний, из-за передела земной поверхности, ее суши, ее морей между сильнейшими капиталистическими странами. Цели этой войны ни в какой зависимости от государственных „принципов" не состоят, наоборот, мы видим, как война, силою своих целей и методов, подчиняет явно-реакционным клерикально-роялистским тенденциям республиканскую государственную форму— при активном сочувствии одних, молчаливом попустительстве других. В этом факте было бы непримиримое противоречие, если бы дело действительно шло о пропаганде или защите „демократии" с оружием в руках, как в войнах Великой Революции. Но на самом деле борьба ведется из-за империалистических интересов, и для правящих, для тех, которые действительно руководят войной, задача состоит в том, чтобы из врученного им историей механизма демократии извлечь те же милитаристические выгоды для кровавой схватки, какие противник извлекает из полуфеодальной монархии. Одним из важнейших идеологических средств поставить всю демократическую государственную организацию на службу целям империализма является идея, миф, легенда, будто война ведется „за демократию — против милитаризма". Усыновив эту легенду, группа петербургских литераторов, как и редакция „Нашей Зари", могут только вносить затмение в умы, облегчая работу социальных сил, смертельно враждебных социализму и демократии.

Сея анархию в экономическом и политическом отношениях, война, прежде всего, поселила анархию в умах. В числе жертв этой анархии оказались и люди, вооруженные, казалось бы, таким незаменимым орудием исторической ориентировки, как марксизм. До войны как будто ясно понимали, что основой европейских конфликтов и группировок является чисто капиталистический антагонизм Англии и Германии. Теперь приучаются сами и приучают других думать, будто движущей пружиной войны является полуфеодальный строй Германии. Непримиримые мировые противоречия, выросшие из развития капиталистических наций и определяющие, в последнем счете, ту ступень демократии, какую может себе позволить каждая отдельная нация, подменяют дешевой классификацией буржуазных наций на два

типа: хищно-милитаристический и мирно-демократический, и приходят к тому выводу, что, если бы в Германии место Вильгельма занимал выборный президент, мировое англо-германское соперничество могло бы пойти „гармоническим" путем. Марксизм развил огромную критическую работу в борьбе с той иллюзией и ложью, будто государственная механика демократии способна растворить в себе классовую борьбу, введя классовые интересы в русло соглашения и гармонии. А теперь эту самую иллюзию или ложь переносят на мировые отношения капиталистических наций — и кто же? писатели, считающие себя марксистами.

В „Нашей Заре", над углублением вульгарно-демократического мифа о юнкере, как начале мирового зла (N. B. полная аналогия с мелко-буржуазным мифом о „жиде", как первопричине бед капитализма) работает А. Потресов. Оперируя, однако, с цитатами „старой" (старее шести месяцев) марксистской литературы для обоснования новых (шестимесячных) воззрений, он впадает в убийственные противоречия. Потресов цитирует статью Карла Эмиля (Гильфердинга), которая выясняет тот факт, что Германия, так поздно вступившая на путь мирового хозяйства, нашла уже все места „под солнцем" занятыми старыми хозяевами мирового рынка, прежде всего Англией. Отсюда вывод: „Без европейской войны невозможно колониальное расширение Германии". Потресов перефразирует этот вывод так: „Трагедия поздно пришедшего упирается в дилемму: или война, или отказ от империализма". Казалось бы, вопрос совершенно ясен: могущественное капиталистическое развитие Германии на основе мирового рынка, где господствовала первородная колониальная империя, Англия, делало смертельную схватку между ними неизбежной, ибо „отказаться от империализма" капиталистическая Германия не могла ни при каких политических формах, не отказываясь от капиталистической экспансии. Но Потресов делает тот невероятный вывод, что победа германской демократии над юнкерским режимом была бы „единственным способом уклониться от кровавой развязки". По какому пути пошло бы в этом случае капиталистическое развитие Германии, остается неизвестным. И столь же неизвестным остается, для чего собственно мы учились в школе марксизма.

Внутренняя связь прусского полуфеодального юнкерства с немецким империализмом несомненна, но не юнкер порождает насту-

пательный империализм, а наоборот: запоздалый и потому наступательный империализм удерживает юнкера на руководящем посту.

Амальгама феодальных классов с капиталистическими есть процесс, заполняющий всю европейскую историю со второй половины 19 столетия, процесс, параллельный политическому обособлению пролетариата. Сейчас этот процесс совершается форсированным темпом в России. Какой отсюда вывод? Не тот, что победа над немецким юнкерством освободит Европу от империализма и милитаризма, а прямо обратный: борьба с феодализмом в Европе давно перестала быть самостоятельной задачей. Нельзя „освободить" капитализм от феодализма. Юнкерство можно победить, только победив новую, империалистическую основу его господства. Точнее: борьба за демократию перестала быть самостоятельной задачей, а стала составной частью международной социально-революционной борьбы пролетариата.

Программа борьбы за демократию в союзе с капиталистическим милитаризмом есть иллюзия и ложь, — иллюзия у подвластных, ложь у правящих.

„Н. Сл." 1—10 марта 1915 г.

Ни субъективизма, ни фатализма!

„Почему молчал пролетариат" в июльские (1914 г.) и иные дни? Этот вопрос представляет собою только одну из формулировок общего вопроса о причинах кризиса в мировом движении пролетариата. Сейчас, на исходе семнадцатого месяца войны, остается еще меньше возможности, чем было в начале ее, говорить об „измене вождей", как основной или исчерпывающей причине кризиса, который был и остается кризисом самого рабочего движения. Против идеалистического субъективизма, который поднял голову в экстремистских литературных кружках, мы выдвинули требование искать объективных причин кризиса в социально-исторических условиях прошлой эпохи.

Мы можем здесь лишь конспективно восстановить те характерные черты развития рабочих партий до нынешней войны, которые только и могут дать нам ответ на вопрос: как и почему это произошло? и в частности: почему молчал немецкий пролетариат в июльские дни?

Вот эти черты.

1. Развитие капитализма на основе *национального государства* – при все возраставшем значении мирового рынка. Развитие на той же основе рабочего движения. Профессиональная борьба приспособляется к положению национальной промышленности. Социал-демократия приспособляется к соотношению сил в рамках национального парламентаризма. Рабочие организации вырабатывают резко выраженный национальный тип с ограниченным национальным кругозором.

2. Приспособление к условиям национальной промышленности и национального парламентаризма происходит в эпоху *политической неподвижности и реакционного застоя* во всей Западной Европе, определявшихся, в свою очередь, могущественным ростом национальной промышленности. Государственные границы и политические формы государств сохраняют неизменный характер. С этими условиями рабочая партия привыкает практически считаться, как с раз навсегда данными. Они превращаются для нее, объективно и субъективно, в фундамент всей ее деятельности.

3. Неподвижность политической жизни и крайне суженная возможность социальных реформ, при необходимости постоянной классовой самообороны, направляли энергию рабочего класса преимущественно на путь организационного строительства. Создается могущественная, корнями уходящая в почву национального государства, организация, со сложной и разветвленной бюрократией, которая пропитывается психологией *организационного фетишизма.*

4. Рабочее движение попадает в возрастающую зависимость от положения национальной промышленности на мировом рынке, причем это положение определяется не только экономическими факторами, но и соотношением военных сил (колонии, морские пути, „сферы влияния", навязанные силою торговые договоры). Отсюда—явные тенденции *империализма в социализме.*

В разных странах эти основные черты прошлой эпохи действовали с разной силой. В немецком социализме, в соответствии с наступательным характером быстро развивающейся немецкой промышленности, сильнее проявились империалистические тенденции. Во Франции, где демократические государственные формы замыкают консервативное экономическое содержание, мысль социализма движется в колее „национальных" традиций — защиты республики и вообще „наследства" великой революции. В Англии,

старой владычице колоний и морей, империалистически-оборонительные тенденции сочетаются с демократической борьбой против всеобщей воинской повинности, опасность введения которой вырастает опять-таки из потребностей империалистической колониально-морской самообороны.

Но во всех этих странах старой капиталистической культуры и старого социалистического движения рабочие партии оказались глубоко вросшими в национальное государство. И так как война— „оборонительная" или „наступательная", совершенно все равно— подвергает риску всякое воюющее государство, то рабочие партии, в лице своего руководящего большинства, выступили на защиту тех государственных границ, которые очерчивали собою фундамент рабочего движения прошлой эпохи. Политика большинства рабочих партий, автоматически порвавших с принципом единства интересов международного рабочего класса, резюмировала собою все указанные черты национальной ограниченности и тактического поссибилизма рабочего движения последнего полустолетия.

* * *

Но эта характеристика общих условий, подготовивших кризис Интернационала, ни в каком смысле не исключает вопроса о политической ответственности партийных организаций и вождей, как историческая обусловленность ростовщичества не исключает судебной ответственности ростовщиков.

Рабочее движение протекало двумя основными руслами: парламентским и профессиональным. Раз в 3—4—5 лет рабочие массы мобилизовались с избирательными бюллетенями в руках, чтобы вручить мандат своего доверия депутатам — „вождям". Парламентаризм есть не только система представительства, но и система заместительства масс вождями. Профессиональная борьба прошлой эпохи находила свое высшее выражение в системе тарифных договоров, которые поддерживались и изменялись методами „индустриальной дипломатии". Отсюда исключительное значение профессиональных вождей, способных „обозревать" рынок и „столковываться" с королями промышленности. Огромная идейная и организационная зависимость масс от профессионалов парламентской политики и индустриальной дипломатии придавала особое значение поведению вождей в период истори-

ческого перелома, тем самым возлагая на них исключительную ответственность. Только слепец или педант может игнорировать огромное значение выступления, например, одного только Либкнехта, или сейчас — двадцати депутатов рейхстага. Наличность общих причин социалистического кризиса не могла нам мешать аплодировать Либкнехту и осуждать Шейдемана, или точнее: рука об руку с Либкнехтом вести против Шейдемана непримиримую борьбу. Ограничиться утверждением, что вожди, партии и класс в равной мере отражали условия нереволюционной эпохи, как это делают некоторые товарищи, значит подменить диалектико-материалистическое объяснение бесформенным детерминизмом, из которого для политики вытекают не революционные, а фаталистические выводы.

В прошлую эпоху действовали бок-о-бок вожди разного политического склада: оппортунисты, революционеры, формальные радикалы и экстремисты. Общий характер эпохи объясняет, почему и в какой мере одни из этих „вождей" имели перевес над другими: но этим вовсе не устраняется вопрос о тактической *оценке*. Если условия прошлой эпохи отрезывали, скажем, революционным немецким марксистам прямой путь к массовому действию, то этим немецкие левые вовсе еще не растворялись бесследно ни в партии ни в классе: их критически-революционная роль в прошлом позволила им решительно выступить на пороге новой эпохи, как провозвестникам и будущим вождям массового действия.

Равным образом и французский синдикализм, стремившийся — хотя и в крайне примитивной теоретической и тактической форме — противопоставить революционную энергию масс политической ограниченности парламентаризма, вовсе не был сведен на-нет „нереволюционным характером" эпохи: достаточно сказать, что именно в среде синдикализма интернационалистская оппозиция находит пока — и не случайно — своих лучших выразителей и вождей.

Можно, конечно, сказать, что каждый народ имеет такое правительство, какого заслуживает. Но ограничиться этим утверждением, значит, оклеветать народы и прежде всего русский пролетариат. Его революционная борьба знаменует собою, что „народ" заслуживает лучшего правительства, чем царизм. Точно такой же клеветой на немецкий пролетариат будет голое фата-

листическое утверждение, что он имеет такую партию, какой заслуживает. На самом деле он имеет такую партию, которая, в лице своего правящего большинства, ярче и полнее всего отражает сейчас только черты *ограниченности, отсталости и неуверенности* пролетариата, не давая выражения и направления его идеализму, самоотверженности и способности итти до конца. Если мы этого не поймем, то мы с самого начала подрежем крылья всякой революционной инициативе.

Фаталистическое сведение вопроса о вождях, партии и классе к „нереволюционным условиям эпохи" было бы еще с полгоря, т.-е. оставалось бы чисто теоретической ошибкой, если б дело шло об эпохе давно минувшей. Но те вожди, которые полнее всего воплощают в себе *отрицательные* черты прошлой эпохи, стоят перед нами не как пассивный исторический продукт, а как живые политические враги. Фаталистически отождествлять их с классом, значит, вырывать почву из-под ног не у них, а у себя.

Мы не субъективисты. Мы не сводим всего кризиса Интернационала к измене вождей. Мы не ищем спасения в самодовлеющем отборе „верных" вождей. Но мы и не фаталисты. Мы не растворяем вождей в партии, партии — в классе, и всего вместе — в „нереволюционной эпохе". Мы не перелагаем с себя на исторический процесс задачи революционизировать класс, партию и вождей. Более того, в такого рода фатализме мы видим теоретическое отражение худших сторон прошлой эпохи. Мы революционные марксисты. Мы не пассивно отражаем эпоху и класс, а ставим себе сознательные цели. В нашей борьбе мы опираемся на глубокие и все возрастающие объективные предпосылки интернационального социалистического действия, заложенные капиталистическим развитием именно в прошлую эпоху и в течение этой эпохи находившие свое многостороннее отражение в борьбе пролетариата — в частности, в работе международных конгрессов. Пред лицом пролетариата мы ведем борьбу с теми „вождями", которые, отражая рабские пережитки пролетариата и реакционные стороны эпохи, *изменяют* не только лучшим революцинным традициям, но и великим историческим целям рабочего класса.

Пролетариат заслуживает лучшего Интернационала, чем тот, который разрушен войною. И мы хотим участвовать в его создании.

„Н. Сл.", 25 декабря 1915 г.

Вавилоны отечественной мысли [1]).

Маслов по Плеханову. — Плеханов по Канту. — Алексинский по Тихомирову.

„Русский дух" давно привык, по слову поэта, твердить зады и врать за двух. То основное противоречие, которое развело социалистов всех стран в два непримиримые лагеря, прошло и через русский марксизм. Новое течение, получившее название социал-национализма, в России слабее, чем где бы то ни было— и в политическом и в идейном отношении. Политической стороны мы сейчас касаться не хотим, да к тому же она на глазах у всех, у кого глаза открыты: она красноречиво говорит сама за себя и с думской трибуны, и с трибуны съезда по борьбе с дороговизной, и со всяких иных трибун. Но теоретическое обоснование русского социал-национализма пока еще почти не подвергалось общедоступной критике. Мы хотим здесь дать читателям в критическом освещении несколько наглядных образцов новой философии, причем заранее извиняемся, если патриотические вавилоны отечественной мысли окажутся переложением давно опровергнутых немецких задов...

В № 3—4 „Нашего Дела" П. Маслов, развивая и углубляя свою брошюру о причинах войны, занялся вопросом о „войне и демократии". Вопросы политики Маслов трактует с высокомерием профессионального экономиста и совершенно избавляет себя от необходимости применять в этой области какой-либо метод, считая, что здравого обывательского смысла за глаза хватит. Это не мешает ему походя всех попрекать теоретической „неподготовленностью". Высокомерие Маслова всегда шло вровень с его ограниченностью. Маслов хочет непременно отстоять столь необходимые для скудного обывательского воображения критерии наступательной и оборонительной войны. „В данном

---

[1]) Эта статья была написана в конце 1915 или начале 1916 г., в надежде провести ее через русскую цензуру. Отсюда некоторая уклончивость языка и японо-американские примеры вместо, более близких, европейских. Статья, однако, так и не увидела света. Здесь она воспроизводится по сохранившейся рукописи. Слишком уж эзоповские выражения заменены, в интересах читателя, более простыми, „советскими". — IV. 22. Л. Т.

случае не важно,—углубляет он вопрос,—кто первый объявил, кто первый сказал „э", важно то, какая страна готовилась к нападению и какая принуждена была к войне для самозащиты" (стр. 52, прим.). Но как определить, какая страна *готовилась* к нападению? На этот счет Маслов ничего не может предъявить, кроме собственного глазомера. Милитаризм, как мы знаем, возник не вчера, его параллельный рост во всех капиталистических странах толкался вперед международными экономическими, политическими и военными соображениями—как обороны, так и нападения. На известном этапе этого процесса вспыхнула война. Теперь Маслов требует от нас, чтобы мы задним числом определили, какой из национальных милитаризмов готовился к нападению, какой к обороне. Вот что называется взять быка за рога. Но что значит „готовился" к нападению? Сознательно преследовал эту цель? Значит, дело идет о субъективном факторе милитаризма? О злой воле правительства? Но как установить ее? А если в стране правительства—с разными международными тенденциями—сменялись за годы, предшествовавшие войне? Какой же критерий служит для того, чтобы определить, какая из сторон стремилась к нападению и какая сознательно ограничивала себя защитой? А может быть обе имели в виду нападение — в благоприятный момент? Милитаризм Японии и милитаризм Соединенных Штатов, двух государств, разделенных тихо-океанским антагонизмом, развиваются параллельно, взаимно толкая друг друга вперед. Никто не скажет, что между ними война невозможна. Кто именно из двух противников объявит войну,—или, по Маслову, первый скажет „э",—не имеет, как мы уже знаем, никакого значения для существа вопроса. Мы, поэтому, почтительнейше просим Маслова разъяснить нам, сейчас, не дожидаясь войны, какое из этих двух государств готовится к нападению и какое к защите? Очень опасаемся, что ничего внятного Маслов на этот счет нам не скажет. А, между тем, нашему другу, японскому социалисту Ката-Яме, если он начитается „Нашего Дела" и захочет руководствоваться в своем поведении критерием наступательной и оборонительной войны, необходимо решить уже сейчас, кто именно готовится к нападению: Соединенные Штаты или Япония? Но так как общая политика обеих стран совершенно не дает, да и не может дать ответа на этот вопрос, ибо самый вопрос бессодержателен и жалок,—то Ката-Яме придется, в конце концов, определять свое

отношение к войне в зависимости от того, кто первый скажет „э", — если только он, не в обиду Маслову будь сказано, не выкинет за окно формальный критерий обороны и нападения, никуда негодный при решении вопросов нынешней, империалистской международной политики.

Маслов и сам как будто чувствует, что с оценкой субъективных тенденций милитаризма дело обстоит не вполне благополучно. Он пытается подкрепить субъективный момент объективным. „Бельгия, Франция и Англия, — говорит он, — первые объявили войну Германии, и тем не менее они не хотели войны и не были к ней подготовлены" (там же). Выходит как будто так, что дело решается не тем, или не только тем, к чему готовилась страна, но и тем, оказалась ли она на деле подготовлена. Этот последний критерий, что и говорить, более надежен, так как он дает, по крайней мере, возможность объективной проверки. К сожалению, проверка возможна только post factum, т.-е. тогда, когда война уже успела достаточно развернуться и обнаружить, кто подготовлен и кто застигнут врасплох. Следовательно, при возникновении войны — берем опять тот же гипотетический случай — между Соединенными Штатами и Японией, Ката-Яме пришлось бы, для проверки добрых намерений микадо, подождать, не окажется ли он изрядно побитым. Если военная машина плоха,—должен будет умозаключить Ката-Яма, — значит микадо не готовился к нападению и потому заслуживает поддержки. Но, ведь, можно же было создать хорошую машину, готовясь к защите? И наоборот: можно покушаться на нападение, но с негодными средствами. На этот счет даже есть, говорят, на японском языке хорошая и очень меткая пословица: „На рубль амбиции, на грош амуниции". Микадо мог иметь в виду отнять у Соединенных Штатов Сан-Франциско, но, как обнаружилось во время войны, интендантские крысы до такой степени изгрызли японскую артиллерию, что микадо вынужден итти на попятный. Неужели же поведение японских социалистов должно быть поставлено в зависимость от энергии интендантских крыс?

Маслова видимо самого слегка мутит от собственных аргументов, и он скрывается под сень авторитета. „Г. В. Плеханов,— говорит он,—в своей статье, по моему мнению, очень остроумно (!) и правильно (!!) заметил, что кто отказывается от решения вопроса о том, какая страна нападает и какая защи-

щается, тот тем самым признает себя неспособным обсуждать вопрос о войне".

Насчет „остроумия" мы с Масловым не спорим, ему и книги в руки. Но насчет „правильности", остаемся при особом мнении. Мы считаем, что за оборону прячутся как раз те социалисты, у которых ничего нет за пазухой. Маслов, как и соблазнивший его Плеханов, не входят в существо вопроса. Они попросту считают, что все это давно доказано: политика, состоящая в объединении пролетариата с буржуазией и буржуазным государством для военных целей, является для них прямым выводом из социалистической программы—разумеется, не всегда и не для всех, во всяком случае не для Берлина, а там и тогда, где и когда отечество находится в состоянии самообороны. Обороняется же то отечество, на которое напали. А напали те, которые готовились. А готовились те, которые действительно подготовились. Социализм-де не только всегда это признавал, но почти что был на этом построен. Чтобы в этом убедиться,—поучает Плеханов,—достаточно познакомиться с резолюцией жоресистов, вынесенной на съезде французской партии в 1906 г. в Лиможе. Там, видите ли, прямо сказано, что французский пролетариат считает себя обязанным защищать свою страну, если она подвергнется нападению, и имеет право рассчитывать на поддержку со стороны пролетариата других государств. Правда, мы не догадывались до сих пор, что лиможская резолюция жоресистов и есть истинная хартия Интернационала. Нам, например, казалось, что Коммунистический Манифест, утверждающий, что у закабаленного пролетариата нет отечества, являлся более авторитетной, более всеобъемлющей программой мирового рабочего движения, чем лиможская резолюция. Но с недавнего времени, опять же по почину Плеханова, все Масловы и Левицкие, хоть Лиможа на карте и не сыщут, но твердо прониклись убеждением, что краеугольным камнем социализма является защита буржуазного государства, „если на него напали". „Наше Дело" презрительно пожимает плечами по поводу „анархистов" или „невежд", не проходивших курса социал-патриотических наук. Но где и кем этот курс написан?

Иногда цитируют по тому же вопросу и Бебеля, хотя не охотно, ибо по нынешним временам немец, хотя бы и покойный, никак не может быть сочтен за авторитет. И та же самая мысль,

выраженная на языке, представляющем смесь лиможского с нижегородским, выходит куда бойчее.

Приходится, однако, признать, что Бебель действительно говаривал об участии социал-демократов в обороне Германии „в случае нападения на нее". И этот свой, нигде им точно не формулированный и не обоснованный, условно-оборонческий взгляд, Бебель довольно вяло и беспомощно защищал от критики со стороны немецких же марксистов. Так, на Эссенском Съезде партии Каутский, тогда еще не отказывавшийся от всей работы своей жизни, с превосходной меткостью возражал Бебелю: „На мой взгляд,—говорил Каутский,—мы никак не можем разделять военное воодушевление правительства всякий раз, когда мы убеждены, что нам грозит неприятельское нападение. Правда, Бебель полагает, что с 1870 года мы ушли далеко вперед, и что теперь мы в каждом случае можем точно отличить, имеем ли мы дело с действительным или с мнимым нападением. Я не взял бы на себя ответственности за это утверждение. Я не поручился бы за то, что мы в каждом случае можем точно установить это различие, что мы всегда будем знать, отводит ли нам правительство глаза, или действительно защищает интересы нации перед лицом нападающего врага... Вчера немецкое правительство было аггрессивно, завтра будет французское, а после-завтра, быть может, английское. Это меняется непрестанно... В действительности, война означает для нас не национальный, а интернациональный вопрос, потому что война между великими державами превратится в мировую, она затронет всю Европу, а не только две страны. Но в один прекрасный день немецкое правительство могло бы уговорить немецких пролетариев, что на них напали, а французское правительство могло бы в том же убедить французов, и мы имели бы тогда войну, в которой немецкие и французские пролетарии с одинаковым воодушевлением пошли бы за своими правительствами и стали бы убивать друг друга и перерезать друг другу горло. Это нужно предотвратить, и мы это предотвратим, если будем прилагать не критерий наступательной войны, а критерий пролетарских интересов, являющихся в то же время интернациональными интересами"...

Может быть, этот взгляд Каутского—исключение? Ничуть не бывало. Цитируя патриотическую резолюцию Лиможа, наши социал-патриоты забывают о том, что социалистическая история

не сошлась клином на жоресизме и не закончилась в 1906 г.; после того были международные конгрессы в Штуттгарте, Копенгагене и Базеле. Эти конгрессы специально занимались вопросами милитаризма, империализма и надвигавшейся военной опасности. Принципиальные тщательно разработанные резолюции всех трех конгрессов характеризуют заранее грядущую войну, как результат соревнования империалистических стран; безусловно отказывают правительствам всех капиталистических государств в доверии и в помощи пролетариата и обязывают социалистические партии использовать, вызванные войной, потрясения в целях ускорения социальной революции. Об обороне, как критерии социалистической политики во время войны, в этих резолюциях нет ни единого слова. Никто не осмеливался так ставить вопрос. Казалось, для всех было ясно, что империализм наступателен по существу, и что война возникает именно из столкновения враждебных наступательных тенденций.

Таким образом, с огульными ссылками в духе „Нашего Дела“ на твердо установившееся будто бы в международной среде мнение насчет „нападения“ и „защиты“ и вытекающей отсюда тактики, необходимо быть осторожнее. Во время какого-нибудь ограниченного по содержанию конфликта, например, между Норвегией, которая хотела жить самостоятельно, и Швецией, которая принуждала ее к унии, критерий обороны и нападения еще применим. Но разве это провинциальное столкновение сколько-нибудь характерно для нынешних мировых конфликтов, где два гиганта вступают в борьбу, чтобы ограбить—третьего, четвертого и пятого?... Правда, мнимый критерий обороны, совершенно непригодный для эпохи империалистских притязаний и войн, продолжал сохраняться в некоторых социалистических кругах, как наследие эпохи более примитивных международных отношений, и как простейший, на первый взгляд, способ ориентировки в мировой политике. Как показывает, однако, приведенная цитата из речи Каутского—увы! автор ее сам не удержался на ее уровне в нынешнем кризисе—несостоятельность формально-оборонительного критерия, который целиком скользит мимо существа вопроса, была людям с головою ясна задолго до войны. Но, в конце концов, вопрос не решается историческими справками насчет текстов. Жалкой идейной трусостью является нежелание свести старые мнения на очную ставку с новыми событиями. Разве мы

не видим, что происходит на деле под знаменем „обороны"? Разве то, что в эссенской речи Каутского было предостережением, не стало ужасающей реальностью?

Маслов приводит в своей простоватой брошюре о причинах войны цитату из статьи одного немецкого военного писателя, смысл которой сводится к тому, что войны в современную нам эпоху могут вестись только во имя империалистических интересов, но что для вовлечения народных масс необходимо попрежнему выдвигать национальные, политические, моральные и религиозные лозунги, и, прежде всего, разумеется, лозунг защиты от нападения. Таких цитат можно было бы привести не мало из английских, французских и иных военных и политических писателей—из категории тех, которые хорошо знают, где раки зимуют. Маслов приводит столь „безнравственную" немецкую цитату и сокрушенно покачивает головой. А в это самое время немецкие Масловы глубокомысленно разводят канитель на тему о наступательной и оборонительной войне, ставя лишь минусы и плюсы там, где русские Масловы ставят плюсы и минусы. Этим самым немецкие Масловы, во исполнение предначертаний указанного выше военного писателя, выдвигают национальные и политические лозунги для потребления масс, на которые падает задача тащить колесницу немецкого (и иного) империализма. Если бы русский Маслов поменьше говорил о чужой теоретической неподготовленности, у него осталось бы, может быть, больше времени подумать о своей собственной. И тогда он убедился бы, что немецкие зады не становятся убедительнее от плохого перевода их на русский язык.

Дело, однако, в том, что Маслов со своей ссылкой на Плеханова вообще сильно замешкался и безнадежно отстал от развития социал-патриотической философии.

Раз встав на путь безошибочных формальных критериев международной политики, Плеханов благополучно добрался до позитивной этики Канта. „Во всем творении все, что угодно и для чего угодно, имеет значение только как средство; но человек... есть цель в себе самом". Вот нравственный закон,—говорит Плеханов,— до признания которого постепенно возвышается современное цивилизованное человечество. И в то же время он содержит в себе основное правило „внешней политики пролетариата". Теперь вопрос сразу освещается с высокой горы. Мы знаем, что

Плеханов недоволен германской социал-демократией, которая вотировала своему правительству военные кредиты и вообще поддерживает его в нынешней войне. Но не потому Плеханов протестует против поведения германской социал-демократии, что видит в нем отступление от классовой борьбы, а потому, что в поведении германского правительства он усматривает отступление от нравственных законов Канта. В том случае, — как на стороне Антанты, — где капиталистические правительства рассматривают другие народы не как средство, а как самоцель (доказано!), т.-е. сообразуются во внешней своей политике с законами Канта, Плеханов считает прямым долгом рабочей партии поддерживать национальный милитаризм. Вопрос, как видим, поставлен, наконец, на надлежащую философскую высоту. С этой точки зрения совершенно нет надобности спрашивать себя, кто начал войну или кто готовился к наступлению, а нужно просто спросить себя, во имя чего ведется война. Так, например, если правительство микадо смекает, что Северо-Американская Республика замахивается на Мексику, намереваясь поступить с ней не как с самоцелью, а как с нефтяным средством, и если в виду этого микадо открывает наступательную войну против Америки, чтоб восстановить закон Канта в его первобытной чистоте, то Ката-Яма может, не задумываясь, открыть все финансовые и моральные кредиты своему правительству: оно стоит на верном пути. Только теперь мы видим, как далеко отстал Маслов.

Правда, сам Плеханов, который, вместе с цивилизованным человечеством „постепенно возвысился“ до применения кантовского категорического императива к империалистическим взаимотношениям, все еще как будто продолжает отстаивать критерий оборонительной и наступательной войны. „Только в оборонительной войне,—говорит он,—позволительно и даже обязательно деятельное участие сознательных пролетариев“. Но очевидно, что эта устаревшая терминология характеризует уже пройденные мыслью Плеханова этапы,—по существу же дела „оборонительная война“ должна отныне пониматься не в эмпирическом, а в нравственно-философском смысле. Всякая война является оборонительной, если она направлена на утверждение нравственного закона, независимо от того, какая из сторон острее отточила свои ножи и первая привела их в действие. Плеханов прямо говорит: „Эксплуататор угнетает, следовательно, нападает; эксплуатируемый стре-

мится освободить себя от угнетения, следовательно—обороняется". Для того, чтоб никого не огорчать, останемся по-прежнему в области чисто-гипотетических примеров. Соединенные Штаты покушаются на Мексику, Япония наступает, повинуясь категорическому императиву. В этом случае можно сказать, что инициатива нападения принадлежит Вашингтону, покушающемуся на Мексику, и что исходящее из Токио наступление есть в высшем нравственном смысле оборона. Вывод: у Ката-Ямы руки развязаны. Но этот последний может возразить, что как только наступление Японии—при помощи социалистов—закончится победой, так немедленно же с „освобожденной" Мексикой будет поступлено не как с самоцелью, а... подлейшим образом. Следовательно, костям Канта все равно придется перевернуться в гробу. Плеханову, который нравственную метафизику дополняет софистицированной диалектикой, останется только то утешение, что Канту придется перевернуться дважды: один раз от нарушения, другой раз — от утверждения его нравственных законов, следовательно, в результате он вернется в первоначальное состояние. Но Мексике от этого легче не станет.

В нашем гипотетическом примере мы брали Канта, так сказать, под меридианом Токио. Между тем, и на меридиане Вашингтона имеются кандитаты в кантианцы. Как только Япония пошлет свои миноносцы и подлодки, чтоб на американских военных кораблях продемонстрировать силу нравственного закона, мистер Вильсон может вспомнить, что сама Япония, воспользовавшись международным положением, только на-днях сдавила Китаю шею таким „договором", который приближает Срединную Империю к положению японской колонии. А так как это именно и значит превратить народ из самоцели в средство, то республиканский флот, получивший поручение восстановить попранную справедливость, имеет все права на поддержку американских социалистов. И если эти последние, отложив в сторону свою программу и постановления международных конгрессов, решат действовать по плехановизированному для международной политики Канту, то мы получим..., но нам нет надобности изображать, что мы получим в Азии и Америке, — достаточно оглянуться на то, что мы получили в Европе. В этом наше нынешнее преимущество: мы можем не гадать, мы имеем опыт. И мы дорого заплатили за него.

Нынешняя позиция Плеханова, нисколько не будучи неожиданной политически, несет в себе, тем не менее, черты подлинной идейной трагедии человека, который свыше 30 лет популяризировал и отстаивал метод Маркса, чтобы в судный час заменить его на скорую руку методом Канта. Какое это было бы торжество для всех этих Струве, Булгаковых и Бердяевых, если бы сами они не перешли давно уже к методам блаженного Августина!

Нравственный закон Канта есть метафизическое обобщение борьбы третьего сословия за эмансипацию. Буржуазная личность переставала быть средством и становилась самоцелью с того момента, как сбрасывала с себя петли феодально-сословных ограничений. Политически кантовская нравственная норма находит свое выражение в режиме демократии. Но в классовом обществе, хотя бы и самом „демократическом", — формально-автономная личность пролетария бегает в капиталистической упряжке, как слепая лошадь по мельничному кругу. Ставить социалистическую политику под верховный контроль кантовского нравственного закона — так же, как и подчинять классовую борьбу пролетариата нормам политической демократии, — значит в принципе капитулировать пред классовым обществом. Можно, правда, сказать, что кантовский нравственный закон понимается здесь в более „высоком" смысле, и что он получит свою окончательную материализацию в коллективизме, где трудящаяся личность перестанет быть средством капитала, — подобно тому, как Жорес в социализме хотел видеть материализацию принципов демократической республики. Никому нельзя помешать наряжать социальную материю коллективизма в оболочку философских и религиозных систем, порожденных в совершенно другие исторические эпохи и для других целей, как никому нельзя воспретить выкрасить собственный нос в лиловую краску. Можно в социализме, как в общественном строе, открыть хозяйственное воплощение философии Канта, или учение Христа, даже Конфуция. Но ставить борьбу пролетариата в нынешнем, классовом обществе под контроль кантианских, христианских или конфуцианских нравственных принципов, значит открывать неограниченный кредит тому обществу, которое нуждается в „общеобязательных" нормах против классовых норм пролетариата. С точки зрения реально развертывающейся классовой борьбы, признание личности абсолютной ценностью и самоцелью есть либо пошлая бессодержательность, либо реакцион-

ная ложь, или, лучше сказать, бессодержательность, которая автоматически наполняется ложью. Против личности штрейкбрехера, который не хочет служить „средством" для целей коллектива, пролетариат выдвигает могущественное оружие своей дисциплины, и свои права на это он почерпает не в нравственной метафизике, а в действенной психологии класса, стремящегося к освобождению.

Социал-национализм имеет своей объективной задачей классовую личность пролетариата, уже поднявшегося на высокий уровень самосознания, снова превратить в *средство* для чуждых и враждебных ему исторических целей. Как ни свободно Плеханов сейчас софистицирует марксистскую теорию, но и ему стало тесно в рамках материалистического метода, когда пришлось искать теоретического обоснования для политики социал-национализма. Пришлось на старости лет выйти с нищенской сумой на большую дорогу нормативной философии, в поисках за общеобязательным нравственным законом. „Ты победил, Кенигсбержец!".

* * *

Если Плеханов вносит в социал-национализм черты философского трагизма, если Маслов оживляет самобытные начала кифо-мокиевщины, то Алексинский представляет, без сомнения, аггрессивно-шутовское начало. Шутовство бывает двух основных типов: простецкое и злобное. Алексинский — законченный тип шута-злеца. Прибитый к берегам социал-демократии бурной и потому мало разборчивой волною 1905 г., он в трибуне II Думы нашел временное средство дать отравлявшей его злости исторически-прогрессивное выражение. Но эта эпоха оборвалась, только раздразнив его. Алексинский занял свое место на крайнем левом фланге большевистской фракции. „Бойкотист" и „отзовист", он в участии рабочей партии в думских выборах видел отказ от традиций великого года, который создал его, Алексинского. Не было, кажется, политического деятеля в русском рабочем движении, которого Алексинский не обвинял бы в готовности примирения с Россией 3-го июня. К нравственному закону Канта Алексинский имел только то отношение, что во всей своей деятельности считал собственную личность безусловной самоцелью. Устав от собственной левизны, которая была для него средством к инсинуациям против всех, кто был „правее" его, и совершенно

исчерпав на этом поприще свои духовные рессурсы, Алексинский не мог не ухватиться за войну, как за счастливую возможность выйти из политического небытия, в которое он все глубже погружал себя своими усилиями снова выбраться на политическую арену. Если раньше Алексинский был левее всех, то теперь он оказался правее всех, если вчера он был „отзовистом", то сегодня он адресует телеграфные ходатайства г. Родзянке об амнистии; но в самом для него основном Алексинский, несомненно, оказался в выигрыше: социал-патриотизм не только обновил его духовные рессурсы, но и открыл пред ним возможность инсинуаций в широком обще-государственном и даже обще-антантовском масштабе, тогда как вчерашняя крайняя левизна замыкала его в тесные рамки „партийности".

Он начинает свою патриотически-розыскную деятельность — под знаменем борьбы с прусским милитаризмом — в уличной парижской газете „Le Bonnet Rouge". Из издаваемой в Париже русской газеты „Голос", которая одинаково не щадила габсбургских социал-патриотов, так и всех иных, он заимствует указания на темные операции некоторых украинских деятелей, тщетно пытавшихся посредничать между австро-венгерским штабом и русскими эмигрантами в Швейцарии. Алексинский не только не делает при этом ссылки на свой первоисточник, но статьи свои строит так, чтоб косвенно подкрепить им же пускаемые слухи о прикосновенности „Голоса" и „Нашего Слова" к каким-то таинственным фондам—не то Гогенцоллерна, не то самого Рачковского. В лице редактора „Современного Мира" г. Иорданского, обладающего достаточной подвижностью темперамента, Алексинский находит вполне подходящего патрона для перенесения своей деятельности на страницы русского „прогрессивного" издания.

Братски встреченный со своими украинскими „разоблачениями" самой густопсовой реакционной прессой, Алексинский делает попытку очиститься, сославшись на сей раз на свой первоисточник: парижскую газету „Голос". Но если своевременная ссылка его на эту газету в „Le Bonnet Rouge" означала бы, что Алексинский хочет отмежеваться от грязной и подлой клеветы на „Голос", а не питать ее, то теперь запоздалая и вынужденная ссылка в русской печати означает лишь попытку переложить на чужие плечи часть собственного бесчестья. Тщетно! Разоблачение в „Голосе" и по характеру, и по моменту появления пресле-

довало ограждение чистоты нравов революционной среды. Разоблачение Алексинского имело задачей оказание политической услуги врагам этой среды. Алексинский сделал далее попытку оклеветать в печати такого безупречного политического деятеля, как Раковский, и представляемую им румынскую социалистическую партию. Изобличенный и пригвожденный к столбу, он не сделал и шагу к своей реабилитации, а молча перешел к порядку дня, т.-е. к новым подвигам в сфере патриотической инсинуации.

Непрерывно изобличаемый, презираемый и все более погружающийся в грязь реакции, Алексинский продолжает, в атмосфере, насыщенной социал-патриотическим туманом, высоко держать свое новое знамя и являет живое доказательство тому, что идеям социал-национализма можно служить, почерпая уроки морали не у Эммануила Канта, в его „Основоположении к метафизике нравов", а у Льва Тихомирова, в его брошюре „Почему я перестал быть революционером".

Таковы последние вавилоны злополучной отечественной мысли. „Не пойдет наш поезд, как идет немецкий..." И если Плеханов разрешил всем Алексинским философские узы, то наш русский Зюдекум непременно утрет нос немцу, доказав на деле и не сходя с места, что в интересах морали и отечества он готов снять с себя необходимейшие части туалета.

Их литература.

Вместо новогоднего обзора.

Истекший год был свидетелем зарождения, развития и, в некотором роде, процветания новой отрасли отечественной литературы: социал-патриотической словесности. В первые месяцы русские социал-патриоты довольствовались устным преданием. Но постепенно пристрастились к печатному станку. Дорогу проложил родоначальник русского марксизма, придавший духу малым сим. Г. Плеханов, в числе других обобщений, сразу раздвинувших политические горизонты нашего поколения, заявил, как известно, что русская армия состоит из „львов", которыми командуют ослы... Вскоре после этого произошла в нашем отечестве известная смена высшего командования. Говорят, что в социал-

патриотических кругах, в частности в редакции „Призыва", до сих пор не решено: совершена ли означенная смена в *подтверждение* или в *опровержение* Плехановского афоризма.

Но истинным откровением явилось приспособление Плехановым нравственного закона Канта к окончательной реабилитации царской дипломатии. Это произошло в ту эпоху, когда русские войска еще оставались в Галиции, и не покинута была надежда на Восточную Пруссию с Кенигсбергом, он же Кралеград. Патриотически-философская аннексия Плехановым кенигсбергского мыслителя в то время, как ожидалась военная аннексия самого Кенигсберга, не могла не окрылить молодую русскую социал-патриотическую мысль. Правда, с того времени много воды утекло. Сейчас в Канте нет надобности для обоснования освободительной миссии на Балканах, ибо там и без философии все ясно, но тем важнее прислониться к категорическому императиву для уразумения персидской миссии царизма. Мы ждем от плехановской школы развития той темы, что оккупация Персии есть необходимый для мирового нравственного равновесия противовес оккупации Бельгии. Если, прияв войну, наши кантианцы прияли Грегуса в Галиции, то теперь они должны усыновить Ляхова в Персии. Если семь лет тому назад, когда Ляхов громил первый меджилис и вешал за ноги тегеранских демократов, дело шло только об истинно-русской погромной экспансии, то теперь, тот же Ляхов, призвавший к власти старого персидского душегуба Фарман-Фарму, выступает, так сказать, вроде судебного пристава Права и Справедливости. Материальные факты — ничто без одухотворяющей их идеи.

На противоположном полюсе социал-патриотической словесности стояли, в течение всего этого года, исследования Алексинского. Отношение этого субъекта к „нравственному закону" приблизительно такое же, как отношение татя к уголовному уложению. Вряд ли, с другой стороны, можно причислить к печати его „труды", по существу непечатные. А между тем Алексинского так же нельзя выключить из социал-патриотической словесности, как слово из песни. Без него весь наш русский социал-патриотизм покажется пресным, как Петрушка без собственного запаха. Вот и спорьте после этого против властной силы национального духа!

За вычетом, с одной стороны, Плеханова, примиряющего Ляхова с Кантом, с другой стороны, Алексинского, которого, при

всех его заслугах, надлежало бы все же поручить медицинскому присмотру, — что останется? Авксентьев и Воронов, Аргунов и Бунаков, то-есть публицисты, которые по прямой линии происходят от Тяпкина-Ляпкина, Кифы Мокиевича и в лучшем случае, от Кузьмы Пруткова. Эта духовная родословная имеет бесспорно свои преимущества, ибо свидетельствует о почвенных традициях и как бы является порукой за столь необходимую национальному социализму самобытность. Тяпкин-Ляпкин — внук, подобно деду, не стеснен методом: в этом его сила. Правда, кроме захолустного вздора у него ничего не выходит, зато не по немецкой указке, а до всего „сам собою доходит, собственным умом". Городничий, правда, по поводу этого заметил, что „в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было". Но этот упрек к нашим социал-патриотам очевиднейшим образом не относится...

Кто читал безвременно погибшую газету „Новости" или кто ныне читает „Призыв", тот хочет-не-хочет, но вдыхает в себя неподдельные уездные испарения кифо-мокиевщины и тяпкин-ляпкинщины. „Здесь тонкая и больше политическая причина", — так у них начинается передовая статья. — Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то...". Впрочем, по „Новостям", как и по их потомку „Призыву", войну, как известно, „хочет вести" Германия, а российская министерия на сей раз стоит настраже демократии.

В последние месяцы русская социал-патриотическая печать обогатилась еще одним изданием, которого именно и не хватало в природе: „Свободным Словом" Л. Г. Дейча, издающимся в Нью-Йорке. Но об этом журнале мы говорить прямо-таки не решаемся, ибо Л. Г. Дейч, заклятый „враг личной полемики", в ответ немедленно напомнит нам, первым делом, что мы еще гуляли под стол пешком в то время, как он оставил уж позади теорию прибавочной стоимости, а во-вторых он, как дважды два, докажет, что наша недоброжелательная критика его журнала вызывается обидой за нашу двоюродную тетку, которой он, Л. Г. Дейч, наступил 13-го января 1876 года на мозоль. Правда, в конце концов, можно обнаружить, что никакой у нас тетки не было. Но это потребует опроса свидетелей, справок в метрических книгах, вообще слишком больших доказательств. Лучше поэтому пройти из осторожности мимо.

Остается еще легальная социал-патриотическая литература. Что на политических писаниях Масловых и Череваниных лежит неискоренимая печать все той же тяпкин-ляпкинщины, это неоспоримо. При чтении „Нашей Зари" или „Нашего Дела" трудно поверить, что русский марксизм проделал такую большую идеологическую борьбу с либерализмом и субъективизмом, и что российская социал-демократия прошла через школу 1905 года. Из-под дешевой „марксистской" фразеологии торчит ухо обывателя, которого немец, что называется, вывел из себя. Нельзя, однако, не признать, что легальная социал-патриотическая публицистика не имеет такого компрометирующе-нелепого, явно-карикатурного характера, как эмигрантская. Несомненно, что уже одна непосредственная близость к Сазонову и Хвостову вводит некоторые спасительные ограничения в социал-патриотические построения. Еще большую услугу легальным социал-патриотам оказывает — цензура. Она дает им возможность и право не только не досказывать, но и не додумывать свои мысли до конца. Сколько в России таким путем было спасено, в доброе, старое время, либеральных и радикальных репутаций! Филистер, выступающий под радикальным знаменем, публицист, не сводящий концов с концами,[1] — разве у них может быть лучший союзник, чем цензура? Но на беду легальных социал-патриотов, мы живем не в 80-ые и не в 90-ые года, а через 10 лет после русской революции: то, что недосказывается, теперь доделывается. Мы пережили недавно петроградские выборы в военно-промышленный комитет, и они составляют целую эпоху в жизни социал-демократии и в эволюции социал-патриотизма. Успенский писал, что характеристику русской интеллигенции составляет „благородство мыслей" при „дармоедстве поступков". Мы думаем, что поддержание того полу-„благородства" мыслей, которое ставят нам на вид защитники „Нашего Дела", станет отныне невозможным под давлением явного „дармоедства поступков", из этих мыслей вытекающих.

Это почувствовали, очевидно, сами легальные социал-патриоты, и к новому году они готовят коллективный труд — их двадцать, ровно столько, сколько немецких депутатов, голосовавших против кредитов, — и в этом труде, которому имя „Самозащита", г.г. Потресов, Маслов, Череванин, Маевский, Бибик, Кубиков, и пр. и пр. сведут, надо надеяться, концы с концами.

Если верить легальной прессе, — а не верить ей в данном случае нет основания,—характер фундаментального труда двадцати будет таков, что нам останется только пальцем указать на него массам со словами: „Под сим монументом покоится прах двадцати бывших социал-демократов".

„Н. Сл.", 1 января 1916 г.

„Самозащита".

I. „Буде нужно".

Несколько лет тому назад, в самый разгар контр-революции, известная группа кадетской интеллигенции, с П. Струве во главе, создала программный сборник „Вехи", в котором окончательно и принципиально порывала связь с „безответственным радикализмом", то-есть с прямыми или косвенными расчетами на революционное движение масс, и становилась на „государственническую" и по тому самому империалистическую точку зрения.

Ныне часть марксистской интеллигенции и связанных с нею рабочих, преимущественно из центрального ядра, так называемого ликвидаторского течения, выпустила сборник, который, по меткому определению одного товарища, представляет собою „Вехи" русского социал-патриотизма.

В этом сборнике (первом в предполагаемой серии) двенадцать авторов — по числу апостолов. Один из них, *Л. Седов*, показался впрочем цензуре ненадежным — и она вычеркнула его статью целиком. Но дух Седова, на которого нам указывали, как на „нашего собственного интернационалиста" при „Нашем Деле", в сборнике все же запечатлен, ибо сборнику предшествует предисловие, в котором заявлено, что соединение „идеи интернационализма и идеи защиты отечества" *связывает всех участников сборника* и „покрывает собою те различия в оценках отдельных сторон современной общественности, которые несомненно имеются у авторов..."

На самом деле у авторов имеются не только различия, но кричащие (чтобы не употреблять неуместного в данном случае слова: глубокие) противоречия — и друг с другом и у каждого с самим собою. Их аргументация плоска, поверхностна: это резо-

нирующая обывательщина с начала до конца. Но при всех этих противоречиях, знаменующих не так называемые „мучительные поиски" мысли, а лишь ее чрезвычайную нетребовательность в рамках новой позиции, авторов связывает действительное и несомненное единство — единство капитуляции пред буржуазной нацией и классовым государством. Снявши голову, по волосам не плачут, и, повернувшись спиною к революционному социализму,— а в нынешнюю эпоху это значит к *социализму вообще*, — люди психически не способны заботиться о приведении в порядок „социалистической" аргументации своего отреченства.

Мы займемся этой аргументацией не ради ее теоретической ценности, которая ничтожна, а ради ее демонстративного значения, которое неоспоримо: весь сборник есть яркое свидетельство того, что если во Франции, например, самоликвидация социализма должна была принять министериалистскую форму, то для нашего отечества совершенно достаточно признания идеи обороны, хотя бы и „условной", то-есть свидетельствующей об остатках демократического стыда, — чтоб повернуться спиною к революции и социализму.

Но прежде всего мы хотим дать возможность читателю почувствовать общий „дух" сборника. Для этого нет лучшего пути, как заставить самих авторов говорить за себя.

Сборник открывается статьей *В. И. Засулич*. Имя автора принадлежит истории русской революции и нашей партии. Именно поэтому мы предпочитали бы молча пройти мимо статьи. Но — статья занимает первое место в „Вехах" русского социал-патриотизма, а этот последний принадлежит не истории: это политический враг, с которым необходима непримиримая борьба.

„С самого начала я желала и продолжаю желать, — пишет В. И. Засулич, — возможно более полного поражения Германии. И не одна только любовь к родной стране внушает мне это желание", но и забота о „западных демократиях". „Своими новыми способами ведения войны, выставившими ее в таком неожиданном свете, (Германия) вызвала чисто человеческие, гражданские чувства негодования и отвращения..."

„Гвоздем" сборника является несомненно статья *А. Потресова*. „...Интернационал в развалинах,—говорит автор.—Сейчас воюют не только правительства, сейчас — не за страх, а за совесть — воюют и народы, и трудящийся народ в том числе, и даже в

первую голову. Кто же прервал этот мир рабочих людей, разбил их единство? — спрашивает автор. Ход событий, — отвечает он, — дает вразумительный, ясный, не подлежащий сомнению ответ: *идея отечества*". Значит эта идея, „обратившая в развалины" Интернационал, ложна? Ничут не бывало. Наоборот. „Пролетариат имеет что терять и даже очень большое — свой накопленный им, в границах „отечества"... капитал труда и борьбы"... А вот выводы для России. „В России все еще нет патриотизма, как массового явления; и потому дорваться России до патриотизма, значит дорваться до Европы"... „Патриотизм гражданина несет — буде нужно — достояние и жизнь на алтарь своей родины" (извиняемся перед читателем, но как не сказать при этом случае: „Хорошо пишут курские помещики!"). А вот заключительный призыв: „Через патриотизм — иного пути нет — в международное царство братства и равенства!".

Небезызвестный *Иван Кубиков* (рабочий) пишет о „рабочем классе и национальном чувстве". Автор признает, что „в среде социалистов всех стран имеются свои Зюдекумы, опошляющие великую идею Интернационала" („я даже б их могла по пальцам перечесть"...), но, как ни толкуйте, любовь к родине не пустой звук" (стр. 27). „При наличности захвата неприятелем восемнадцати губерний... только при полном нигилизме можно говорить: трудящихся масс России „это не касается". Далее Кубиков прибегает для выражения своего „национального чувства" к поэтическому заимствованию: „Милей в своих лохмотьях и слезах страна родная". Как видим, иные питерские рабочие пишут нисколько не хуже курских помещиков.

П. Маслов снова повторяет по складам, что немец грозит русской таможенной системе, стало быть русской промышленности, стало быть русскому пролетариату. „Не только германская промышленная буржуазия, но и руководители германского рабочего класса встали на путь завоевательной политики... Эти аппетиты, пробужденные среди руководящих кругов германской с.-д., стремление разжиреть на почве, удобренной пролетариатом соседних стран, могут исчезнуть только тогда, когда завоевательной политике Германии будет дан надлежащий отпор".

К. Дмитриев пишет: „Через оборону страны к свободному миру, равно обеспечивающему народные интересы договариваю-

щихся сторон, — таков только и может быть сейчас очередной лозунг российской демократии".

Ан (Жордания) пишет: „Все марксистские партии Европы подошли к войне с точки зрения экономического развития, т.-е. остались на почве марксизма. Но (слушайте!) так как каждая из них считала свою страну в состоянии обороны, естественно, все они, считаясь с постановлением Интернационала, взялись за оружие". А так как *Ан* считает свою страну в состоянии обороны (Ану, как кавказцу, совершенно ясно, что ни в Персии, ни в Армении „оборона" России еще не доведена до конца), то, „подчиняясь постановлению Интернационала", *Ан* зовет к оружию.

Вл. Вольский издевается над каким-то левым депутатом, который спрашивал: „Чего еще требуете вы, сторонники самозащиты, от рабочего класса? Разве он не изнывает сейчас на работе, на фабриках и заводах, разве не несет всей тяготы войны, разве не умирает на полях сражений?". На это Вл. Вольский отвечает: „Надо не просто трудиться и умирать, повинуясь чьим-то приказаниям". Надо внести в это дело „не только физические, но и интеллектуальные и моральные силы". Другими словами: нам мало того, что пролетариат отдает милитаризму тело, — мы требуем от него и душу!

Е. Маевский и *В. Левицкий* пишут, конечно, о том, о чем обречены писать до конца дней своих: об „общенациональных задачах". „Буржуазия в тупике, сообщает нам Е. Маевский самое свежее свое открытие. — Рабочая демократия — и это в ее интересах, ибо (!) это в интересах обороны страны — должна вывести буржуазную оппозицию из этого положения"... А Левицкий углубляет: „Движение, ставящее себе широкие *общенациональные* задачи и охватывающее *различные* классы общества, которые испытывают сильный гражданский подъем в силу величия этих задач, одно только способно вывести Россию из тех внешних и внутренних затруднений, в которых она очутилась" (курсив автора).

А. Бибик объясняет, что раз немецкие социалисты оказались „послушным орудием прусского юнкера", то встречать их надо „не в белых одеждах и не с пальмовой ветвью в руках (русский юнкер предлагает, как известно, всем бибикам выбирать себе одежду, белую или „защитную", и вооружаться, по вкусу, пальмовой ветвью или винтовкой). Далее Бибик сообщает, что,

„огромное большинство русских эмигрантов, находившихся в Бельгии, Франции, также стало под ружье". В самой России такому образу действий все еще мешает „гамлетизм" (и околоточный), но „общественная мысль нашего самого крупного рабочего коллектива, — сообщает А. Бибик, — замкнула, наконец, свой круг: *у русского рабочего также есть Родина и эта Родина — в опасности*". Какой это рабочий коллектив замкнул круг Родиной с прописной буквы? А. Бибик не поясняет. Напомним только, что Загр. Секр. О. К. писал недавно: „Тов. А. Бибик — один из видных работников меньшевистского крыла, и его переход на точку зрения „обороны" не может остаться без влияния" („Интернационал и война", стр. 128).

Наконец, двенадцатым выступает *В. Львов-Рогачевский,* который требует, „чтобы дело защиты зажгло огнем энтузиазма миллионы сердец и разбудило чувство кровной связи с родиной"... Поэтому последний из апостолов „громко и властно зовет: Встань, смирный человек! Встань во имя спасения страны!"

Когда читаешь эти, то юродивые, то казенные, фразы — под Достоевского и даже под Карамзина, — то испытываешь, надо признаться, прилив снисходительности к фразеологии французских социал-патриотов. Перекидывая свое, никогда впрочем не заряжающееся, ружье с левого на правое плечо, Эрве выкликал так: „Друзья-социалисты, друзья-синдикалисты, друзья-анархисты, — отечество в опасности! Отечество Великой Французской Революции в опасности!" В этом есть, по крайней мере, „звук". Политическая акустика, по крайности, не оскорблена. А Потресов грыз-грыз свое вдохновенное перо и решительно ничего из него не выжал, кроме: „Патриотизм гражданина несет — буде нужно — достояние и жизнь на алтарь своей родины"... *Буде нужно!* — это не спроста, это гений отечественного патриотизма взыграл во чреве отяжелевшего господина интеллигента, обревшего свою родину. *Буде нужно*! — да ведь это не фраза, а откровение. И когда Львов-Рогачевский кричит „громко и властно", то-есть не своим голосом: „Встань, смирный человек! Встань во имя спасения страны!" — то нам ясно видится за его спиною укоризненный силуэт господина околоточного: „Ты, почтенный, хоть и старательный, а зря не ори: *буде нужно*, и сами разбудим!.."

II. На выучку к патриотизму?

Социал-патриотизму, как и всякому национализму вообще, присущи по необходимости мессианистические черты, то-есть большая или меньшая уверенность в особой *избранности* своей нации, а стало быть и своего пролетариата.

Немецкие социал-патриоты защищают не Гогенцоллернов, конечно, а высокую организацию производства и могущественную организацию рабочего класса, и то и другое—необходимые условия для перехода к социализму. Французские и английские социал-патриоты защищают не национальную биржу, не колонии, а наследие революции, республику, парламентаризм, право, справедливость. Положение русских социал-патриотов в этом отношении, несомненно, крайне затруднительно. Ни в экономической, ни в политической, ни в идеологической области претензии России на историческое первородство не могут быть обоснованы, по крайней мере, без помощи апокалипсиса. Но вот оказывается, что теоретики русского социал-патриотизма умудряются главные доводы в пользу своей позиции почерпать именно в *отрицании* за Россией прав на какой бы то ни было мессианизм.

„Самый факт... преобладания интернационализма именно среди русских рабочих, — пишет В. И. Засулич, — совершенно невероятен после всего того, что произошло среди рабочих Запада".

„Я не верю, — пишет А. Потресов, — в восточный интернационализм, который будто бы процвел и спасает честь социализма, между тем как Запад увял и погрузился в греховность. Я с подозрением смотрю на этих восточных праведников, несущих сейчас свое просияние ума европейскому грешному миру..." и пр.

В том же направлении движется и критическая мысль П. Маслова. Он с пренебрежением говорит о „некоторых социалистах России и Сербии", которые „порицают рабочий класс Франции, Бельгии, Англии, Австралии и т. д., имеющий колоссальный политический и социалистический опыт и, несмотря на это, якобы увлеченный буржуазией на ложный путь" [1]).

[1]) Аляповатая масловская формулировка общей мысли многих авторов сборника имеет то преимущество, что в ней откровенно торчат наружу все белые нитки. Когда это мы, русские марксисты, считали, что политика пролетариата

Получается, таким образом, вот что. Французские или иные социалисты в объяснение своей обязанности поддерживать свой национальный милитаризм, выдвигают то соображение, что этим путем они защищают страну, которая является „светочем мира". Когда же русские революционные социалисты отказываются заключать мир со своим милитаризмом, социал-патриоты говорят: „Захотели быть умнее французов и даже австралийцев, — уже не метите ли вы, чего доброго... в светочи мира?" Если западным социалистам нужна национально-мессианистическая идея в оправдание сдачи своего знамени буржуазной нации, то от нас, русских социалистов, требуют подражания старшим западным „братьям", именно потому, что мы де не имеем никаких прав на мессианизм. „Я твердо храню в своей памяти, — пишет Потресов, — что это не в первый раз Пошехонье спасает Европу". Как видим, при помощи национального самоуничижения достигаются совершенно те же цели, что и при помощи национальной гордости: хоть Потресовы и Масловы самоотверженно напоминают, что в культурном смысле мы все еще — „кувшинное рыло", но *именно поэтому* они требуют, чтоб мы, без претензий и наперекор русской поговорке, становились в общий калашный ряд с „союзными" социал-патриотами.

Самоуничижение паче гордости. В. И. Засулич скорбит, что российский обыватель все еще, как и в дни Щедрина, смешивает участок с отечеством. Где же в самом деле ждать от этого пошехонца, хотя бы и революционного, подлинного интернационализма? Но это обличение российского варварства, где участок все еще продолжает пожирать отечество, нисколько не препятствует В. И. Засулич богомольно вздыхать: „Я желала и продолжаю желать *возможно более полного* поражения Германии". И если В. И. Засулич желает поражения Германии, да еще более полного — и откровеннее других говорит об этом — то не потому конечно, чтоб она, вместе с депутатом — казаком Карауловым, поклялась заключить мир не иначе, как на развалинах Берлина и на костях

Англии и Австралии является образцом классовой независимости? Не повторял ли, наоборот, сам Маслов десятки раз объяснение идейной зависимости английского пролетариата от самой старой и могущественной буржуазии? Еще более характерно неуклюже-плутоватое умолчание о Германии: ведь, именно политику ее пролетариата, а не австралийского, русские марксисты привыкли считать наиболее зрелой.

Вильгельма, — нет, Берлин В. И. вероятно по доброте сердца пощадит, — но она глубоко уверена, что поражение Германии сослужит, между прочим и в самой Германии, великую службу „тому будущему, к которому стремится пролетариат". Выходит стало быть, г. Потресов, что как раз Пошехонье-то и призвано спасать Европу, — только не революционное Пошехонье, которое, по вашему, все еще не научилось отличать отечество от участка а именно само это пошехонское отечество, которое в работе военного спасения Европы совпадает и целиком и сознательно отожествляет себя с участком. И сам Потресов, который в своей статье надевает на себя потрепанный парик отчаянного „западника" („я оптимист для Запада, я пессимист для Востока"), ведь, и он начал свою социал-патриотическую ориентацию с исследования об особо угрожающих свойствах прусского милитаризма и о необходимости сломить ему рога соединенными силами „западных демократий" и... восточного Пошехонья. Вот такими же западниками, в париках на прокат, выступают все авторы „Самозащиты", когда они презрительно тычут пальцами в русских интернационалистов, объявивших войну политике Гэда, Вандервельде, Гендерсона и просвещенных „австралийцев". Завтра, если в войну вступят Соединенные Штаты, „западники" из „Самозащиты" могут воскликнуть: „Глядите, как наши революционные пошехонцы собираются учить уму-разуму самого Гомперса".

Мы в следующий раз посмотрим, в какой мере русский интернационализм действительно заключает в себе „мессианистические" черты, и за какими пределами эти черты становятся исторически незаконными и политически опасными. Но поистине необходима вся идеологическая подвижность, чтоб не сказать политическая распутность „начитанного" российского интеллигента, чтобы, заявляя себя „пессимистом Востока и оптимистом Запада", обвиняя русских интернационалистов в доморощенном революционном высокомерии по отношению к Западу, благословлять в то же время христолюбивую рать Востока, как прогрессивный фактор в дальнейшем развитии этого самого Запада. Pfui Teufel! (тьфу, чорт!) говорят в таких случаях немцы,—те, которым свойственно чувство идейного стыда.

* * *

Но какое же все-таки объективное место в истории занимает интернационализм передовых рабочих кругов России? Авторы „Самозащиты"—и не они одни—считают его просто продуктом отсталости,—максимализмом младенческого возраста, по Маслову,—и стало быть исторически неустойчивым состоянием, на смену которому должно притти национально-патриотическое сознание. В этом именно смысле Потресов и говорит, что „в России все еще нет патриотизма, как массового явления; и потому дорваться России до патриотизма, значит дорваться до Европы"... Только на основе патриотического самосознания можно строить действительную политику международной солидарности: „интернационализм является — по Потресову — дальнейшим развитием патриотизма"...

Рассуждения эти бьют гораздо дальше, чем может показаться на первый взгляд. Интернационализм является „дальнейшим развитием" патриотизма ровно в той мере, в какой социализм является „дальнейшим развитием" либерализма. Чисто-логически (то-есть метафизически) можно разумеется „конструировать" интернационализм, как расширение патриотизма на все человечество. Но исторически социализм и интернационализм вырастают из либерализма и патриотизма путем революционного отрицания, воплощенного в классовой борьбе пролетариата. Если для Масловых и Потресовых русский интернационализм есть только болезнь незрелости или рефлекс отсталости, то это потому, что для них, по существу дела, весь самостоятельный характер русского рабочего движения является ненормальностью, и вся российская социал-демократия, как она политически оформилась в эпоху революции, представляется им историческим выкидышем.

„В равнодушии обывателя, которому в глубокой мере безразлично, больше или меньше в России десятками губерний..."— пишет Потресов,—(мы) склонны усматривать высший политический разум свежеиспеченного гражданина мира". Под углом зрения политического развития такого обывателя Потресов и восклицает: „Дорваться России до патриотизма, значит дорваться до Европы!" Но, ведь, для этого внеклассового потресовского обывателя, еще не заинтересовавшегося географической картой России, огромным шагом вперед явится, например, и вся программа Милюкова. Значит, Потресов может с полным правом сказать—

и по существу он говорит это: „дорваться России до *либерализма*, значит дорваться до Европы". По адресу российской социал-демократии это значит просто, что она обсчиталась, родившись примерно на четверть столетия раньше, чем ей полагалось бы по потресовскому маршруту. Самый этот маршрут: от пошехонского тупоумия через патриотизм (либерализм) к интернациональному социализму, если хотите, теоретически правилен—в том смысле, в каком, например, правилен экономический маршрут: от ремесла—через мануфактуру—к фабрике. В эту последнюю схему прекрасно укладывается экономическое развитие Европы в целом. Но кто захочет механически применить ее к изолированно взятому экономическому развитию России, тот либо совсем отбросит в отчаянии схему, либо признает экономическое развитие России... ошибочным: европейская фабрика стала завоевывать Россию прежде, чем „естественное" развитие последней дошло не только до мануфактуры, но и до европейского ремесла. Сообразно с этим промышленная отсталость России—в данных условиях мирового хозяйственного развития—выражается, между прочим, в чрезвычайно концентрированном характере русской индустрии. Отсюда вытекают, в свою очередь, важнейшие социальные и политические последствия—для судьбы того самого обывателя, теоретиком которого хочет быть Потресов. Если этот обыватель—рабочий, то он выбивается из каратаевского тупоумия не принципами либерализма, а эксплуатацией либерального фабриканта. Прежде чем этот рабочий заинтересуется, как следует, картой России, он успеет пропитаться классовой враждебностью и эксплуататорам, и этот уже на первых шагах пробужденный обостренный классовый антагонизм не даст его дальнейшему знакомству с отечественной картой окраситься в цвет патриотизма.

Русский капитал „дорывается до Европы" в форме трестов, объединяющих гигантские предприятия, где применяется последнее слово техники,—и никакой Маслов не станет внушать русским предпринимателям, что мануфактура прошлого века для них в самый раз, ибо у нас существуют-де еще отработочное земледелие и жалкое кустарничество. Но когда русский рабочий „дорывается до Европы" в форме революционного интернационализма, Потресов одергивает его поучением, суть которого может быть выражена так: „Признай свою некультурность и ступай на

выучку к патриотизму!" Потресов по существу дела только обновляет применительно к моменту старый лозунг Петра Струве.

Но в политическом содержании этих двух призывов есть огромная разница, которая определяется всем содержанием истекших полутора-двух десятилетий. Струве непосредственно звал лишь марксистскую интеллигенцию в лагерь либеральной оппозиции, которая делала тогда свои первые робкие „внеклассовые" шаги. Потресов же зовет ныне, в 1916 г., во время европейской войны, социалистических рабочих в лагерь патриотической оппозиции, руководимой империалистическим капиталом.

Революционное крыло марксистской интеллигенции сумело 15 лет тому назад ответить на призывы Петра Струве словами: *„Пошел вон!"*. Мы считаем, что революционные рабочие обязаны теперь эту краткую формулу обновить по адресу Потресова.

„Н. Сл.", 9—22 марта 1916 г.

К. Каутский об Интернационале.

Некий товарищ, несогласный с обвинениями против Каутского со стороны левых интернационалистов, обратился к нему с просьбой ответить на ряд вопросов и пояснить некоторые из прежних своих утверждений. Каутский ответил своему корреспонденту письмом, которое и появилось на-днях в „Berner Tagwacht", в качестве политического документа. Мы считаем необходимым привести это письмо целиком.

„Дорогой товарищ! Благодарю вас за ваше письмо и спешу ответить на ваш вопрос, насколько это возможно в кратком открытом [1]) письме.

1. Мое замечание, что „Интернационал не является действительным орудием в войне, что в основе своей он—инструмент мира", имеет двоякий смысл.

а) Прежде всего — констатирование того факта, который другие люди характеризуют, как „капитуляцию" или „крушение" Интернационала. Я не захожу так далеко и говорю только: „Интернационал сильнее всего во время мира, слабее всего во

[1]) Очевидно, имеется в виду цензура.

время войны". Кроме того, я отличаюсь от этих других людей тем, что я вижу в данном случае массовое явление, которое надлежит объяснить из условий; проблему, которую нужно исследовать,—а не проступок, вытекающий из ничтожества нескольких человек. Объяснять таким путем исторические массовые явления кажется мне совершенно немарксистским.

б) Если я говорю, что Интернационал есть преимущественно инструмент мира, то это не должно означать, что Интернационал должен молчать во время войны. Это противоречит всему моему стремлению снова привести Интернационал в движение. Приведенное выражение должно лишь обозначать важнейшую задачу Интернационала во время войны. В своей работе „Интернационал и война" я говорю: „Интернационал должен пробудиться для новой жизни и для новой деятельности, как только обнаружится возможность действий в пользу мира. Тогда снова наступит время для Интернационала, как инструмента мира, и тогда должно будет обнаружиться, ослабила ли война его силу или нет. Тогда мы увидим, ослабил ли „национальный пароксизм" интернациональные мысль и чувство, или же, наоборот, они победоносно сохранили всю свою силу и найдут свое выражение в единодушном присоединении к интернациональной программе мира. Если это удастся, тогда будет достигнуто многое. И мы вправе ожидать этого" (стр. 39).

Здесь, следовательно, я ясно определяю задачу Интернационала во время войны. Я писал эти строки в первые недели войны и выразил в них задачи, которые с того времени действительно поставлены перед Интернационалом. Далее этого, насколько я знаю, не пошла до сих пор ни одна большая социалистическая партия.

2. Мое отношение к вопросу об обороне (страны) совпадает с отношением Гаазе. Больше на этот счет здесь нет возможности сказать.

3. Вы спрашиваете, как понять мое замечание, что „эта война не империалистическая". Я, однако, никогда не говорил этого. В моей брошюре „Национальное государство, империалистическое государство" и пр. я говорю:

„*На первый взгляд* нынешняя война не является империалистической. И, однако же, она именно такова, но лишь в последнем счете" (стр. 64). Это значит, что империалистические стре-

мления создали для себя орудия, которые в некоторых государствах достигли такой силы и самостоятельности движения, что оказались способны — поверх империалистических тенденций и потребностей—порождать конфликты. Далее, империалистические тенденции являются новейшими, но не единственными тенденциями, действующими во внешней политике современных держав. Другие тенденции, династические или национальные, унаследованные от прежних времен, действуют наряду с империалистическими—особенно на такие классы, которым нечего ждать от империализма. Ни эльзасский, ни польский вопросы не созданы современным империализмом. Этот последний образует исходный момент, но не все содержание нынешнего военного конфликта.

Я, следовательно, не отклоняю объяснения войны из империализма, но я не ограничиваюсь этим объяснением, как слишком упрощенным. Точно так же, например, я не могу при объяснении известной стачки ограничиваться ссылкой на теорию прибавочной стоимости. Но это не значит, ведь, что я отвергаю эту теорию.

На этот счет, как и по поводу двух первых вопросов, можно было бы многое сказать, но длинные письма не могут надеяться на скорую пересылку; я должен поэтому ограничиться сказанным, несмотря на все желание высказаться еще по поводу „социал-пацифизма".

Мне слишком часто приходилось в течение моей 42-летней партийной деятельности выслушивать брань одинаково справа и слева, чтобы это могло меня ныне приводить в возбуждение.

С лучшим приветом Ваш Каутский".

В письме Каутского есть недоговоренности, вызванные цензурными соображениями, на которые он сам ссылается. Но главные недоговоренности письма вызываются, по нашему мнению, более глубокими причинами, коренящимися в самой позиции автора.

Свое утверждение: „Интернационал есть по преимуществу инструмент мира", Каутский истолковывает не в том смысле, что во время войны Интернационалу нечего делать, а в том, что его главной задачей является борьба за мир. Но в то же время Каутский в том же самом афоризме своем констатирует — и не просто констатирует, а обобщает — тот факт, что „Интернационал сильнее всего во время мира, слабее всего во время войны". Но бороться за мир приходится—во время войны. Если под

борьбой за мир понимать действительно борьбу, то-есть вмешательство пролетариата, вооруженного такими методами и средствами, которые действительно могут парализовать работу милитаризма, тогда очевидно, что такого рода тактика предполагает исключительную силу Интернационала. Если же верно, что этот последний слабее всего во время войны, то смешно и ставить перед ним такие задачи. Каутский по существу дела и не ставит. Акция за мир, если мы верно понимаем смысл его письма, находит свое выражение в „единодушном признании международной программы мира". Гюисманс, как известно, не без успеха доказывал, что такое единодушие уже достигнуто: ведь, Копенгагенская конференция нейтральных, Лондонская конференция „союзных" и Венская конференция австро-германских социал-патриотов высказались за мир без аннексий. Но совершенно ясно, что все эти формулы так же мало способны сами по себе сократить войну, как и „формулы" той молитвы за мир, какую Бенедикт предписал французским, немецким и иным католикам. Формулы получают свое значение только, как программа борьбы. А борьба в условиях войны предполагает революционную силу. Между тем мы слышим, что Интернационал слабее всего во время войны, то-есть тогда именно, когда от него требуется наибольшая сила. Ясно, что Каутский заводит нас в тупик.

— Но, ведь, я не говорю ничего другого (возражает Каутский), кроме того, что в более резкой форме говорят мои критики слева, когда констатируют „крушение" Интернационала.

На самом деле тут большое недоразумение — столько же теоретическое, сколь и политическое. Когда мы говорим о крушении Интернационала, то имеем в виду определенное историческое образование, Второй Интернационал, как он сложился на парламентарном и профессиональном базисе в эпоху, когда классовые и международные противоречия „органически" накоплялись, не приходя к открытым конфликтам, — революциям и войнам. Но мы меньше всего думаем, будто Интернационал фатально обречен на бессилие в эпоху империалистических войн. Наоборот, только в непосредственной массовой борьбе против войны и империализма может сложиться и сложится могущественное, в действиях закаленное объединение международного пролетариата. Новый Интернационал включит в себя, революционно переработав, огромную агитационную и организационную работу несколь-

ких социалистических поколений и сосредоточит энергию пролетариата на тех задачах и методах борьбы, которые отвечают характеру нынешней эпохи империалистических потрясений. В противоположность Каутскому мы считаем, следовательно, что слабым был именно тот Интернационал, который вырос и сложился, как „инструмент эпохи мира", — и мы ждем, что могущественный Интернационал сложится, как революционный „инструмент" эпохи войн.

Уже из сказанного видно, что мы отнюдь не сводим причины социалистического кризиса к „ничтожеству нескольких человек". Мы объясняем этот кризис из исторических условий, и в этом анализе мы находим гарантию против скептицизма или фатализма. Мы остаемся верны революционному духу марксизма, когда не ограничиваемся анализом причин крушения Интернационала, а ведем решительную борьбу с теми, которые явились и остаются активными агентами этого крушения, ибо: недостаточно истолковывать мир, — нужно переделать его!

Недостаток места не позволяет нам сейчас останавливаться на остальных частях письма Каутского, которое является конспективным комментарием к политической позиции Гаазе и его друзей. Нет никакого сомнения, что эта группа сыграла и продолжает играть огромную роль в эволюции широких кругов партии во время войны. Но помогая своим авторитетом десяткам и сотням тысяч рабочих освободиться от навязываемого им путем организационной дисциплины „бургфридена", Каутский своими уклончивыми, ни в одном актуальном вопросе не доведенными до конца, формулами задерживает сознание этих широких кругов на полпути. И если Каутский — как и Гаазе или Ледебур — является нашим и наших ближайших единомышленников в Германии *политическим союзником*, то „Письмо" его снова напоминает нам, что союз с Каутским должен в настоящих условиях дополняться *систематической идейной борьбой против его бесформенного и выжидательного пацифизма.*

„Н. Сл.". 26 апреля 1916 г.

Стратегия и социалистическая политика.

Под этим заглавием я отправил в швейцарскую социалистическую прессу письмо, вызванное новой фальсификацией Грумбаха-Ното. Не будучи уверен, что письмо, при нынешних почтовых порядках, дойдет по назначению, я считаю необходимым огласить его одновременно на столбцах „Нашего Слова".

Я получил здесь от своих друзей брошюру С. Грумбаха „Заблуждение Циммервальда-Кинталя", представляющую его реферат, прочитанный в Берне 3 июня 1916 г.

Я не собираюсь вести с автором брошюры принципиальную полемику. Но я прошу вас отвести мне место для того, чтобы исправить его ложные утверждения на мой счет. Преследуя непосредственно личную цель, совершенно законную и естественную: протестовать против недобросовестного употребления, которое делает Грумбах из моей брошюры в интересах того дела, которому он служит, — я надеюсь в то же время показать на этом примере те приемы, которые характеризуют Грумбаха-Ното, главного осведомителя Франции о жизни германского социализма.

„К Циммервальду-Кинталю, — говорит он, — присоединяется также и Троцкий; немногие так резко нападали на французскую партию, как он, за ее позицию в этой войне и за практическое проведение ею принципа национальной обороны. И однако же именно он в своей брошюре „Война и Интернационал" сделал утверждения, которые являются наилучшим (die denkbar beste) обоснованием позиции французских социалистов [1]). Грумбах цитирует прежде всего следующие строки моей брошюры: „Не видеть, что политика юнкеров требовала разгрома Франции, может только тот, у кого есть основание закрывать глаза. Франция, — вот враг!" Эта цитата не является, однако, ни прямым ни косвенным аргументом в пользу французского социал-патриотизма, она лишь является доводом против тех *немецких* социал-патриотов, которые делали себе прикрытие из „войны против *царизма*". Указав, что

[1]) С этим утверждением, что моя брошюра дает обоснование французскому социал-патриотизму, не бесполезно сопоставить два других факта: 1) перевод части брошюры в покойном „Голосе" дал повод Вороновым зачислить автора в... пангерманисты; 2) в Германии распространение брошюры вызвало аресты, причем автор брошюры заочно приговорен к тюремному заключению.

главным врагом немецкого империализма является Англия, но что военный путь к ней ведет через Францию и отчасти через Россию, я писал, что на направление войны имеют влияние не социалисты, а господствующие юнкеры, для которых предметом ненависти является не Россия, а республиканская Франция. Это утверждение было совершенно достаточно для моей аргументации против тогдашнего немецкого социал-патриотизма, рядившегося в революционный антицаристский костюм. Но если бы Ренодель, или его Грумбах попытались вывести из этих слоев обратную теорему — о том, что борьба Франции против Германии есть борьба республики против монархии, им пришлось бы умалчивать о России, как их немецким партнерам приходилось молчать о Франции. Важнее всего, однако, для решения вопроса то, что нынешняя война вообще ни в каком смысле не является столкновением политических форм или принципов государственного строя: это война империалистических притязаний, по отношению к которым различные государственные формы играют лишь роль более или менее пригодных орудий. Именно эта мысль проходит через всю мою брошюру.

Вот вторая цитата, приведенная Грумбахом: „Чем упорнее должно становиться сопротивление Франции, которой действительно приходится сейчас защищать свою территорию и свою независимость от немецкого наступления, тем вернее она приковывает и будет приковывать немецкую армию к своей Западной границе". И эта цитата направлена по тому же адресу. Немецкие социал-патриоты изображали наступление на Бельгию и Францию, как второстепенную работу, которую нужно выполнить для осуществления главной задачи: „низвержения царизма".—Но, ведь, не думаете же вы, возражал я, что Франция не будет сопротивляться Гогенцоллернской армии? А чем глубже увязнут немецкие войска на путях к Парижу, тем очевиднее станет, что „низвержение царизма" не является и не может явиться ни целью войны, ни ее самостоятельным результатом. В каком смысле эти соображения, формулированные осенью 1914 года и вполне подтвердившиеся впоследствии, обосновывали тактику Реноделя, Грумбах не поясняет. Но для него имеет, повидимому, решающее значение мое указание на то, что Франция, преграждая немецким войскам путь к Парижу, защищала свою территорию. Читая Грумбаха, можно, в самом деле, подумать, что интернационалисты игнорируют

военно-топографическую карту войны, и в частности оккупацию Бельгии и северных департаментов Франции. Грумбах договаривается до того, что я будто только потому не одобряю тактики Реноделя-Самба, что я за время своего последнего пребывания во Франции впал в крайнее „ожесточение" против французской социалистической партии, которое мешает мне видеть признававшиеся мною ранее коренные различия (стр. 73). Вопрос был бы, в самом деле, очень прост, если бы достаточно было констатировать тот факт, что немецкие войска стоят в Нойоне, чтобы оправдать участие социалистов в министерстве, голосование за кредиты, и полное прекращение социалистической борьбы. Возражая немецким социал-патриотам, доказывавшим, что именно их правительство ведет „оборонительную" войну, и подвергнув анализу крайне противоречивые в политическом смысле критерии нападения и обороны, я писал: „Но в данном случае все они (критерии) единодушно свидетельствуют, что военные действия Германии ни в каком случае нельзя втиснуть в понятие оборонительной войны,— *что впрочем для тактики социал-демократии не имеет никакого значения*" (стр. 33) — разумеется, в условиях нынешней империалистской войны. Я доказывал, что если даже ограничиваться вопросом об охране национальной неприкосновенности, то и тогда мы, как партия пролетариата, не имеем права сливать свою задачу с работой национального милитаризма. „Разрывая Интернационал на части, — писал я, — социал-демократия уничтожает единственную силу, которая способна противопоставить работе штыка программу национальной независимости и демократии и в большей или меньшей степени осуществить эту программу — *независимо от того, какой из национальных штыков будет увенчан победой*" (стр. 40). Это именно требование, чтобы наша тактика в эпоху империалистической войны была независима от военно-стратегической ситуации, формулировала со всей категоричностью конференция в Кинтале. Разумеется, то или другое военное положение страны может оказывать очень сильное влияние на настроение народных масс и может, в сочетании с другими факторами, ослаблять или усиливать влияние интернационалистской пропаганды. Но никакое положение страны не может оправдывать капитуляции социализма. Наоборот, если в государстве, часть территории которого занята неприятельскими войсками, массы становятся восприимчивее к националистической идеологии, то

тем непримиримее должно оставаться на своем посту социалистическое меньшинство, как единственный оплот против шовинистического потопа. Вот почему я в военно-стратегическом положении Франции не находил и не искал оправдания для поведения французской партии, которое, к слову сказать, определилось, в первый же день войны, т.-е. прежде чем определилось стратегическое положение. В предисловии к своей брошюре я писал: „Крушение Второго Интернационала есть трагический факт, и было бы слепотой или трусостью закрывать на него глаза. *Позиция французского и большей части английского социализма является такой же частью этого крушения,* как и поведение немецкой и австрийской социал-демократии". Таким образом мне незачем было переезжать в Париж и впадать в „ожесточение" против французской партии, как инсинуирует Грумбах, чтоб признать политику Реноделя-Самба смертельно враждебной интересам пролетариата.

Но если что в Париже действительно не раз вызывало „ожесточение" — и отнюдь не только у меня — так это та информация, какую Ното поставляет Реноделю. Держась вначале в общем тех же сравнительно „осторожных" методов, какие он применил к моей брошюре, Ното, толкаемый обострением борьбы внутри социализма, вынужден прибегать ко все более и более грубым приемам. Его статьи о Кинтальской конференции были вполне достойны желтой журналистики. Но еще позорнее, если возможно, была его выходка против нашего сербского друга Кацлеровича, которого он представил как агента Австро-Венгрии. Именно сербские социалисты дают пример высшей верности принципам интернационала — в стране, стратегическое положение которой не вызывает никаких сомнений. Но, ведь, именно поэтому-то Ното, выполняя задание своих нынешних хозяев, клевещет на Кацлеровича, который — о, ужас! — получил проходное свидетельство в австро-венгерском консульстве, чтобы вернуться к своему несчастному народу.

„Н. Сл.", 22 августа, 1916 г.

„Гарантии мира".

К характеристике пацифизма.

Пацифизм характеризуется, вообще говоря, стремлением создать „гарантии" против войн. Буржуазный пацифизм, вытекающий не только из идеологических предрассудков, но и из материальных интересов известных кругов буржуазии, хочет установить на капиталистических основах, которых он не отвергает, международные правовые нормы (правила, установления), которые обеспечивали бы долгий, если не вечный мир. Социалистический пацифизм „в принципе", разумеется, признает, что основной причиной войн являются капиталистические противоречия, но считает, что впредь до наступления социализма, которое в сознании оппортунистов отодвигается всегда в туманную даль, необходимо и возможно „упорядочить" международные отношения путем установления международного третейского суда, ограничения и международного регулирования вооружений и пр. и пр. Социал-пацифистская программа, как и программа буржуазного пацифизма, ставит своей задачей гармонизацию, упорядочение, регулирование международных отношений—в эпоху, когда выросшие из капиталистического развития империалистические антагонизмы непреодолимо возрастают и будут возрастать, доколе существует капиталистическая форма хозяйства. Социал-пацифизм, следовательно, прежде всего глубоко *утопичен.* Серьезные буржуазные писатели и политики, когда они пишут для своего круга, а не для „народного" потребления, дают нередко убийственные аргументы против пацифистских идей и лозунгов, ставших главным политическим орудием социал-патриотизма,—особенно французского,—как марки Реноделя, так и марки Лонге.

В английском журнале „Nineteenth Century" лорд Кромер напечатал на тему о „последней войне" и „долгом мире" в высшей степени интересную статью, которая—судя по изложению ее во французской газете „Eclair",—дает чрезвычайно ценные аргументы в пользу... кинтальской резолюции, категорически отвергающей, как известно, пацифистские лозунги.

Прежде всего, лорд Кромер совершенно правильно констатирует, что программы вечного мира возникали не раз в эпохи

великих войн. „Так, эта идея была широко распространена, когда, после битвы у Ватерлоо, Европа свергла иго Наполеона,—его падение возвещало, казалось, наступление царства всеобщего мира". Как и теперь нам обещают всеобщий мир—после „разрушения" прусского милитаризма...

В одном, как и в другом лагере утверждают, что нужно итти „до конца"—именно для обеспечения мира: нужно сразить противника, обуздать его или обескровить, дабы помешать ему в близком времени начать новую войну: „нужно избавить наших сыновей от тех страданий, какие переносим мы". Эта идея также не нова. В своей книге „Чтобы покончить с Германией" г. М. Прива приводит, в качестве эпиграфа, заявление Комитета Общественного Спасения в 1794 г.: „Франции не перемирие нужно, но мир, который положил бы конец войнам, обеспечивая за республикой ее естественные границы". Сейчас, когда „Temps", помимо Эльзас-Лотарингии, выдвинул требование „естественных границ" (левый берег Рейна), официоз республики тоже прикрывается идеей „мира, который положил бы конец войнам". Народы, к несчастью, плохо знают свою историю, и поэтому они так плачевно делают ее.

* * *

Английскими пацифистами, в частности International Defence League, разработано было за последнее время не мало проектов, имеющих целью положить конец войнам. В основе этих проектов всегда лежит идея третейского суда, или верховного „совета наций", решения которого должны пользоваться обязательной силой. Но как обеспечить ее? Одни предлагают предоставить в распоряжение третейского суда „интернациональную" армию и такой же флот, чтобы силой обеспечивать соблюдение международных постановлений. Другие же более скромно предоставляют по-прежнему каждой нации ее национальную армию—„под условием", чтоб эта армия употреблялась только против нарушителей международного права и постановлений третейского суда. Таким образом, для обеспечения вечного мира нужны будут, как видим, время от времени... „справедливые" войны.

Международная военная сила, говорит Кромер, созданная как орудие принудительного выполнения постановлений третейского суда, должна необходимо повлечь за собою уменьшение

или полное упразднение национальных армий. „Но Англия, — заявляет наш автор, — никогда не согласится ослабить свой флот, в котором она видит свою главную защиту", т.-е. защиту своего империалистического господства над морями и колониями. Если так рассуждает Англия о флоте, то было бы трудно ожидать, — говорит „Eclair", — чтоб континентальные державы иначе рассуждали о своих армиях. Далее. Каков будет состав третейского суда? Неужели все страны будут иметь в нем равное право голоса? Кромер уверен, что могущественная Англия никогда не согласится на это. Можно ли предполагать, что судьи, делегированные Англией, постановят приговор против Англии? А если Англия откажется выполнять постановления третейского суда: можно ли думать, что английские солдаты в составе интернациональной армии будут с оружием в руках принуждать свою собственную страну к подчинению? Кромер сомневается в этом. И в обоснование своих сомнений он приводит очень яркий исторический пример: войну Англии с бурами. Весьма вероятно, говорит он, что третейский суд признал бы в этом случае Англию неправой. Но Англия вероятнее всего... не признала бы третейского суда.

* * *

Какими критериями должен был бы руководствоваться третейский суд, если б его удалось установить? Критериями обороны и нападения? Реалистический буржуазный писатель начисто отвергает этот принцип, достойный нотариуса, а не политика. Священный Союз, напоминает он, создал свои „гарантии мира", основанные на порабощении народов. Можно ли было считать этот порядок неприкосновенным? В 1859 — 1860 г.г. итальянцы сознательно вызвали войну с угнетательницей — Австрией: значит ли это, что „право" было на стороне Габсбургов? В 1912 году балканские страны напали на Турцию. Значит ли это, что „право" было на стороне империи османов? Нет, заключает Кромер, мы знаем войны наступательные сначала до конца и в то же время освободительные, т.-е. исторически-прогрессивные. Но если так, то всякое правительство, открывая наступление, может провозгласить свою войну освободительной? „Здесь именно и заключается почти неразрешимая трудность", меланхолически свидетельствует „Eclair".

Можно было бы, правда, возразить английскому лорду, что в будущих войнах, как и в нынешней, все *главные участники являются представителями одного и того же классового принципа;* что стало быть, о „справедливых", т.-е. исторически-прогрессивных войнах теперь вообще говорить не приходится. На этих столбцах мы не раз выясняли, что борьба за мировое положение капиталистических наций есть основной „принцип", которому подчиняется теперь целиком как международная политика капиталистических государств, так и их внутренний режим. Возможны, правда, на первый взгляд „справедливые" войны угнетенных, колониальных и полуколониальных стран против угнетающих их империалистических государств. Но при нынешних мировых отношениях и группировках сил ни одна колония, ни одна угнетенная нация не может вести освободительной войны, не опираясь на какую-либо империалистическую державу, или не играя роли орудия в ее руках. Никакого *самостоятельного* значения „национальные" войны отсталых народов больше иметь не могут. Но это совершенное капиталистической историей упрощение дела, приведение международной политики и вырастающих из нее войн к одному империалистическому знаменателю, нисколько не облегчает задачи создания гарантий мира на основах капитализма. Объявить нынешние границы, или те, которые проложит война, неприкосновенными — нетрудно: это уже делалось в истории не раз. Никакие трактаты и никакие третейские суды не приостановят, однако, роста производительных сил, их натиска на рамки национального государства и стремления этого последнего расширить арену эксплуатации национального капитала при помощи милитаризма. Полная невозможность заморозить раз навсегда, или хотя бы надолго, мировое соотношение капиталистических сил обрекает пацифистские планы и лозунги на совершенное бессилие.

И вот почему, ознакомившись с полемикой между лордом Кромером и английскими пацифистами, — заключает „Eclair", — вы начинаете испытывать опасение, „не прав ли благородный лорд, который в предложенных пацифистами системах видит одни химеры".

* * *

В заключение мы считаем полезным воспроизвести из кинтальской резолюции те места, которые посвящены критике паци-

физма и которые г. Ренодель с таким негодованием цитировал на последнем Национальном Совете, как свидетельство полной нравственной закоснелости циммервальдцев.

„Планы — устранить военную опасность посредством всеобщего ограничения вооружений и обязательного арбитража — являются утопией. Они предполагают заранее всеми признанное право и некую вещественную силу, возвышающуюся над противоположными интересами государства. Такого права, такой силы нет, и капитализм со своей тенденцией обострять противоречия между буржуазиями разных народов, или их коалициями, не допустит создания такого права и такой силы".

„Из этих соображений рабочие должны отвергнуть *утопические требования буржуазного или социалистического пацифизма.* Пацифисты порождают на место старых иллюзий новые и пытаются поставить пролетариат на службу этим иллюзиям, которые в конечном счете вводят в заблуждение массы, отклоняют их от революционной классовой борьбы и благоприятствуют политической игре под лозунгом „jusqu'au bout" (до конца)".

„Если на почве капиталистического общества нет никакой возможности установить длительный мир, то социализм создает его предпосылки. Социализм, который уничтожает капиталистическую частную собственность, устраняет одновременно с обездолением господствующими классами народных масс и с национальным угнетением также и причины войн. Поэтому борьба за длительный мир может заключаться только в борьбе за осуществление социализма".

„Н. Сл." 1 — 2 сентября 1916 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

Аберсон 198
Августин 333
Авдаков 234
Авксентьев 15, 215, 221, 222, 270, 338
Адлер, В. 8, 37, 38, 39, 49, 51, 52
Адлер, Ф. 37, 38, 39, 43
Адрианов 259
Азеф 294
Акимов 19
Аккамбрей 183, 184, 185, 186
Аксельрод 18, 25
Александр III 179
Алексинский 15, 42, 204, 212, 221, 270, 324, 334, 335, 336, 337
Альберт I 202, 206 211
Анзеле 69
Аракчеев 269
Аргунов 215, 270, 338
Артем (Сергеев) 26, 27
Асквит 49, 189, 190, 191
Аустерлиц 8, 49, 52

Балабанова, А. 26
Баллод 147
Барк 283
Бауер, О. 14, 49, 51
Бебель 22, 23, 48, 52, 61, 99, 105, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 129, 132, 139, 305, 307, 327, 328
Бейлис 57
Белецкий 272
Белинский 16
Белоруссов 213, 214
Бенедикт XV 353
Бердяев 333
Бернштейн 21, 22, 28, 90, 94, 96
Берхтольд 52
Бетман-Гольвег 96, 109, 123, 126, 127, 188, 196, 209
Бибик, А. 339, 343, 344
Бисмарк 112, 113, 114, 116, 120
Бланки 11
Бобринский, 239 278, 296, 298
Бота 189
Ботлер 287
Брак 286
Брентано 18, 147
Брешковская 15
Бриан 11, 126, 158, 159, 160, 173, 176, 177, 179, 182, 184, 185, 194, 195, 196, 203, 206, 207, 283, 284
Брио 162
Бронский, М. 26
Булгаков 333
Бунаков 215, 221, 270, 338
Бурдерон 211
Буржуа 177
Бурцев 215, 293, 295
Бурьянов 270
Бэнвиль, Жак 201, 202, 203

Вальян 11, 181, 305, 308
Вандервельде 5, 49, 69, 204, 205, 229, 250, 313
Ван-Коль 212
Вендель 63, 94, 116
Венизелос 164
Вивиани 59, 60, 61, 158, 170, 173, 175, 176, 177, 219, 316
Виктор-Эммануил III 202
Вилли 68
Вильгельм II 24, 27, 77, 83, 95, 96, 101, 102, 121, 124, 125, 185, 208, 209, 210, 275, 318, 335, 347.
Вильсон 24, 197, 207, 332
Винарский, Л. 36
Витте 230, 232
Владимиров, Л. 26
Волконский 238
Вольский 343
Воронов 215, 270, 338, 355
Восторгов 294, 295

Гаазе 49, 63, 109, 115, 122, 124, 220, 305, 306, 307, 351, 354
Габсбурги 82, 83, 89, 90, 94, 117, 303, 361
Гайндман 132, 191, 210, 220
Галлиффе 190
Гальени 157, 159, 172, 176, 185
Гамбета 297
Ганзен, Генри 147
Гартинг 59
Гвоздев 216
Гейер 39
Heileman 10

Гейне, В. 142
Гендерсон 193, 347
Геннадиев 164
Георг V 202, 211
Герцен 16, 215
Гетцендорф 55
Гильфердинг 14, 318
Гинденбург 96, 105, 186, 208, 209, 339
Гладстон 192
Гомперс 347
Горемыкин 211, 260, 267
Грегус 231, 337
Грей 127
Грейлих 48, 49
Гримм 220
Грумбах 355, 356, 357, 358
Гурлянд 204, 270
Гурко 279
Гучков 216, 237, 238, 241, 244, 275
Гэд, Ж. 11, 126, 168, 170, 171, 177, 260, 264, 310, 316
Гюисманс 69, 353
Гюнтер, Р. 68

Дарвин 70
Дашинский 55, 86
Дезобри 271
Дейч, Ганс 8
Дейч, Л. 18, 36, 338
Дельбрюк, Г. 104
Делькассэ 126, 127, 169, 174, 175, 176
Дзюбинский 215
Дивильковский (Авдеев) 26
Дикс, Артур 106, 107, 162
Дитмар 234
Дмитриев, К. 342
Доази 200
Доброскок, Н. 62
Додэ, Л. 214
Достоевский 271, 344
Дрейфус 60
Дриан 104, 105
Дуй-Тан 200
Думбадзе 293

Жобер 170
Жордания (Ан.) 343
Жорес 11, 17, 37, 39, 59, 60, 61, 103, 122, 158, 333
Жоффр 159, 160, 176, 185, 194
Жуо 11

Залевский, К. 26
Занд 81
Засулич, В. 18, 341, 345, 346, 347
Зейц 8
Зеринг 147
Зомбарт 18, 186
Зюдекум 186, 188, 220, 221

Извольский 264, 281
Илиодор 268
Ирмер, Г. 107, 153
Иорданский 245, 257, 335

Кант 257, 264, 272, 324, 330, 331, 332, 333, 336, 337
Капюс 182, 207, 208, 290
Карагеоргиевич 397
Карамзин 344
Караулов 346
Кассо 57
Кастельно 194
Ката-Яма 325, 326, 331, 332
Катенин 235, 236
Каутский 14, 21, 22, 23, 24, 42, 115, 116, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 328, 329, 350, 352, 353, 354
Кафафов 269, 270
Кацлерович 82, 358
Квессель, Л. 110, 111
Кейр-Гарди 305
Керенский 5, 27, 241
Клемансо 160, 164, 165, 170, 178, 180, 181, 194, 195, 207, 212, 218, 219, 239, 240, 241
Клук 105
Колонтай, А. 26
Колчак 6
Комб 177
Комиссаров 293, 294, 295
Конфуций 333
Корнель 190
Коцебу 81
Кошен 177
Краснов 27
Крашенинников 259
Кромер 359, 360, 361, 362
Кропоткин, П. А. 291, 297
Крупенский 262
Крупп 77
Кубиков 339, 342
Кукольник 280
Куприн 56
Куропаткин 199
Курье, Поль-Луи 231
Кэземент, Р. 191, 192, 193

Лавров 215
Ланг, Отто 42
Лассаль 99, 110, 133, 149
Левицкий 221, 270
Ледебур 354

Лейтнер 35
Ленин 25
Либер 19
Либкнехт, В. 114, 115
Либкнехт, К. 63, 64, 183, 184, 185, 188, 209, 210, 270, 290, 307, 311, 312
Лист, Франц 107
Лозовский, А. 26
Лонге 11, 15, 207, 208, 287, 288, 289 359
Лорис-Меликов 269
Луначарский 26
Львов-Рогачевский 344
Любимов 221, 270
Люксембург, Р. 22, 23, 64, 209, 210, 211, 212, 290
Лютер, Мартин 48
Ляпчевич 82, 83
Ляхов 337

Магрини 228
Маевский 339, 343
Майерас 170
Макарий, митр. 294
Макаров 281, 282, 283, 284, 285
Маклаков 57, 234, 235, 277, 281
Маклин 193
Манасевич-Мануйлов 293, 294
Мануильский, Д. (Безработный) 13, 26
Маньков 241, 242, 257, 270
Марков 2-й 235, 273, 284
Маркс 18, 21, 22, 28, 70, 84, 87, 94, 95, 99, 106, 113, 114, 116, 118, 133, 135
Мартов 5, 13, 14, 15, 25, 26, 278
Мартынов 19, 278
Маслов 324, 325, 326, 327, 330, 331, 334, 338, 339, 342, 345, 346, 348, 349
Махмада 172
Мелин 177
Меньшиков 55
Мергейм 211
Меринг, Ф. 209, 210, 290
Мещеряков, В. 26
Милан 90
Миллер 6
Мильеран 168, 172, 176, 185
Милюков 227, 228, 229, 230, 231, 237, 238, 240, 241, 257, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 276, 286, 287, 288, 289, 290, 348
Михайловский 16, 215
Мольтке 105
Молькенбург 64, 141
Моргари 290
Морген 95
Моррас, Ш. 211
Муссолини 210, 220
Мясоедов 272, 273

Наполеон I 60, 61, 159, 360
Наполеон III 112, 113, 120
Нератов 282
Николай II 59, 102, 202, 211, 212, 221, 282
Николай Николаевич 227, 238
Носке 52, 132
Нуланс 6

Овсеенко-Антонов (А. Галльский) 12, 13, 36
О'Коннели 199

Павлович, М. 6
Парвус 22
Пашич 161, 303
Пенлеве 160
Пернерсторфер 52
Пиош, Ж. 211, 212
Платтен, Ф. 9, 41, 42
Плеве 230, 255
Плеханов 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 193, 198, 199, 209, 210, 216, 220, 221, 222, 237, 238, 244, 257, 268, 269, 270, 272, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 310, 312, 324, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337
Покровский, М. 26
Поливанов 273
Половцев 263, 264, 265, 266
Полянский, В. 26
Потресов 318, 339, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Поэ, Э. 266, 268
Прива, М. 360
Принцип, Гаврило 34
Протопопов 274, 283, 296
Пуанкаре 37, 59.
Пуришкевич 263, 269, 265, 296
Пфлюгер 40

Радек, К. 26
Радославов 164
Раковский, Х. 26, 84, 336
Рапопорт (Варин) 26
Расин 190
Распутин 57, 266, 268, 272.
Раффен-Дюжанс 170
Рачковский 335
Редмонд 191
Рейн 296, 297
Реннер 8, 14, 49, 93
Ренодель, П. 11, 170, 171, 177, 181, 190, 194, 201, 207, 208, 286, 289, 356, 357, 358, 359, 363.
Ржевский 268, 269, 270, 271, 272, 273
Рибо 160, 184

Робеспьер 276
Родзянко 335
Родионов 55
Рок 185
Роланд-Хольст 27
Роллан Ромэн 213
Росмер, А. 27
Ротштейн, Ф. 27
Рузвельт 197
Рязанов (Буквоед) 26

Савенко 339
Сазонов 127, 198, 199, 260, 261, 264, 280, 281, 339
Салтыков-Щедрин 57, 231, 266, 267, 346
Самба, М. 11, 126, 168, 170, 171, 177, 241, 260, 310, 357, 358
Свифт 217, 218
Святополк-Мирский 238, 255
Седов, Л. 340
Серайль 182
Сервантес 217
Сигг, Жан 40
Сигг, Иоанн 40
Смит, Адольф 220
Сокольников, В. 27
Сомоно 212
Сперанский 269
Стамбулов 84
Столыпин 57, 264
Струве, П. 333, 340, 350
Сухомлинов 56, 222, 246, 263, 269, 272, 273

Таке Ионеску 164
Тейден, Р. 108
Тирпиц 185, 188
Тисса 80
Тихомиров, Л. 269, 324, 336
Толстой, Л. 216
Тома, А. 168, 170, 171, 211, 221, 222, 260, 274
Трещенков 281
Троцкий 27, 212, 355
Трубецкой, Е. 261
Туцович, Д. 35
Тьер 190

Урицкий (Борецкий) 27
Успенский, Г. 53, 339

Фавр, Ж. 297
Фалькенгейн 208, 209
Фарман-Фарма 337
Ферри, Абель 195
Фишер, Р. 101
Франк, Л. 117, 126, 127
Фрейсне, 177
Фуллье, А. 60

Хвостов 211, 216, 222, 260, 261, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 282, 284, 339

Церетели 5
Цеткин, К. 211, 212

Челноков 284, 285, 286, 297
Череванин 339
Чернов 5, 15, 27, 28, 29
Чернышевский 16, 215
Чичерин, Г. (Орнатский) 27
Чудновский, Г. 27
Чхеидзе 241

Шахов 13
Швейцер 114, 116
Шейдеман 5, 209, 290, 313, 322
Шиман 108
Шингарев 274
Шуваев 273, 298
Шульгин 262, 273
Штюрмер 263, 274, 275, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 296, 297, 298

Щегловитов 57, 281
Щербатов 234, 235

Эберт 10, 209, 306
Элленбоген 52
Эмбер 339
Энгельс 22, 28, 94, 99, 102, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 246
Эрве, Г. 11, 42, 140, 162, 164, 169, 173, 194, 195, 196, 212, 220, 221, 239, 243, 250, 294, 344

Юденич 6
Юз 147

Оглавление первого тома.

СТРАН.

Предисловие к первому тому.

ВВЕДЕНИЕ 7
В Австро-Венгрии 7
В Швейцарии 9
В Париже 11
„Голос" и „Наше Слово" 12
Мартов 13
Г. В. Плеханов 15
К. Каутский 20
„Наше Слово" и „Социал-Демократ" 24
Сотрудники 26
Г. И. Чудновский 27
Газета Чернова 27

I. Из Австрии — в Швейцарию.

Сербские террористы и французские „освободители". Венские настроения в первые дни войны 33
Настроения в Австрийской социал-демократии.— Виктор Адлер.— Отъезд в Цюрих 37
Швейцарская социал-демократия. — Грютли. — Эйнтрахт. — Фриц Платтен.— Немецкая брошюра „Война и Интернационал".—Социалистическая приписка к штабу 40

II. Первые недели войны (из швейцарского дневника).

7-го августа 47
9-го „ 48
10-го „ 51
11-го „ 53
12-го „ 53
13-го „ 59
14-го „ 62
15-го „ 63
17-го „ 64
18-го „ 64
26-го „ 65
1-го сентября 68

III. Война и Интернационал.

Основы вопроса 73
1. Балканский вопрос 79
2. Австро-Венгрия 88
3. Борьба против царизма 94
4. Война против Запада 103
5. Оборонительная война 108
6. Крушение Второго Интернационала 129
7. Революционная эпоха 147

IV. Война в политике.

Переезд во Францию.— Париж.— Вивиани.— Жоффр.— Бриан.— Клемансо 157
Империализм и национальная идея 160
На Балканах (I—II) 163
Военные тайны и политические мистерии 167
Галльени 172
Сущность кризиса 173
Без программы, без перспектив, без контроля 176
„Есть еще цензура в Париже!" 178
От „истощения" к „движению" 179
Не полная, но симметрия 183
По ту сторону Вогез 186
„Милосердия!" 189
К Дублинским итогам 191
Недомогание 193
Ключ к позиции 196
Вокруг национального принципа 198
„Судьба идей" 201
Вандервельде, „Наше Слово" и „Vorwärts" 204
„Солидные аргументы" 206
В атмосфере неустойчивости и растления 208
Заметки читателя:
Сбиваемый с толку честный европеец 211
Расширение власти Альберта Тома 211
„Будем думать !.." 211
Уму непостижимо 212
Слово за „Призывом!" 212
Ах, вот оно что! 213
79. Rue de Grenelle 214
„Народная Мысль" 215
Плеханов о Хвостове 216
Сервантес и Свифт 217
„Закон механики" 218
Две величины, порознь равные третьей 220
Почему не назвали Плеханова? 221
Новый цензурный режим 223

V. Русские отголоски.

Грегус по демократическому списку 227
Петроградские роялисты и французская республика 231
Ва-банк 233
Первый шаг сделан 234
Политика „тыла“ 236
Конвент растерянности и бессилия 239
Военная катастрофа и политические перспективы 242
Своим порядком 259
„Жюскобу“ 260
Иронический щелчок истории 262
Фантастика 266
Отечественное 271
Разочарования и беспокойства 274
Уроки последней думской сессии 276
Равнение по Макарову 280
Две телеграммы 282
Борьба за власть 284
Впечатления и обобщения г. Милюкова 286
Родные тени 293
Изъян в твердом курсе 295

VI. К теории социал-патриотизма.

Печальный документ. Г. Плеханов о войне 301
Каутский о Плеханове 305
Некритическая оценка критической эпохи
I. Слабость или неуверенная в себе сила 313
II. Легенда „борьбы за демократию“ 316
Ни субъективизма, ни фатализма! 319
Вавилоны отечественной мысли 324
Их литература.—Вместо новогоднего обзора 336
„Самозащита“ 340
I. „Буде нужно“ 340
II. „На выучку к патриотизму“ 345
К. Каутский об Интернационале 350
Стратегия и социалистическая политика 355
„Гарантии мира“. К характеристике пацифизма 359

Указатель имен 365

ОПЕЧАТКИ:

Стран.	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
96	1 св.	Гетману-Гольвегу	Бетману-Гольвегу
172	18 св.	Седан	Судан
260	14 св.	полуприкрытие	полуприкрытое

Duke University Libraries
D03075549X

D03075549X
DUKE LSC